This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

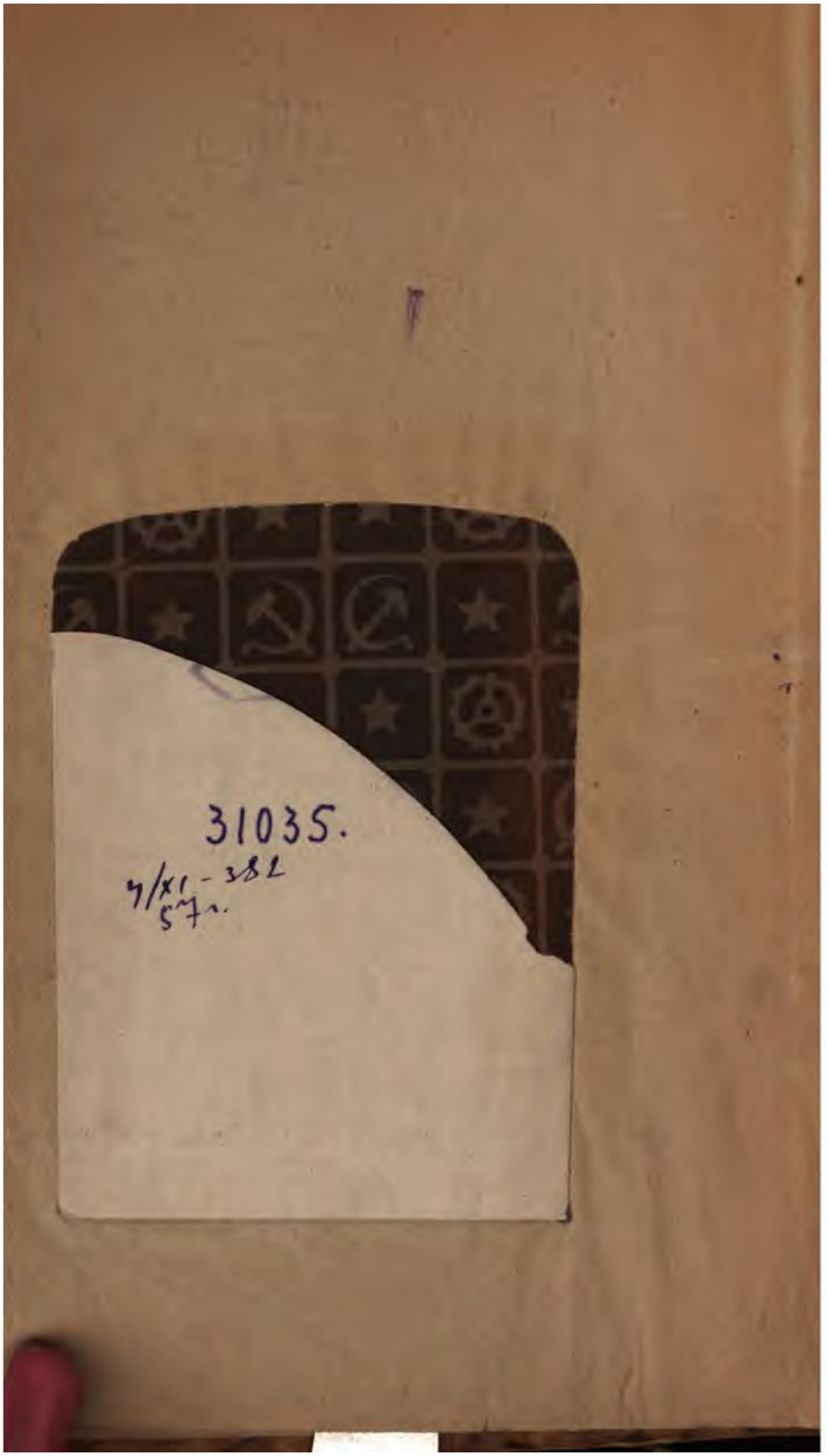
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

DK
34
V6N68

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



31035.
4/XI-382
57 r.

91
Н-842
Nosilov, K. D.
91(082)

К. Д. НОСИЛОВЪ

У ВОГУЛОВЪ

ОЧЕРКИ И НАБРОСКИ

Типогр. кат.

СЪ 41 РИСУНКОМЪ ВЪ ТЕКСТѢ

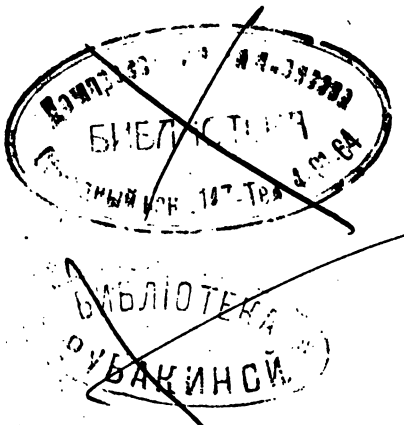
68742
И. М. Л.
БИБЛИОТЕКА
г. Свердловск

ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА
1904

БИБЛИОТЕКА
Шифр | Инв.
31035.
Областн. Курсов Скопагандистов
г. Свердловск
Инв. № 394

Рисунки дозволены цензурою 24 января 1904 г. С.-Петербургъ

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., 13



ТАИНСТВЕННОЕ ИЗЪ ЖИЗНИ ВОГУЛОВЪ.

I.

Нѣсколько словъ о племени вогуловъ.— Мой пріятель, вогулъ Лобсинья.— Его душевное настроеніе, понятія о мірѣ духовъ, предчувствія, ворожба и странные случаи изъ его жизни.— Первая наша встрѣча.

Вогулы живутъ подъ восточнымъ склономъ сѣвернаго Урала, тамъ, гдѣ съ запада имъ граничатъ понизовья Оби.

Еще недавно воинственный, бодрый, знавшій, какъ топить, добывать изъ рудъ Урала желѣзо, мѣдь, серебро, имѣвшій торговыя сношенія съ сосѣдями, войны,— народъ этотъ теперь совсѣмъ упалъ, совсѣмъ превратился въ первобытнаго дикаря и такъ далеко ушелъ отъ нашествія цивилизаціи въ свои непроходимые лѣса, такъ забился въ глушь своей тайги, такъ изолировался, что, кажется, уже больше не покажется на міровой сценѣ, а, тихо вымирая, сойдетъ вовсе съ лица нашей планеты. Откуда онъ пришелъ въ эту тайгу, какія великія передвиженія народовъ его вдвинули сюда, онъ не говоритъ, онъ забылъ даже свое недавнее прошлое; но его типичныя черты,—хотя вогулы уже слились давно съ монгольскими племенами, заимствовали отъ нихъ обычаи, вѣрованія,—еще до сихъ поръ напоминаютъ югъ, другое солнце: кудрявые, черные волосы, римскій профиль лица, тонкій, выдающійся носъ, благородное, открытое лицо, осанка, смуглый цвѣтъ лица, горячій, смѣлый взглядъ—ясно говорятъ, что не здѣсь ихъ родина, что они только втиснуты

сюда необходимостью, историческими событіями, передвиженіями въ великой Азіи народовъ.

Такія лица скорѣе напоминаютъ венгерца, цыгана, болгарина, чѣмъ остяка, типъ котораго все болѣе и болѣе начинаетъ преобладать, благодаря кровосмѣшенію.

Сжатые сосѣдями, загнанные въ глушь лѣсовъ, они стараются всѣми силами отстаивать свою самобытность, для нихъ чуждо все на свѣтѣ, имъ не нужна ни цивилизація, которую они презираютъ, ни сосѣди, въ которыхъ они извѣрились, и, живя весь свой вѣкъ среди природы своей новой родины, они берутъ отъ нея то, что она можетъ дать имъ въ своихъ непроходимыхъ, въ полномъ смыслѣ слова дѣвственныхъ лѣсахъ, въ своихъ рѣкахъ, озерахъ. Но даже и тутъ они пользуются ею только для поддержанія своей жизни, словно познавъ всю тщету богатства, торговыхъ сношеній, всю безцѣльность своего существованія на земномъ шарѣ.

Но весь ихъ интересъ, вся ихъ пытливая, чуткая душа ушла въ тотъ невѣдомый міръ духовъ, въ ту сферу ихъ вѣрованій, которыми они живутъ, который ихъ занимаетъ.

Они ничто такъ не любятъ слушать по зимнимъ, долгимъ вечерамъ отъ своихъ шамановъ, посвященныхъ въ этотъ міръ людей, какъ разсказы о томъ, какъ когда-то существовали духи, жили на землѣ, сражались за ихъ обладаніе, руководили ими, дѣлали чудеса, оставляли памятники и населяли собой міръ. И этотъ таинственный міръ для нихъ лучше всего, что они знаютъ о землѣ, что составляетъ уже второстепенныя, хотя сильныя удовольствія, какъ-то: охота, музыка, пѣніе, былины и сказки.

Я познакомлю васъ, читатель, съ однимъ моимъ пріятелемъ-вогуломъ, съ которымъ насъ сдружили страсть къ природѣ, охота, наблюдательность и которому я болѣе всего обязанъ знакомствомъ съ тѣмъ міромъ таинственности, которымъ вогулъ наполнилъ все свое существованіе.

Этого вогула зовутъ Лобсинья. Онъ живетъ въ вершинѣ Сѣверной Сосьвы. Это высокій, немного худощавый, лѣтъ двадцати пяти, отецъ небольшой семьи. У него чрезвычайно добродушное, простое лицо, курчавые, черные волосы, которые онъ носитъ въ видѣ двухъ длинныхъ косъ, зашнурованныхъ крас-

нымъ шнуркомъ, съ украшеніями изъ мѣдныхъ пуговицъ на затылкѣ и блестящей мѣдной цѣпочкой внизу, что не позволяетъ имъ раскачиваться и мѣшать ему въ работѣ.

У него очень живые, черные глаза, прямой взглядъ, чисто дѣтское выраженіе. Онъ часто задумывается, и въ этомъ раздумьи видна не то какая-то грусть, не то какая-то забота.

Онъ настоящій поэтъ. Стоитъ только ему выйти изъ его низенькой, бревенчатой, маленькой хижины-юрточки, скрытой въ густомъ сосновомъ лѣсу, какъ онъ уже измѣняется, веселѣ; стоитъ ему только сѣсть въ свою долбленую душегубку, взять листообразное, легкое весло, оттолкнуться отъ берега, какъ онъ уже запѣлъ, импровизируя все то, что онъ видитъ, что уже замѣтилъ въ природѣ, что уже успѣло пахнуть на его чуткую душу, что уже вызвало у него дѣтскій восторгъ... Онъ пѣлъ, когда мы беззаботно бродили съ нимъ съ ружьемъ въ его родномъ лѣсу; онъ пѣлъ, когда мы неслись съ нимъ зимой на легкихъ санкахъ оленей; онъ пѣлъ, когда мы скользили на челнокѣ по гладкой поверхности его родныхъ водъ. Онъ пѣлъ обо всемъ, что видѣлъ, что бросалось въ глаза, что трогало его поэтическую душу; онъ пѣлъ о тишинѣ, таинственности лѣса; онъ пѣлъ о томъ, какъ мѣняются картины въ изгибахъ его лѣсной рѣки, какъ синѣютъ дальнія горы, какъ звучитъ голосъ лебедя, какъ спитъ лѣсное озеро, какъ дремлетъ лѣсъ, какъ гаснетъ заря; онъ пѣлъ про все; онъ воспѣвалъ даже, бывало, меня, себя, своихъ знакомыхъ, дополняя речитативомъ сказанныхъ мѣткихъ словъ мелодію своей пѣсни. И я любилъ слушать его импровизаціи, ихъ самый мотивъ говорилъ о чемъ-то южномъ, жаркомъ, не такъ, какъ это вѣчно сумрачное, низкое небо его родины... Его беззаботное, веселое настроеніе смѣнялось только тогда, когда мы съ нимъ проходили или проѣзжали мимо какого-либо священнаго для него мѣста—былъ ли то мысъ горы, былъ ли то берегъ, была ли то рѣчка, которая текла отъ священнаго мѣста и называлась поэтому непремѣнно «попы-я». Тогда отъ вдругъ смолкалъ, дѣлался сосредоточеннымъ, молчаливымъ; его шаги становились еще таинственнѣе, хотя онъ и безъ того такъ тихо ходилъ въ своемъ родномъ лѣсу, что нельзя было слышать за сажень, и онъ шопотомъ, таинственно сообщалъ мнѣ, что тамъ, хотя бы это было и далеко, живетъ шайтанъ, покой котораго не нужно нарушать человѣку; который

не любитъ шума; которому нужно кланяться, дать что-нибудь или чѣмъ-нибудь засвидѣтельствовать свое почтеніе.

Часто для этого даже служила какая-нибудь береза, на которой путникъ, прохожій могъ вырѣзать свою тамгу или сдѣлать изображеніе лица съ длиннымъ носомъ, которое должно означать олицетвореніе того божка, которому оно адресовалось.

Дѣлая это самъ, онъ и меня приглашалъ то же дѣлать, говоря, что «онъ» (они не называютъ свои божества по имени безъ нужды) намъ пригодится на охотѣ...

И я исполнялъ желаніе своего друга, и онъ былъ этому очень радъ.

Благодаря, быть можетъ, этому, онъ даже водилъ меня къ тѣмъ существамъ, которыя населяютъ его лѣсъ. Разумѣется, это дѣлалось тайкомъ отъ его сородичей, потому что они строго соблюдали въ тайнѣ свои божества и даже не совѣтовали мнѣ бродить по лѣсамъ одному, пугая медвѣдями и разставленными стрѣлами на звѣря.

Отдавшись, бывало, какой-нибудь чуть-чуть замѣтной тропинкѣ, мы проходили буреломники, обходили наставленныя, замаскированныя въ кустахъ стрѣлы, которыми непремѣнно окружено жилище шайтана, приходили въ какой-нибудь чудный кедровый лѣсъ, въ которомъ среди мертвой тишины, среди сумрака лѣса гдѣ-нибудь въ чащѣ и находили маленькій амбарчикъ на высокихъ столбикахъ. Тишина, полумракъ, слѣды жертвоприношеній производили тяжелое впечатлѣніе; хотѣлось и посмотрѣть, и поскорѣе оставить это мѣсто. Какъ-то невольно чувствовалось, что здѣсь обитаетъ какое-то таинственное существо. Но при видѣ самаго изображенія этого существа дѣлалось еще тяжелѣе.

Деревянное лицо, длинный носъ, оловянные глаза, намазанный саломъ ротъ, остроконечныя красныя, синія, желтыя шапочки на головѣ, масса обвязанныхъ поясковъ, платковъ, шелку, ножей, стрѣлъ, истлѣвшія шкурки чернобурыхъ лисицъ, дорогихъ темныхъ соболей, блюда съ остатками кушанья и страшное, суровое выраженіе—все это такъ и отталкивало, такъ и гнело и безъ того нервно настроеннаго человѣка.

Самъ Лобсинья со страхомъ приближался къ такому амбарчику, начиналъ что-то напѣвать, выкрикивать, кланялся—и мы торопились поскорѣе оставить это мѣсто, не оглядываясь назадъ.

Онъ сознавался мнѣ, что онъ страшно боится своихъ боговъ; мнѣ казалось даже, что онъ постоянно и живетъ подъ ихъ

страхомъ, куда бы онъ ни пошелъ, что бы онъ ни сталъ дѣлать. Подъ тѣмъ же страхомъ жили и другіе вогулы.

Бывало, стоитъ только промахнуться разъ-два на охотѣ Лобсиньѣ, упустить звѣря, какъ онъ уже увѣренъ, что его преслѣдуютъ, ему мстятъ, и онъ задумывается, онъ теряетъ уже самообладаніе, мучается, старается догадаться—за что его мучаютъ, что кому отъ него нужно и торопится хотя чѣмъ-нибудь отдѣлаться, и когда у него нѣтъ ничего, то бросаетъ свой единственный ножъ и даже ворчитъ при этомъ, словно отдѣлываясь отъ назойливости...

И какъ только онъ сдѣлалъ это, запряталъ куда-нибудь подъ стволъ дерева серебряную монету, брызнулъ каплю водки въ сторону изъ моей фляги, какъ онъ уже увѣренъ, спокоенъ, забота пропадаетъ, и охота направляется по-старому—безъ промаха, безъ неудачи.

Онъ обладалъ замѣчательнымъ предчувствіемъ.

Иногда его силой нельзя было вытащить на охоту, въ другой разъ онъ самъ приходилъ ко мнѣ, съ сіяющимъ лицомъ, веселый, уже готовый на охоту, и звалъ, торопилъ на охоту, въ лѣсъ.

— Что съ тобой?—спросишь его.

— Ничего,—скажетъ.

— Что же ты такъ торопишься?—допытываешь его.

— Пойдемъ поскорѣе, звѣря увидимъ,—и даже стоять не можетъ отъ ожиданія.

— Ты видѣлъ, что ли, его, собаки лаютъ, слѣдъ нашелъ?—спрашиваешь его.

— Нѣтъ.

— Ворожилъ?

— Нѣтъ,—увѣряетъ.

— Такъ, что же тебѣ такъ не терпится?

— Сегодня кого-то увидимъ,—таинственно передаетъ онъ.

— Ты почему знаешь?

— Да ужъ знаю,—скажетъ и разсмѣется.

Это «знаю» означало у него то предчувствіе, которымъ онъ руководился, которое выжило его изъ дома, которое, быть можетъ, какъ инстинктъ, руководитъ имъ, и оно было всегда поразительно право.

Въ такіе дни мы, дѣйствительно, кого-нибудь убивали: россомаху, рысь, оленя, лося, что не было обыкновеннымъ успѣхомъ

охоты, а скорѣе просто случайностью. Но мало того, онъ даже зналъ, куда нужно было направиться, гдѣ искать.

Послѣднее онъ узналъ по ножу. Это было ворожбой, гаданьемъ, когда онъ, подталкиваемый предчувствіемъ, хотѣлъ допытаться еще большаго и прибѣгалъ къ помощи ножа и топора. Онъ помѣщалъ на остріе топора ножъ такимъ образомъ, что послѣдній приходилъ въ равновѣсіе, и, смотря по тому, куда повертывался кончикъ ножа, онъ угадывалъ направленіе, куда нужно идти на охоту.

Онъ жилъ, весь углубившись въ тайники своей дѣтской души, по движеніямъ которой онъ узналъ: ждетъ ли его горе, неудача, ждетъ ли его разочарованіе, успѣхъ. Онъ не разъ говорилъ мнѣ объ этомъ и даже удивлялся, какъ это и я не чувствую того же, не могу знать хотя бы недалекое будущее.

— Ты развѣ не слышишь?—спрашиваетъ онъ.

— Нѣтъ,—скажу ему въ отвѣтъ.

— Зажми глаза и слушай,—скажетъ онъ.

Зажмешь глаза и слушаешь.

— Да гдѣ слышишь ты?—спросишь его.

— Да тутъ, въ сердцѣ, вездѣ,—скажетъ онъ.

Онъ даже жалѣлъ меня по этому случаю.

— Откуда же ты знаешь это, научилъ, что ли, кто тебя?—спросишь его.

— Нѣтъ, самъ... такъ... когда выросъ, сталъ охотиться... ну, и узналъ,—скажетъ.

И только. Никакіе вопросы тутъ больше ничего не разъяснятъ и я такъ и зналъ, что онъ слышитъ, предчувствуетъ.

Когда мы съ нимъ разъ разговаривали объ этомъ предчувствіи, онъ мнѣ разсказывалъ удивительныя вещи про нѣкоторыхъ вогуловъ, которые такъ воспитали, если такъ можно выразиться, этотъ инстинктъ, чувство, что даже могутъ сказать впередъ, кого убьютъ, кого увидятъ, что ихъ особенное ждетъ, напримѣръ, на охотѣ, въ пути. Онъ ни разу не говорилъ мнѣ о томъ, что можно видѣть, какъ видятъ самоѣды, о чемъ я говорилъ, описывая видѣнія моего пріятеля на Новой Землѣ Константина Вылки. Онъ знаетъ, однако, что видятъ лишь ихъ шаманы, которымъ все открыто и которые не только видятъ, предчувствуютъ, но даже сносятся съ богами, и тѣ имъ помогаютъ даже переносить вещи чрезъ громадныя разстоянія.

Характеренъ въ данномъ случаѣ разсказъ, слышанный мной въ 1892 году на рѣкѣ Кондѣ тоже отъ вогуловъ, какъ шаманъ помогъ одному вахтеру казеннаго магазина, который забылъ дома, за нѣсколько сотъ верстъ, ключи, получить ихъ у угла его юрты. Шаманъ даже слышалъ, какъ ключи свалились тамъ и брякнули. Это сдѣлалъ извѣстный шаманъ, о чудесахъ котораго знаетъ всякій вогулъ, какъ о нѣчто необыкновенномъ даже для шамана.

У Лобсинья были странныя приключенія въ жизни.

Однажды, разсказываетъ, онъ спускался на своемъ утломъ челнокѣ съ верховьевъ одной горной рѣчки. Теченіе было быстрое, рѣчка извилиста. На одномъ крутомъ поворотѣ онъ не могъ справиться, задѣлъ за корягу и видитъ—въ лодкѣ щель, вода хлынула, и онъ сталъ погружаться въ воду, не имѣя возможности справиться съ быстрымъ теченіемъ и пристать къ берегу. Нужно замѣтить, что вогулы не умѣютъ плавать. Это нѣсколько странно, потому что они всю жизнь свою проводятъ на водѣ, занимаясь рыбнымъ промысломъ. Спастись ему, казалось, было невозможно, и онъ, призвавъ своего покровителя «Чехрынь-ойку» на помощь, бросилъ ему въ воду ножъ. Течь въ лодкѣ быстро останавливается, лодка перестаетъ садиться, и онъ, сидя въ водѣ, благополучно пристаетъ къ берегу, вытаскиваетъ расколотый челнокъ и идетъ въ лѣсъ искать смоляное дерево, чтобы засмолить щель и отправиться дальше.

Я спрашиваю его: можетъ быть, щель сама собой закрылась, набухши? Но онъ утверждаетъ, что видѣлъ щель, сквозь нее синѣла глубь рѣки, а потомъ вытекла сама собой вода изъ лодки.

Въ другой разъ онъ заблудился въ знакомомъ болотѣ.

Болото было всего пять-семь верстъ въ окружности, но мелкій соснякъ не позволялъ ему осмотрѣться кругомъ, а туча комаровъ—прислушаться, гдѣ шумитъ лѣсъ. Онъ провелъ въ немъ нѣсколько мучительныхъ часовъ, безъ результата набѣгался по немъ, вымочилъ ноги въ его топяхъ. Тамъ его заѣли комары, отъ которыхъ рѣшительно не было спасенія: они объѣдали вѣки, лѣзли въ ротъ, уши, глаза, не давали вздохнуть, не позволяли оглядѣться. Онъ исколесилъ болото по всѣмъ направленіямъ, онъ даже думалъ, что его заѣдятъ комары, что совсѣмъ не мудрено и такіе случаи тамъ бывали. Онъ рѣшительно не по-

нималъ, какъ могъ заблудиться тамъ, гдѣ столько разъ бывалъ, гдѣ зналъ, что болото не широко, гдѣ, пересѣкая его, руководился направленіемъ по солнцу. Когда же, наконецъ, онъ, измученный, что-то пообѣщалъ ближайшему шайтану, то опушка знакомаго лѣса отъ него показалась такъ близко, что онъ даже не вѣрилъ своимъ глазамъ.

Все это онъ приписываетъ проказамъ злыхъ духовъ, которые только и ждутъ его гдѣ-нибудь помучить, чѣмъ-нибудь выманить у него жертву.

Онъ говорилъ мнѣ разъ, что на него даже зимой, когда всѣ медвѣди спятъ въ берлогахъ, напалъ одинъ медвѣдь и настигъ его такъ неожиданно, что онъ долженъ былъ всю долгую морозную ночь просидѣть на высокой ели, подъ которой дожидался его звѣрь и только на разсвѣтѣ оставилъ въ покоѣ.

Но странно то, что, спустившись, онъ не нашелъ ни слѣда, ни признака гнавшагося за нимъ медвѣдя.

Эту достопамятную ель онъ мнѣ разъ даже показывалъ, и она, вѣроятно, и до сихъ поръ еще стоитъ на берегу рѣки съ обрубленными вѣтками отъ земли до самой вершины, что онъ сдѣлалъ для того, чтобы медвѣдь не вздумалъ лѣзть за нимъ на дерево.

Онъ спасся, говоритъ, только потому, что всю ночь молился своему покровителю и наобѣщалъ ему столько, что еще до сихъ поръ не исполнилъ.

Подобныхъ случаевъ изъ его жизни я могъ бы привести еще нѣсколько, но они болѣе или менѣе однообразны по результатамъ. Но могу только одно сказать, что я ни разу не замѣчалъ въ немъ лжи этихъ разсказахъ и, живя съ нимъ два года, всегда выслушивалъ ихъ въ однихъ и тѣхъ же описаніяхъ, съ одними и тѣми же выраженіями и подробностями.

Мнѣ самому не привелось быть свидѣтелемъ ни одного подобнаго случая съ нимъ, но я былъ пораженъ кое-чѣмъ при нашей первой встрѣчѣ.

Я какъ сейчасъ вижу эту встрѣчу, когда я въ первый разъ поднимался на лодкѣ по рѣкѣ Сосьвѣ къ ея верховью, гдѣ живетъ Лобсинья.

Мы ѣдемъ вдвоемъ съ вогуломъ на лодкѣ. Мы уже нѣсколько дней не видали на рѣкѣ даже признака человѣка, оставляя въ сторонѣ спрятанныя въ лѣсу юрты вогуловъ, которыя обыкновенно пусты въ лѣтнее время, такъ какъ всѣ жители рѣки спускаются навстрѣчу хода рыбы къ ея устью. Но вотъ мы за-

ворачиваемъ на одномъ поворотѣ и вдругъ видимъ—на берегу горитъ костеръ, причалено два челнока, и два вогула сидятъ передъ огнемъ, о чемъ-то, видно, разговаривая. Они не скоро насъ замѣтили, но только что на насъ взглянули, какъ вскочили на ноги, и, растерявшись, не зная, что дѣлать, то схватывались за весла, то за топоры. Мы пристаемъ къ ихъ берегу, я выхожу и подхожу къ совершенно растерянным, перепуганнымъ вогуламъ, изъ которыхъ одинъ послѣ былъ моимъ пріятелемъ, и говорю вогульское обычное привѣтствіе: «осъ емасъ улумъ». Они, смущенные, но уже приходя въ себя, говорятъ мнѣ въ отвѣтъ: «осъ емасъ, осъ емасъ, рума» (здравствуй, здравствуй, другъ), и, увидавши знакомаго имъ моего проводника, окончательно успокоиваются насчетъ моего неожиданнаго появленія и начинаютъ намъ объяснять свой перепугъ тѣмъ, что они только что о насъ говорили. Это меня удивило. Я спрашиваю ихъ: какъ они знаютъ, что я ѣду къ нимъ? Мнѣ говорятъ, что одинъ изъ нихъ видѣлъ меня во снѣ, видѣлъ, какъ показалась изъ-за этого самаго поворота лодка, видѣлъ, что въ ней сидѣло два человѣка, одинъ изъ которыхъ его поразилъ своей наружностью, чѣмъ-то круглымъ на головѣ (я былъ въ широкой шляпѣ). Онъ только что проснулся и сталъ разсказывать свой странный сонъ, какъ мы показались изъ-за мыса, что ихъ и привело въ ужасъ, хотя они оба были и такъ увѣрены, что увидятъ кого-нибудь изъ русскихъ, и только разговаривали, кто бы это могъ къ нимъ явиться въ такое пустое время, когда никого нѣтъ ни на рѣкѣ, ни въ юртахъ.

Я помню то недоумѣніе, съ которымъ я слушалъ ихъ, при чемъ мнѣ показалось, что я попалъ къ какимъ-то невѣдомымъ еще людямъ, которымъ извѣстно будущее.

Положимъ даже, что случаи изъ жизни Лобсинья что-нибудь преувеличенное подъ страхомъ преслѣдованій, невѣроятны, но его предчувствіе какъ-то невольно заставляетъ задумываться...

II.

Еще поразительный случай предчувствія. Вогульскіе талисманы.— Вогулъ «Налимій Хвостъ» и его волшебства.—Заброшенный пауль.— Самоубійства вогуловъ.— Олицетвореніе болѣзни.—Случай съ промышленниками бобровъ и разсказы про шамановъ.

Была свѣтлая, тихая ночь, какія только бываютъ на Сѣверѣ, когда я присталъ къ пристани одного маленькаго вогульскаго пауля на вершинѣ рѣки Ляпинъ.

Выйдя на берегъ, я увидалъ среди сосноваго бора кое-гдѣ спрятанныя маленькія юрточки, къ которымъ съ пристани вели узенькія тропы среди лѣса крапивы, конопли, травы. Судя по нимъ, рѣшительно нельзя было предполагать, чтобы мы въ этихъ юртахъ застали живого человѣка. Стояла мертвая тишина. Я пошелъ взглянуть на юрту, которая была побольше, какъ вдругъ со стороны залаяла собака, и мой проводникъ крикнулъ мнѣ съ берега, что, вѣроятно, тамъ живетъ старикъ. Я свернулъ на лай собакй, она задала отъ меня съ визгомъ дирка за уголъ юрты, и передо мной вдругъ появился изъ низенькой дверцы маленькій, тщедушный старичокъ, съ болѣзненной голой головой и глазами.

Онъ поспѣшно, потирая на ходу глаза, бѣжалъ ко мнѣ, какъ къ знакомому человѣку, и такъ привѣтливо поздоровался со мной, что я уже подумалъ, не видалъ ли гдѣ онъ меня раньше.

Съ такимъ же радушіемъ, словно встрѣчая родныхъ, друзей, онъ побѣжалъ торопливо на берегъ къ моему проводнику и такъ же и тамъ что-то бойко заговорилъ, видимо, радуясь нашему пріѣзду.

Вслѣдъ за нимъ, на порогѣ той же юрты появилась старушка, крикнула на собаку и, низко кланяясь, здороваясь со мной, позвала меня къ себѣ, въ юрту, гдѣ она уже успѣла сунуть береcто въ каминъ-чувалъ, ожививъ свое низенькое, съ земляннымъ, но опрятнымъ поломъ жилье веселымъ огонькомъ, который недаромъ называютъ они душой ихъ жилища.

Я вошелъ, сѣлъ на низенькій стульчикъ къ камину и сталъ отогрѣваться, раздумывая о томъ, какая хорошая вещь этотъ вогульскій камелекъ, гдѣ живо можно, когда угодно, обогрѣться и сварить себѣ чай.

Я уже позабылъ было про поразившую меня встрѣчу, какъ пришелъ мой проводникъ со старичкомъ, и они заговорили о томъ, какъ старики промучились эту ночь, ожидая насъ къ себѣ въ гости.

Я началъ разспрашивать, и оказалось, что еще съ вечера старики чувствовали, что кто-то къ нимъ пріѣдетъ. Старикъ долго не ложился спать, нѣсколько разъ выходилъ на улицу, подходилъ къ берегу, вглядывался на плесо рѣки, но, никого не видя, возвращался опять въ свою юрту, говоря старухѣ, что кто-то вотъ-вотъ долженъ къ нимъ пріѣхать или прійти. Онъ намѣревался уже поворожить на барабанѣ, но раздумалъ и легъ спать, такъ какъ было уже поздно.

И только что онъ заснулъ, какъ залаяла собака; онъ сейчасъ же догадался и бросился на дворъ встрѣчать тѣхъ, кого такъ ожидалъ...

Я сталъ ихъ спрашивать, какъ они это предчувствуютъ, какъ могутъ знать впередъ, но они мнѣ ничего новаго не сказали, говоря: «такъ, просто, слышимъ, ждешь все кого-то, безпокойно дѣлается, спать не можешь, кажется, что вотъ кто-то ѣдетъ, вотъ кто-то идетъ» — и только.

Я показалъ старику на полку въ переднемъ углу, гдѣ стоялъ закопченный барабанъ и сидѣло чучело божка, и спросилъ:

— Можетъ, это вамъ помогаетъ?

— Не знаю, можетъ быть, и этотъ намъ помогаетъ, сказалъ онъ нерѣшительно и замолчалъ.

Я видѣлъ, что это было для него непріятно, и больше не сталъ его тревожить. Онъ скоро оживился снова, и когда я его угостилъ, чтобы окончательно сгладить неловкость вопроса, стаканчикомъ водочки и поднесъ его старухѣ, то онъ самъ свелъ разговоръ на эти предметы и сталъ говорить, что, дѣйствительно, они имъ помогаютъ много, но только не въ данномъ случаѣ, и что слышатъ они и безъ нихъ.

Мой проводникъ былъ изъ молодыхъ вогуловъ, не слишкомъ вѣрующихъ. Онъ шепнулъ мнѣ, чтобы я подалъ еще старику,— тогда онъ мнѣ поворожитъ.

Я не пожалѣлъ водки, и, дѣйствительно, мой старикъ такъ воодушевился, что показалъ мнѣ свои талисманы и разсказалъ про нихъ столько чудесъ, что я уже подумывалъ: не запастись ли и мнѣ въ этой заколдованной странѣ чѣмъ-нибудь въ родѣ этого, чтобы чувствовать себя спокойнѣе и смѣлѣе.

Всѣ его талисманы были въ карманѣ и хранились въ маленькомъ кошелькѣ, который самъ по себѣ, будучи сшитъ изъ кожи еще не родившагося лосенка, казалось, уже представлялъ что-то священное.

Изъ него онъ при свѣтѣ костра вытаскивалъ намъ обточенные камешки въ видѣ замысловатыхъ формъ, напоминающихъ головы животныхъ, металлическій, въ родѣ серебрянаго, слитокъ съ изображеніемъ лося, обточенный зубъ медвѣдя и еще какую-то куколку изъ тряпицъ и дерева, гдѣ характерно было выражено лицо шамана съ длиннымъ носомъ.

Оказалось, что всѣ эти талисманы обладали чудодѣйственными свойствами то во время охоты, то для рыбной ловли, то въ путешествіи по водѣ, то въ семейной жизни, а у старухи оказался даже такой, въ видѣ встрепанной куклы, который помогалъ ей имѣть дѣтей въ годы ея молодости.

Я было началъ торговать эти драгоцѣнности, но мои милые старики это нашли такимъ неумѣстнымъ, что быстро попрятали все въ мѣшки и карманы.

Впослѣдствіи подобныя же вещи я видѣлъ и у моего пріятеля Лобсинья, и онъ даже подарилъ мнѣ одинъ такой талисманъ, который я и до сихъ поръ храню у себя какъ память.

Это обточенный въ видѣ маленькой лепешечки камешекъ изъ породы темно-зеленой яшмы, на одной сторонѣ котораго изображена гагара (священная птица), а на другой — боберъ. Этотъ талисманъ служилъ моему другу для охоты, и ему стоило большого труда пожертвовать его, хотя я былъ его единственнымъ другомъ.

Помню, когда я уже закусилъ въ юрточкѣ привѣтливыхъ старичковъ и легъ спать на постланную для меня на нарахъ шкуру оленя, у нихъ все еще около теплаго камелька шли горячіе разговоры по поводу милости ихъ боговъ. Разговоры затѣмъ перешли въ тихую пѣсню, а затѣмъ, въ другой юртѣ, куда они ушли, чтобы меня не безпокоить, послышались и звуки барабана, который глухо отдавался гдѣ-то за рѣкой и наводилъ невольный трепетъ на меня даже издали.

Въ тѣхъ же мѣстахъ, на одномъ притокѣ рѣки Ляпинъ, р. Мань-я, я зналъ одного страннаго старика-вогула, по прозвищу «Налимій хвостъ».

Такое странное прозвище дали ему вогулы за то, что онъ былъ такъ вялъ, такъ медленно двигался, что многимъ напоминалъ ту рыбу, которая главнымъ образомъ водилась въ этой рѣкѣ и которую онъ, исключительно занимаясь рыболовствомъ, ловилъ, чтобы питаться. Можетъ быть, просто, онъ даже заимствовалъ ея манеры, наблюдая ее всю свою долгую жизнь. Я, помню, воспользовался этимъ его знаніемъ и записалъ про эту рыбу очень много интересныхъ наблюденій, которымъ позавидовалъ бы и натуралистъ.

Этотъ высокій, худой старикъ, вѣчно тяжелый, неподвижный, вѣчно задумывающійся надъ чѣмъ-то, предпочитающій всякое общество человѣка сну и рыбной ловлѣ, производилъ на меня тяжелое впечатлѣніе. Я даже нарочно было поселился въ его юртахъ, въ паулѣ, чтобы узнать про него, отчего онъ такой странный, но и это не помогло. Онъ, казалось, давно уже не вѣрилъ въ людей и сторонился ихъ.

Одинъ мѣсяцъ мы жили съ нимъ совсѣмъ одни въ его маленькомъ, что-то, помнится, всего состоящемъ изъ трехъ-четырехъ юрточекъ, паулѣ. Я занималъ одну заброшенную юрточку, а онъ другую—рядомъ. Весь пауль рѣшительно тонулъ въ лѣсу и только одна тихая, глубокая рѣка, съ обросшими лѣсомъ дикими берегами, ласкала взглядъ и манила по ней прогуляться. Днемъ мы съ нимъ ѣздили ловить рыбу, ходили въ лѣсъ, но вечеромъ мы расходились по юртамъ, и только что, бывало, я займусь, какъ въ тишинѣ ночи со стороны его запрятанной въ лѣсу юрточки раздадутся дикіе, глухіе звуки барабана, и я, дрожа отъ страха, проклиналъ это мѣсто, гдѣ, дѣйствительно, казалось, что-то творится неладное и гдѣ этотъ таинственный старикъ сносится съ духами...

Эти звуки, то стихая, словно подъ землей, то потрясая воздухъ, такъ разносились по лѣсу, такъ откликались въ берегахъ глухой рѣки, что я даже не смѣлъ тогда показываться на дворъ и, ложась въ постель, старался затыкать уши, чтобы только не слышать ихъ, чтобы только чѣмъ-нибудь отвлечь воображеніе, которое рисовало мнѣ страшныя картины...

О чемъ онъ могъ ворожить, къ чему ему было сноситься съ духами, живя одинаково, безъ будущаго,—я рѣшительно не могъ рѣшить. Онъ же самъ никогда не говорилъ со мной объ этомъ, стараясь молча отдѣлаться отъ моихъ наивныхъ вопросовъ.

На другой сторонѣ рѣки, всего саженяхъ въ двухстахъ, виденъ былъ еще новый, но уже совсѣмъ заброшенный пауль.

Однажды я спросилъ его, отчего тамъ не живетъ никто и зачѣмъ тамъ стоятъ юрты. Онъ сказалъ мнѣ, что онѣ заброшены и въ нихъ уже никогда больше не будетъ жить человѣкъ, потому что онѣ несчастливы.

Это меня заинтересовало, и онъ разсказалъ мнѣ слѣдующее.

Это былъ старинный пауль, въ немъ прежде жило гораздо больше людей, чѣмъ нынче на этомъ берегу, но случилось такъ, что боги ихъ за что-то не взлюбили, стали преслѣдовать, народъ началъ вымирать, и въ какія-нибудь десять-пятнадцать лѣтъ отъ большого пауля осталось только четыре семьи. Но и этихъ выжили оттуда злыя существа. Какъ только наступитъ ночь, въ юртахъ становится безпокойно, слышатся шаги, постукиванья, сбрасываются со стѣнъ вещи, трещитъ, словно отъ мороза, лѣтомъ крыша, собаки безцѣльно носятся съ лаемъ вокругъ, люди боятся выйти на дворъ, и, благодаря этому обстоятельству, тѣ, кто остался еще живъ, рѣшили перенести жилье на другой берегъ, а тамъ забросить.

Съ тѣхъ поръ стало благополучнѣе, болѣзнь прекратилась, но жители уже не могутъ найти спокойствія, и нѣкоторыя семьи уже покинули навсегда эту рѣку, переселясь въ мѣста болѣе благополучныя, и вотъ онъ теперь живетъ здѣсь одинъ, покинутый всѣми.

— А ты не боишься злыхъ духовъ? спрашиваю я его.

— Нѣтъ, не боюсь, отвѣчаетъ онъ:—я живу съ ними дружно. Они меня не пугаютъ.

Я, живя въ этихъ юртахъ, ничего не слыхалъ, но мнѣ было очень жутко тамъ и я постарался ихъ оставить вмѣстѣ съ этимъ таинственнымъ старикомъ, который, какъ говорятъ, всѣ ночи бесѣдуетъ, при разведенномъ кострѣ, съ барабаномъ въ рукахъ, съ духами, пытая у нихъ судьбу людей. Говорятъ, что онъ хорошій ворожей, предсказываетъ на цѣлые годы впередъ—объ рыбной ловлѣ, голодѣ, болѣзняхъ, и что къ нему обращаются всѣ, кому нужно узнать будущее, кому нужно умилостивить боговъ, приворожить человѣка, найти оленей. Маленькія приношенія поддерживаютъ его жизнь, а налимы, говорятъ, такъ идутъ къ нему на уду и въ ловушки, что онъ никогда не знаетъ голода.

Нужно замѣтить, что подобныхъ выморочныхъ, заброшенныхъ юртъ въ странѣ вогуловъ не мало, и почти всѣмъ имъ приписываютъ нѣчто подобное со стороны боговъ той страны.

Преслѣдованіе богами этихъ несчастныхъ, впечатлительныхъ жителей глухой тайги бываетъ порой ужасно и часто кончается даже самоубійствомъ.

Обыкновенно оно начинается съ того, что вогулъ не исполнилъ обѣщанія, клятвы передъ какимъ-нибудь изъ невидимыхъ существъ. Причиной чаще всего являются его займы у этихъ божковъ. Дѣло въ томъ, что каждый шайтанъ сосредоточиваетъ около себя, въ своемъ амбарчикѣ въ лѣсу, такую массу разныхъ цѣнностей,—денегъ, серебра, шкурокъ,—которая вполнѣ могла бы обезпечить вогуловъ въ трудные голодные годы. Это нѣчто въ родѣ ссудо-сберегательныхъ кассъ, куда всякій вогулъ можетъ прійти, взять, что ему нужно, даже не говоря объ этомъ никому ни слова. Обыкновенно, прибѣгая къ такому займу, они даютъ обѣщанія, и разъ болѣзнь, неудачи, старость этихъ обѣщаній исполнить не позволяютъ, вогулъ уже начинаетъ мучиться: ему кажется, что его преслѣдуетъ духъ, онъ дѣлается мнительнымъ, слѣдитъ за каждой своей неудачей, потерей и доходитъ до того, что, не имѣя силъ больше выносить угрызеній совѣсти, боясь мести, идетъ и давится въ лѣсу на деревѣ.

Странно, что это единственный способъ лишать себя жизни у вогуловъ, хотя они имѣютъ ружья; могли бы, наконецъ, броситься въ воду.

Всякая болѣзнь, эпидемія, по мнѣнію вогуловъ,—тоже дѣло злыхъ существъ.

Посылая ее къ людямъ, они превращаютъ ее въ форму черной собаки, гагары, или въ одно изъ «поганыхъ» существъ, какъ называютъ вогулы многихъ животныхъ и птицъ ихъ страны. Время такой миссіи—ночь. Но, благодаря собакамъ, которымъ многое видно, чего человѣкъ не можетъ видѣть, потому что собака—тоже существо, имѣющее связь съ духовнымъ міромъ,—болѣзнь часто не можетъ зайти въ юрты къ вогуламъ. Собаки ее гоняютъ прочь, чѣмъ и объясняется то странное явленіе, что иногда даже днемъ онѣ срываются съ мѣста, бросаются съ ожесточеніемъ за какимъ-то невидимымъ предметомъ и кружатся за нимъ по полю въ то время, когда жители никакъ не могутъ разглядѣть, за чѣмъ они гонятся.

Про подобное явленіе мнѣ даже разсказывалъ однажды вогульскій священникъ, которому самому случалось не разъ ви-

дѣть псовъ, бѣгающихъ за чѣмъ-то среди бѣлаго дня на оградѣ. Это же подтверждаютъ и русскіе жители тѣхъ странъ.

Странный случай разсказывали мнѣ въ 1892 году на рѣкѣ Кондѣ о подобномъ явленіи.

Въ вершинахъ этой вогульской рѣки водятся бобры. Прежде они составляли очень значительный промыселъ въ этой мѣстности для вогуловъ, но вотъ уже болѣе ста лѣтъ, какъ бобры перебиты и остались только рѣдкіе экземпляры. Однако, порой они и до сихъ поръ привлекаютъ туда удалыхъ вогуловъ. Одна артель, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, ушла въ эти дикія мѣста и рѣшилась тамъ весновать. Они построили избушку недалеко отъ бобровой рѣчки и ходили туда сторожить бобровъ. Такъ какъ это очень осторожное животное, то они не взяли съ собой собакъ и жили безъ нихъ.

Однажды къ нимъ неожиданно явилась черная собака; они думали, что она заблудилась на охотѣ, приласкали ее и впустили въ юрту. Собака была скромная, но въ ней поражали ея глаза, въ которыхъ было что-то необычное. Однажды они заперли ее крѣпко въ избушкѣ, приняли всѣ предосторожности, чтобы она не выскочила въ трубу, куда только и можно было выбраться, и ушли на рѣчку.

Но, возвратясь домой, они были поражены тѣмъ, что собака пропала; добытыя шкурки, все платье ихъ были изорваны въ клочки, и даже не было признака, какъ она могла выбраться вонъ изъ жилища. Черезъ недѣлю появилась цынга — и изъ артели уцѣлѣлъ только одинъ человѣкъ, который и разсказалъ эту странную исторію вогуламъ, рѣшившимъ, что эта собака была болѣзнью.

Подобные случаи нерѣдки, и потому вогулы очень боятся сторонних собакъ.

Но поразительнѣе всего разсказы про шамановъ. Ими рѣшительно полна эта страна дикарей. И въ нихъ вѣрятъ не одни они, но даже русскіе, и можно, не преувеличивая, сказать, что нѣтъ ни одного русскаго, который, живя тамъ, не вѣрилъ бы въ чудеса шамановъ, не прислушивался тревожно къ тому, что дѣлается, что разсказывается про этихъ людей, имѣющихъ столь явныя сношенія съ духовнымъ міромъ. Я знаю многихъ изъ русскихъ, которые не стыдятся участвовать въ жертвоприношеніяхъ, охотно обращаются къ ворожбѣ этихъ людей, и даже ввели это въ правило, отправляясь въ путь, положимъ, на рыб-

ный промыселъ, или берясь за какое-либо другое выгодное предпріятіе, дѣло. Они даже дѣлятся своею добычею съ тѣми существами, которыя имъ помогутъ, по словамъ вѣрующихъ въ нихъ вогулъ...

Къ сожалѣнію, размѣры настоящей статьи не позволяютъ мнѣ коснуться дѣлъ шамановъ. Скажу одно, что чудеса ихъ живутъ въ толпѣ и разносятся ею, какъ только произойдутъ, съ такой вѣрой, что сомнѣваться въ нихъ — значило бы кровно обидѣть вогуловъ. Шаманы угадываютъ будущее, переносятъ вещи на разстоянія, описываютъ заочно иныхъ лицъ и ихъ настоящее положеніе, находятъ потерянное, узнаютъ время наступленія голода, наводненій, и даже, въ доказательство своей силы, распарываютъ себѣ животы, показываютъ внутренности, умираютъ и — снова возвращаются къ жизни...

И странно то, что они даже христіанство сливаютъ со своимъ міросозерцаніемъ, причисляя тѣхъ святыхъ, о которыхъ разсказываютъ имъ миссіонеры, къ добрымъ существамъ. Къ этимъ святымъ они обращаются, приносятъ жертвы по-своему. Въ числѣ такихъ святыхъ Николай Чудотворецъ занимаетъ такое почетное мѣсто, что въ чудесахъ его никто изъ нихъ не усомнится. Онъ также, какъ и самоѣдамъ, и имъ помогаетъ въ минуты опасности.

Для нихъ невидимый міръ раздѣленъ на злыхъ и добрыхъ существъ; одни имъ вредятъ, другія помогаютъ. Они вѣрятъ въ загробную жизнь и, стараясь жить мирно, совсѣмъ не удивляются тому, что имъ открыто болѣе, чѣмъ намъ.

Странный народъ, странная жизнь, странныя вѣрованія!.. Но я думаю, что эта странность многое потеряетъ, если мы, отбросивъ свои предвзятые взгляды, просто заглянемъ глубже въ нашу жизнь, вглядимся въ нѣкоторые странные случаи своей жизни, въ которыхъ нельзя не найти чего-то такого, что уже знакомо тѣмъ дѣтямъ природы, которыхъ мы называемъ дикарями...

БИБЛИОТЕКА
Шифр
Инв.
31035.
У ВОГУЛОВЪ.
Областн. Курсов Пропагандистов
г. Свердловск

ИЗЪ ЖИЗНИ ВОГУЛОВЪ.

I.

Шома-Пауль.

Это было въ 1883 году.

Было начало октября. Въ Березовскомъ краю, подъ самымъ Ураломъ, гдѣ я тогда путешествовалъ, начинались уже первые заморозки. Рѣка Сосьва, съ вершины которой я спускался въ долбленомъ челнокѣ съ проводниками-вогулами, уже покрывалась шугой. Мы съ трудомъ пробираемся сквозь тонкій, но крѣпкій чистый ледокъ, который вмѣстѣ съ нашей лодкой тихо плыветъ по теченію лѣсной, глухой рѣки. Порой намъ приходится плохо, насъ зажимаетъ льдомъ, тонкія стѣнки, дно челнока трещатъ и колются, ледъ рѣжетъ лодку, приподнимаетъ ее съ боковъ, и, случись пробой, мы потонули бы неизбѣжно, такъ какъ ледъ тонокъ, выскочить на него невозможно, и если бы мы упали въ воду, онъ неминуемо бы прорѣзалъ и насъ, какъ рѣжетъ долбленый, но прочный челнокъ.

Но вотъ изъ-за безконечныхъ поворотовъ рѣки съ ея однообразными плесами, лѣсными берегами, покрытыми то сосновымъ боромъ, то мелкой ивовой порослью, гдѣ любятъ такъ бродить дикіе лоси, показывается: чистый берегъ, остовъ снятаго уже съ мѣста промысловаго вогульскаго чума, дальше сквозь ели и ивы проглядываетъ вогульская юрточка, а еще дальше изъ лѣса поднимается дымокъ, и мои проводники, занятые отпихиваніемъ шестами отъ льда, кричатъ мнѣ въ корму, гдѣ я сижу, давно

уже продрогши отъ холода и сырости рѣки: «Пауль! пауль!» Я вглядываюсь впередъ и узнаю знакомый уже мнѣ пауль, вогульское селеніе—Шома.

Шома-пауль стоитъ на самомъ устьѣ рѣки Сыгвы; теперь мнѣ предстоитъ подняться по ней вверхъ до моей зимовки еще 200—250 верстъ, но пробраться туда на лодкѣ и думать уже нечего: наступаетъ распутица, надо ждать снѣга, заморозковъ, саннаго пути, и мнѣ ясно предстоитъ «осеновать», какъ здѣсь говорится, въ Шома-паулѣ.

Еще вчера вечеромъ, любуясь теплымъ, яснымъ днемъ, подъ которымъ словно ожило все послѣ проливныхъ дождей, лившихъ цѣлую недѣлю, я мечталъ доѣхать до своей зимовки; еще вчера мнѣ и въ голову не проходило, что наступаетъ скоро зима, глядя, какъ цвѣтутъ цвѣты, зеленѣетъ травка, поетъ птица, а сегодня уже погода говоритъ другое—и холодъ сковываетъ уже члены, и первый рыхлый снѣжокъ запорашиваетъ уже и зелень съ цвѣтами, и берегъ рѣки, и вѣтви ели... Въ такихъ сѣверныхъ мѣстахъ нѣтъ осени. Сегодня вамъ улыбнется въ послѣдній разъ ясное небо, сегодня на васъ выльетъ свѣтъ яркое солнышко, къ вечеру уже пахнетъ съ сѣвера холодъ, ночью уже на чистомъ небосклонѣ заиграютъ лучи сѣвернаго сліянія, и не успѣете вы проснуться на завтра, какъ запорошилъ все снѣгъ, заледенилъ все холодъ.

Такъ было и въ ту ночь, когда мы, торопясь спуститься съ вершины рѣки, плыли день и ночь по теченію рѣки Сосьвы.

Но «осенованье» въ Шомѣ-паулѣ меня не пугало. Тамъ я зналъ уже хорошо теплую, маленькую юрточку старика Савелья и его веселую беззаботную племянницу Кеть, которая таскала мнѣ лѣтомъ, во время проѣзда, дневки, вкусныя ягоды изъ лѣса, и добрую старуху, старика, и весь маленькій вогульскій поселокъ, что-то въ родѣ разбитой деревушки, которая вся попряталась въ еловомъ и сосновомъ лѣсу, словно ей мало еще надоѣлъ этотъ безконечный, угрюмый, молчаливый лѣсъ тайги, который раскинулся около.

Еще нѣсколько усилій борьбы со льдомъ, въ виду самаго берега, еще два-три момента, когда кажется, что мы потонемъ, что лодка не выдержитъ напора, и мы причаливаемъ къ песчаному берегу пауля, гдѣ лежатъ опрокинутые вверхъ дномъ такіе же, какъ нашъ, челноки вогуловъ.

Я поднимаюсь на берегъ и смотрю на ледъ рѣки, на то, какъ плывутъ мимо расколотыя, прозрачныя, тонкія льдины, какъ

шумятъ онѣ, сталкиваясь другъ съ другомъ, какъ лѣзутъ онѣ на берегъ и, обломивши тонкій, прозрачный край, оставляютъ его на немъ, словно кладя примѣты для другого льда, который уже окончательно скуетъ эту рѣку на цѣлую долгую зиму.

Нашъ пріѣздъ замѣтила какая-то шустрая лайка вогула и залилась изъ-за кустовъ берега тонкимъ, пронзительнымъ лаемъ. На ея голосъ отозвались другіе голоса въ паулѣ, и слышно, какъ бросились въ нашу сторону, какъ бѣгутъ къ намъ уже десятки собакъ, словно открытъ непріятель.

Черезъ минуту ихъ показалась цѣлая свора: и бѣлыя, и пестрыя, и сѣрыя, и всѣ съ острыми прямыми ушами, острой мордочкой, съ задорно загнутымъ на спину хвостомъ и веселыми, совсѣмъ не злыми, черными глазами. Мои проводники крикнули имъ что-то, и онѣ тотчасъ же смолкли.

Мы захватили багажъ и двинулись въ глубь берега, къ юртамъ, сопровождаемые собаками, которыя боязливо и осторожно насъ обнюхивали сзади, словно еще не довѣряя нашимъ добрымъ намѣреніямъ...

Вотъ и юрты. Одна стоитъ подъ самыми вѣтвями громадной ели, другая съ амбарчикомъ на двухъ столбахъ, чтобы туда не попадали мыши,—остроумное изобрѣтеніе вогуловъ въ строительномъ искусствѣ,—стоитъ прямо въ сосновомъ бору, среди мха, словно слушая безпрерывный шумъ бора; третья пріютилась у стараго, голаго, засохшаго кедра, который все-таки сохраняется еще жителями, вѣроятно, служа имъ мѣстомъ вѣнчанія молодыхъ влюбленныхъ паръ, и, глядя на нее, просто становится страшно за нее, если этотъ старый колоссъ грохнетъ въ бурю всей своей тяжестью на ея жалкую берестяную крышу.

Всѣ эти юрточки дикарей разбросаны такъ, что отъ одной не видно другой, и, идя по протоптаннымъ, узкимъ тропинкамъ, вы то вдругъ открываете амбаръ на высокихъ столбахъ, напоминающихъ свайныя постройки, то низенькую юрточку, то громадную морду изъ корня сосны, то брошенныя оленьи санки. И все это такъ и бросается въ глаза, поражая своей простотой и оригинальностью, такъ и просится на желатинъ и полотно художника...

Вотъ и юрта старика Савелья. Я ея не узнаю, я видѣлъ ее подъ тѣнью развѣсистой ели, въ жаркій лѣтній день, съ зеленью на старой крышѣ, съ тропинками въ стороны лѣса, которыя тотчасъ же терялись за кустами черемухи и ивы, а теперь она

стоитъ запорошенная свѣжимъ снѣгомъ, тропинокъ тоже не видать подъ нимъ, даже вѣтви ели—и тѣ покрыты хлопьями и словно застыли надъ ней, и не будь синенькаго дымка, который тихонько валитъ изъ широкой глиняной трубы, можно было бы

Вогулы.

подумать, что за эти три мѣсяца умеръ и старикъ Савелій, и его подслѣповатая старуха, и даже сама бойкая, рѣзвая Кеть убѣжала куда-нибудь по тропинкѣ въ лѣсъ, да такъ и потерялась тамъ навѣки...

Но, слава Богу, все было благополучно. Старикъ по-старому сидѣлъ около чувала на низенькомъ стульчикѣ, старуха по-прежнему стонала на нарахъ отъ боли въ поясницѣ, и даже сама героиня этого лѣсного пауля—Кеть, и та вертѣлась по юртѣ такъ же, какъ и раньше, то перебѣгая, чтобы сунуть дрова въ каминъ, то исчезая куда-то въ низенькія двери на дворъ, гдѣ передъ ней скакали отъ радости лайки.

Мое появленіе было встрѣчено и радостью, и удивленіемъ.

— Пайся, пайся (здравствуй, здравствуй), заговорили всѣ въ юртѣ, какъ только я просунулъ въ дверь голову, сгибаясь, чтобы пролѣзть въ юрту.—Пайся, пайся, встрѣтили тѣмъ же возгласомъ моихъ проводниковъ, и мы вдругъ заполонили всю внутренность маленькой юрты, встали лицомъ къ лицу съ ея обитателями, затрясли имъ руки и, обхваченные вдругъ тепломъ, свѣтомъ веселаго огонька, казалось, даже не знали, что дѣлать съ мороза...

Кеть быстро скользнула на дворъ, старикъ уступилъ мнѣ мѣсто у самаго чувала, я вытянулъ къ огню озябшія руки и сквозь шумный говоръ моихъ проводниковъ, разсказывающихъ наши новости, уже благословлялъ судьбу, что я здѣсь, а не въ лодкѣ, подъ снѣгомъ и холодомъ, гдѣ еще такъ жутко было за минуту...

Кеть тонко знала обычай страны, и не успѣли мои проводники передать и половины новостей, какъ передъ нами появилась свѣжая закуска изъ мороженой рыбы, икра язей, сушеная, вяленая рыба, и насъ пригласили утолить голодъ передъ тѣмъ, какъ вскипитъ чайничекъ, уже повѣшенный доброй рукой на крюкъ чувала.

Кто-то уже далъ знать о нашемъ прибытіи и другимъ обитателямъ, и скоро въ юрту набралось столько народа, что сѣсть было некуда, и она такъ набилась посѣтителями, которымъ было непремѣнно нужно узнать, гдѣ мы были, что видѣли, что даже стало темно и маленькое окошечко съ брюшиной оленя въ стѣнѣ совсѣмъ стушевалось, уступивъ мѣсто огню разгорѣвшагося чувала. Онъ скользилъ по стѣнамъ, падалъ на широкія, смуглыя, скуластыя лица вогуловъ, скользилъ по раскрытой груди, голымъ плечамъ, такъ какъ обитатели принеслись сюда второпяхъ, накинувши только на плечи утренніе оленьи халаты, и, казалось, торопился намъ показать все это въ выгодномъ освѣщеніи, не думая, что это такъ дико, необыкновенно, неожиданно, странно...

И, смотря на всѣ эти смуглыя лица, съ заплетенными косами какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ, смотря на эти оригинальные костюмы, казалось, что мы гдѣ-то въ Америкѣ, въ неизвѣстной странѣ, у дикарей, въ лѣсахъ, далеко отъ свѣта, а не тамъ, гдѣ недалеко живутъ русскіе, есть города, села, кабаки и даже засѣдатель.

Всѣ эти лица такъ и пылали страстью узнать всѣ наши новости, такъ и слѣдили за живымъ разсказомъ проводниковъ, наскоро старавшихся удовлетворить дикое любопытство, словно мы ѣздили въ вершину ихъ рѣки открывать Америку, а не смотрѣть горныя породы, не рисовать планы, не фотографировать дикую природу и изучать ея жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ въ этой заброшенной, дикой странѣ. На меня они только порой кидали горячіе взгляды, какъ бы одобряя мою поѣздку, какъ бы удивляясь, что я цѣлъ отъ ихъ комаровъ, что я не потерялся въ ихъ трущобахъ, и я чувствовалъ, какъ съ тепломъ юрты, нѣгой веселаго огонька, ко мнѣ заглядываетъ въ душу гордость, и то, что было такъ просто, естественно, то, что я мерзъ, то, что я храбро отбивался и отляживался отъ тучъ комаровъ, то, что я равнодушно, когда вышли наши припасы, ѣлъ ужинъ вогуловъ изъ вареныхъ бѣлокъ и даже не жаловался на дымъ и ночевки въ лѣсу, начинаетъ мнѣ казаться подвигомъ, который цѣнятъ даже привычные ко всему, терпѣливые вогулы, и я улыбаюсь, чувствуя, что я въ глазахъ этихъ дикарей становлюсь героемъ, что бойкая Кеть уже начинаетъ смотрѣть на меня другими, болѣе ласковыми глазками...

Разсказы проводниковъ покупаютъ мнѣ довѣріе вогуловъ, они наперерывъ зовутъ меня въ свои юрты ѣсть сырую рыбу, обѣщаютъ научить меня стрѣлять изъ ихъ луковъ, показать ловушки на звѣря, одинъ даже зоветъ меня на засмотрѣнную берлогу медвѣдя, и я, въ сопровожденіи проводниковъ, старика Савелья, иду въ гости къ сосѣдямъ и даю слово, что пойду охотно и на медвѣдя со своимъ штуцеромъ, который уже заслужилъ въ ихъ глазахъ, со словъ проводниковъ, славу настоящаго оружія, чему они сначала было не довѣряли, видя, какъ онъ складывается и раскладывается на части.

Другая юрта, куда меня привели, была больше и тоже пряталась подъ елью. Но въ ней было грязно отъ чищеной рыбы, которая валялась въ углу. Двѣ грязнѣйшія женщины, спустивъ съ плечъ для удобства паницы,—мѣховые костюмы,—обнаживъ

грязненькія худыя плечики, съ тонкими, сухими, смуглыми руками, отвратительно вспарывали животы нельмамъ, выскребали оттуда кишки, отдѣляли желчь отъ икры и распластывали жирныхъ рыбъ на части, въ то время, когда около нихъ на голомъ глиняномъ полу возились замаранныя въ крови дѣти, и пара щенятъ волочила по полу кишки рыбъ и, упершись лапами въ полъ, отнимая другъ отъ друга, ворча, растягивала ихъ зубами...

Молодой хозяинъ этихъ женъ крикнулъ имъ что-то, онѣ поднялись, прибрали рыбу, бросились къ очагу, бросились на дворъ, и черезъ минуту передъ нами пылалъ костеръ очага и лежала въ чашкахъ и на плетенномъ изъ осоки коврикѣ мороженая и сырая рыба, которую принялись, словно съ роду не ѣвши, истреблять мои проворные проводники.

По стѣнамъ юрты вѣшались рыболовныя снасти, лукъ съ колчаномъ изъ кожи оленя, кремневое ружье съ цѣлой кучей принадлежностей: отвертокъ, гаекъ, свистулекъ для рябчиковъ, замысловатыхъ, выдуманныхъ вогуломъ приспособленій къ этому оружію и даже привязаннымъ къ нему каменнымъ божкомъ, который, видимо, тутъ помогалъ больше всего дѣлу охотника.

Мнѣ показали лукъ, колчанъ со стрѣлами съ желѣзными острыми наконечниками, разныхъ размѣровъ и фигуръ: одна съ вилками, другая въ видѣ ножа—для звѣря, третья съ зубцами—для рыбы, которую тоже стрѣляютъ вогулы, когда она во время метанія икры бродитъ по затопленнымъ болотамъ и травѣ, показываясь на поверхности. Тутъ же были и деревянныя стрѣлы съ шаромъ для бѣлки, которыми глушатъ ее и сталкиваютъ съ дерева; тутъ были стрѣлы и для утокъ, и все это мнѣ было наглядно пояснено: какъ стрѣла рѣжетъ головку утки, какъ втыкается и засѣдаетъ въ боку звѣря, какъ вонзается въ спину щуки, и та старается освободиться отъ случайнаго плавника въ сухой осокѣ затопленнаго берега... Даже божекъ и тотъ получилъ при объясненіи щелчокъ въ носъ, и когда я замѣтилъ, что такъ не принято обходиться съ богами, то мнѣ пояснили, что у нихъ можно ихъ даже драть розгами, и они дѣйствительно дерутъ ихъ, если они плохо помогаютъ имъ въ минуты нужды и необходимости.

Одинъ вогулъ даже похвастался при этомъ тѣмъ, что онъ своего покровителя охоты просто бросилъ, какъ негодную вещь, въ болото и сдѣлалъ на мѣсто того другого изъ дерева.

— Должно быть, что старъ сталъ, совсѣмъ правды не скажетъ,—сказалъ онъ на мой вопросъ о причинѣ такого жестокаго обхожденія съ покровителемъ охоты.

Въ третьей юртѣ нашимъ хозяиномъ оказался молодой вогулъ, извѣстный здѣсь за страстнаго охотника на медвѣдей. Дѣйствительно, у него все напоминало его любимую охоту: на нарахъ лежала шкура медвѣдя, въ щеляхъ юрты торчали когти съ за-

сушеннымъ мясомъ и волосьями, на стѣнѣ висѣла берестяная маска послѣ бывшаго у него медвѣжьяго праздника, и даже на его лицѣ и рукахъ и тамъ были знаки его любимой охоты на этого хозяина ихъ лѣсовъ, съ фигурой котораго у нихъ связано столько интересныхъ легендъ и родство котораго даже поднимается до самаго создателя вселенной—Торма, которому медвѣдь приходится не очень дальнимъ родственникомъ.

Но мое вниманіе не такъ привлекали эти знаки его охоты, какъ его молодая жена, которая была такъ нарядно одѣта въ мѣховую паницу съ вязками на груди, съ пестрыми узорами самыхъ причудливыхъ, оригинальныхъ формъ, а ея косы, которыя, начиная съ головы до самаго пола, были такъ убраны

мѣдными цѣпочками, позвонками, ленточками, монетами, что при каждомъ ея движеніи, когда она стыдливо намъ торопилась подать на столикъ обычное вогульское угощеніе изъ рыбы, онѣ издавали такой звонъ, что словно мы ѣхали на тройкѣ съ бубенцами...

Она, кромѣ того, была очень недурна собой, умѣла кокетничать и когда смѣялась, то показывала рядъ такихъ свѣжихъ бѣлыхъ зубовъ, что даже становилось завидно. Когда запищалъ въ углу на нарахъ ея первенецъ, она, не стѣсняясь, раскрыла грудь, сунула туда живое существо, завернутое въ оленьи шкурки, и мы могли прочесть на ея лицѣ, что она гордилась положеніемъ матери, и даже признака не было замѣтно, что она должна стѣсняться, кормя ребенка въ присутствіи мужчинъ.

Вся обстановка юрточки этихъ счастливыхъ супруговъ носила печать женской заботливости и чистоты. Она была только что срублена передъ тѣмъ, какъ молодой ея хозяинъ задумалъ похитить изъ сосѣдняго пауля свою невѣсту у несговорчивыхъ родителей, просившихъ слишкомъ большой калымъ за эту красавицу.

Но это, оказалось, было излишнее. Невѣста сама прибѣжала къ нему на новоселье прямо лѣсомъ, и вотъ съ тѣхъ поръ они живутъ въ ней, даже мало думая платить калымъ сердитымъ старикамъ, которые грозятся пожаловаться писарю на такую разнузданность нравовъ. Но писаря есть чѣмъ замазать, а «батюшки» они не боятся:—заставитъ повѣнчаться,—готовы хоть сейчасъ, нѣтъ, такъ проживутъ и съ тѣмъ, что походили кругомъ стараго сухого кедра, кругомъ котораго ходили и ихъ дѣды, отцы и живутъ до сихъ поръ безъ всякихъ непріятностей на свѣтѣ...

Вечеромъ я былъ уже въ седьмой юртѣ у одинокаго старика. Онъ былъ еще старше, казалось, своей юрты, которая сѣла на одинъ бокъ, да такъ и сидитъ, дожидаясь, пока онъ ее оставитъ въ покоѣ.

Онъ едва ходилъ, плохо видѣлъ глазами, совсѣмъ не работалъ, но это никому не мѣшало приносить ему съ «запора» рыбы для котла, изъ лѣса, съ ловушекъ погнившую тетерю, дѣлиться съ нимъ кускомъ промысла, одѣвать его, починивать его заплаты, и все это дѣлалось только по тому простому, доброму побужденію, что и онъ кормилъ ихъ стариковъ въ свое время, и онъ дѣлился съ ними, и онъ помогалъ общественнымъ

работамъ, и онъ выносилъ во время болѣзни другихъ, когда былъ силенъ и вскармливалъ подростковъ-сиротъ, и ему поэтому нечего бояться ни голода, ни нищенства, ни одинокой горькой жизни. О немъ заботятся всѣ, а онъ только грѣетъ свои кости около чувала, разсказываетъ сказки дѣтямъ, да порой поворожитъ на старомъ барабанѣ молодежи, которая придетъ пытать у него судьбу зазнобы своего дѣтскаго сердца...

Я прожилъ въ Шома-паулѣ нѣсколько дней; эти дни протекли тихо, мирно, легко; казалось, живешь въ какомъ-то первобытномъ уголкѣ свѣта, гдѣ всѣ довольны, гдѣ все тихо, безшумно проводитъ жизнь подъ говоръ мохнатыхъ сосенъ, и даже тетери, прилетавшія каждое утро на старый кедръ послушать, какъ звенятъ колокольчики на коровахъ, просиживая тамъ по часамъ, даже не обращая вниманія на себя жителей, развѣ только ребятишекъ, которые порой швыряютъ въ нихъ еловыми шишками,—даже тѣ свидѣтельствовали, что здѣсь нѣтъ враговъ, и жить можно такъ же хорошо и вдали отъ свѣта и въ мирѣ со всѣмъ окружающимъ...

II.

Вогульскій праздникъ.

Дождавшись перваго мороза, схватившаго и ледъ рѣки, и поверхность широкихъ болотъ, и извилистыя лѣсныя рѣчки, я тронулся въ путь къ моей зимовкѣ.

Оленей еще не спустили съ Урала, дороги еще не было, и добрые шоминцы, чтобы избавить меня отъ скучнаго сидѣнья въ ихъ паулѣ, рѣшили меня отправить на своихъ лайкахъ.

Я еще ни разу не ѣзжалъ на собакахъ и съ радостью согласился, чтобы только посмотрѣть это необыкновенное для меня зрѣлище—собачій поѣздъ.

Съ ранняго утра мнѣ приготовили низенькія собачьи санки, уложили бережно на нихъ мои коллекціи и припасы, словили собакъ, надѣли на ихъ шеи лямки, связали рядами, вывели на дорогу, и едва успѣлъ я сѣсть, какъ мы полетѣли по рыхлому тонкому снѣгу вдоль по лѣсной узкой дорожкѣ.

Въ санки было запряжено десять друзей человѣчества, да провожатыхъ, любителей, родственниковъ набралось столько же,

и нашъ поѣздъ былъ такъ шуменъ, такъ оживленъ, что мнѣ очень даже понравился.

Но это было недолго. Скоро вышли у собакъ какія-то недоразумѣнія, счеты и въ то время, когда мой проводникъ бѣжалъ впереди на лыжахъ по дорогѣ, показывая путь, онѣ устроили такую драку, что я бѣжалъ прочь отъ санокъ, чтобы и мнѣ, чего добраго, тутъ же не попало...

Однако, шестъ проводника, которымъ онъ благоразумно вооружился еще въ юртахъ, водворилъ порядокъ, меня посадили снова, и ввиду подобныхъ случаевъ проводникъ сѣлъ на санки, а собаки побѣжали сами, слѣдуя по слѣдамъ другихъ, бѣжавшихъ на свободѣ, изъ любви къ путешествію...

Помню, мы уже проѣхали нѣсколько верстъ, какъ вышла новая неожиданность.

На дорогу вынесло бѣлаго зайца, собаки воззрились, тявкнула одна, тявкнули другія, заяцъ далъ ходу по дорогѣ,—мы полетѣли за нимъ, онъ въ сторону, — мы летимъ туда же, онъ въ лѣсъ,— мы налетаемъ на дерево, трахъ... и я лечу въ снѣгъ, а мой проводникъ упирается лбомъ въ осину. Въ ушахъ шумъ, въ головѣ мутно, въ глазахъ темно, я приподнимаюсь, сажусь и вижу— передъ нами стоитъ пара осинъ. Въ лѣсъ идетъ слѣдъ нашихъ санокъ, и гдѣ-то далеко слышенъ лай собакъ, умчавшихся туда вмѣстѣ съ санями.

Мы пощупали бока, голову, ноги,—все еще цѣло, приподнялись со снѣга, охлопали одежду и пошли собирать пожитки, рѣшивъ, что такъ далеко не уѣдешь...

Но за нами было еще счастье. Собаки не убѣжали такъ далеко, какъ заяцъ, санки задѣли за дерево, собаки перепутались, остановились, затѣмъ вздумали драться, и по голосу страшной драки мы скоро догнали ихъ, и шестъ вогула вознаградилъ ихъ и за зайца, на котораго они вздумали съ нами охотиться, и за драку...

Не знаю, что бы сдѣлалъ еще вогулъ, осердившись на собакъ, если бы я его не остановилъ въ напрасномъ побоищѣ бѣдныхъ лаекъ. Когда онъ кончилъ, то, казалось, ни онъ самъ, ни собаки не понимали, что случилось, и кто въ этомъ во всемъ былъ виноватъ: онѣ или убѣжавшій заяцъ...

Я настаивалъ на томъ, что бить собакъ не за что, что виноватъ во всемъ заяцъ; вогулъ, казалось, сначала не понималъ этого, но, посмотрѣвъ на добродушно смотрѣвшихъ на насъ

собакъ, которыя, казалось, уже забыли палку и смотрѣли то въ лѣсъ, то на насъ, какъ бы говоря, что такъ нельзя оставить дѣло, надо непремѣнно словить бѣлаго зайца, махнулъ рукой и расхохотался такъ, что мы оба потомъ съ нимъ катались отъ хохоту...

Санки оказались цѣлыми, багажъ мы подобрали по слѣду, и когда снова очутились на дорогѣ, то снова рѣшили двинуться дальше, боясь, впрочемъ, больше насмѣшекъ бабъ, если бы мы вздумали возвратиться въ Шомы.

Сорокъ верстъ пути мы проѣхали хотя не быстро, но весело, собаки съ усталью потеряли охоту гоняться за зайцами, шестъ оказался даже лишнимъ, и мы поздно вечеромъ подъѣхали къ Мункежскимъ юртамъ.

Еще за минуту мы не предполагали, что мы около жилого мѣста; еще за минуту собаки, понуривъ головы, тащили наши санки, а мы брели сзади на лыжахъ, какъ вдругъ показался сквозь чащу лѣса огонекъ, собаки тявкнули, на ихъ голосъ отозвались другія, и мы неожиданно очутились у юрты, откуда доносился какой-то необыкновенный шумъ, какъ будто тамъ было большое общество.

Оставивъ вогула съ санками, я быстро вошелъ въ маленькія сѣни, столкнулся съ какимъ-то существомъ, отворилъ двери и, видя юрту полной народа, который даже стоялъ въ дверяхъ, что-то разсматривая впереди, гдѣ раздавались голоса и пылалъ чувалъ, попробовалъ локтями пробить себѣ дорогу...

Но только что я вошелъ и началъ пробираться, какъ въ юртѣ поднялся крикъ: «у-у-у, рюсь, рюсь», произошло движеніе, меня оттиснули къ дверямъ, окружили, и не знаю, что бы случилось, такъ какъ я видѣлъ передъ собой только свирѣпыя рожи вогуловъ, если бы не послышался голосъ моего проводника, вѣроятно, объяснявшаго имъ, что я не засѣдатель и не батюшка-миссіонеръ, которые ихъ-таки порядочно прижимаютъ за идолопоклонство...

Затѣмъ ко мнѣ подскочилъ почти голый вогулъ, съ краснымъ, возбужденнымъ лицомъ, взялъ меня подъ свое покровительство, что-то оживленно заговорилъ толпѣ, которая на меня нажимала, провелъ меня и посадилъ въ передній уголъ. И только сидя тамъ, рядомъ съ нимъ, я узналъ въ немъ своего знакомаго вогула изъ мѣстъ моей зимовки, который былъ тутъ, какъ оказалось послѣ, за главнаго шамана, хотя увѣрялъ меня, что онъ просто въ гостяхъ у своего родственника.

Его зять тоже принялъ мою сторону и, глядя на нихъ, вогулы помирились съ моимъ присутствіемъ на ихъ тайномъ праздникѣ, и я разглядѣлъ: и навѣшенные въ переднемъ углу шелковые платки, и разложенныя передъ темнымъ, подозрительнымъ сундучкомъ шкурки дорогихъ соболей, и разныя приношенія вогуловъ по стѣнкамъ, которыя освѣщалъ страшно пылавшій чувалъ.

Мой покровитель, видимо оцѣнившій мои угощенія водкой три мѣсяца тому назадъ, торопился мнѣ объяснить, что они молятся Богу, что они темные люди, не знаютъ, какъ молиться, что «батюшко» ихъ не научилъ еще молиться, и вотъ они собрались поблагодарить Бога за то, что онъ имъ послалъ хорошій промыселъ на рѣкѣ, что спасъ отъ чумы ихъ оленей на Уралѣ.

Я отвѣтилъ ему, чтобы они меня не боялись, что я никому ничего не скажу; онъ передалъ это вогуламъ, и тѣ, видимо, начали мириться съ моимъ присутствіемъ и снова заняли старыя мѣста, когда мой покровитель распорядился продолжать такъ неожиданно прерванный праздникъ.

Такимъ образомъ я очутился не только на праздникѣ, но даже гостемъ, хотя и незваным̀ъ...

Вѣроятно, чтобы показать мнѣ, что они молятся, какъ говорится, «и нашимъ и вашимъ», они достали откуда-то восковыя свѣчи, зажгли ихъ передъ иконой Николая Чудотворца, поставили ихъ и передъ темнымъ сомнительнымъ сундучкомъ и въ избу ввели годовалаго пестраго оленя.

Его вели за пушистые еще рога два здоровыхъ вогула, съ распахнутыми халатами на груди. Олень упирался, шарашился, дико, недоумѣвая смотрѣлъ на огонь, не шелъ, но его силой притащили на средину юрты, поставили головой къ сундучку, и вдругъ всѣ что-то закричали. Потомъ мой покровитель въ однихъ кожаныхъ штанахъ что-то громко запѣлъ, его подхватили другіе, и я въ недоумѣніи смотрѣлъ, что будетъ дальше, жалѣя отъ души дрожащее животное.

Нѣсколько разъ повторялись оглушительные крики, нѣсколько разъ всѣ вдругъ вскрикивали одно и то же слово, словно приговаривая оленя къ смерти; затѣмъ толпа разступилась, оленю надѣли на шею петлю изъ веревки, за концы ея схватились два здоровыхъ вогула, третій зашелъ съ ножомъ съ боку, и въ то время, когда олень удивленно, невинно смотрѣлъ прямо въ мои глаза, вогулъ съ крикомъ воткнулъ ему ножъ подъ лопатку..

Олень вздрогнулъ, зашатался, палъ на колѣна; вогулы стиснули ему шею петлей, и онъ, отчаянно отбиваясь ногами, палъ на полъ, закусивъ языкъ между зубами... Стонъ только прошелъ по юртѣ, когда на оленя навалились три вогула; одни держали его, чтобы не бился, одинъ затыкалъ ему рану тряпицей, чтобы не пролить даромъ священную кровь, олень же вздрагивалъ, вертѣлъ хвостомъ и молча закрывалъ свѣтлые, чистые глаза, когда уже вертѣли ножъ въ его мозгѣ. Онъ еще не переставалъ вздрагивать, биться, какъ его освободили отъ петли, перевернули на спину, поставили голову на рога и, загнувъ бѣлую шею, стали пороть острымъ ножомъ шкуру, начиная съ головы, по бѣлому брюху, вплоть до хвоста, до ногъ съ блестящими копытами.

Всѣ съ страстью, кровожадностью смотрѣли на эту операцію и, глядя на ихъ страстныя лица при свѣтѣ огня чувала, я видѣлъ передъ собой настоящихъ варваровъ, какихъ еще не подозрѣвалъ подъ ихъ всегда скромной, тихой фигурой.

Олень въ минуту былъ освобожденъ отъ теплой пушистой шкурки, внутренности вывалили въ чаши, распластали ребра, и онъ лежалъ подъ моими ногами, на срединѣ пола, въ готовомъ видѣ для сыроядѣнія, полный крови, лакомыхъ для вогулъ внутренностей, испуская паръ, запахъ крови и еще все подергиваясь мускулами.

Помощники жреца, моего покровителя, которые старались надъ этимъ дѣломъ, были уже по локти замараны свѣжей кровью, они возились, шарили въ оленѣ руками, словно привычные операторы, ихъ острые ножи, съ которыхъ лилась ручьемъ кровь, то и дѣло что-то тамъ пороли, и лакомые куски печени, легкихъ быстро скользили имъ въ ротъ, который, захлебываясь, съ жадностью засасывалъ ихъ и, не разжевывая, словно торопясь, проглатывалъ, смакуя свѣжесть крови и мяса.

Нѣсколько рукъ имъ протянули крашеныя, маленькія чашечки, мой покровитель первый получилъ въ такую чашечку: сердце, почку и ободранное ухо, и тотчасъ же поставилъ передъ сундучкомъ. Вторая чашечка, наполненная кровью съ кусками свѣжихъ легкихъ, ухомъ и почкой, поставлена была передо мной, и меня пригласили откушать. Я видѣлъ, что на меня всѣ смотрятъ, я видѣлъ, что, откажись я, я бы оскорбилъ своихъ любезныхъ хозяевъ, и, желая сдѣлать имъ удовольствіе, храбро вытащилъ сначала ухо. Но ухо оказалось хотя и ободраннымъ, но съ шерстью, которая еще торчала при его концѣ; я попробо-

валъ взять въ ротъ хрящъ, но онъ былъ твердый. Меня выручилъ покровитель, онъ взялъ у меня ухо оленя, обмакнулъ его въ кровь и прямо оттуда съ кровью всунулъ мнѣ въ ротъ. Я что-то слизкое, теплое, но ничуть не противное, постарался проглотить скорѣе. На меня, улыбаясь, смотрѣли окружающіе, кто-то похлопалъ даже меня по плечу, и не успѣлъ я опомниться, какъ моя кормилица всунула мнѣ въ ротъ цѣлую почку. Почка мнѣ показалась съ голоду, послѣ дороги, уже вкусной, и я попросилъ еще, и мнѣ дали легкаго. Такой оборотъ дѣла рѣшительно расположилъ ко мнѣ вогуловъ; они, какъ истиннаго гостя, спрашивали меня, нравится ли мнѣ ихнее угощеніе, лакомства, не нужно ли еще; одинъ мнѣ даже нахваливалъ обглодать ребрышко, другой совалъ чашку съ кровью, третій выворотилъ для меня глазъ и, обтерши его полой своего халата, подавалъ мнѣ, рекомендуя настойчиво его железа. Я не радъ былъ уже угощенію, удивлялся, сколько въ оленѣ нашлось лакомствъ, которыхъ я даже не подозрѣвалъ, по своему невѣжеству передъ такими гастрономами, отбивался руками и ногами и добился того, что меня оставили въ покоѣ, заявивъ, что я поѣлъ довольно.

Это было и необходимо для самихъ хозяевъ пиршества. Послѣ того, какъ были удовлетворены скрытое въ ящикѣ божество, гость и Николай Чудотворецъ, которому жрецъ вымазалъ кровью уста, вогулы принялись сами за угощеніе и принялись такъ, что стоило полюбоваться.

Они присѣли на карточки тѣсной толпой около туши, запустили въ нее руки, заплескались въ крови, которая, словно въ чашѣ, стояла въ ребрахъ оленя, въ ихъ рукахъ замелькали куски мяса и они, захлебываясь, торопясь, глотали все, что попадало имъ подъ руки. Одни подавали куски мяса черезъ головы назадъ, другіе просовывали руки съ кусками къ крови и тащили ихъ поскорѣе въ ротъ, третьи, припавъ на колѣни, пили кровь прямо изъ туши; олень быстро таялъ, кровь исчезала, ноги оленя перешли въ руки стариковъ, голову уже долбили ножомъ, добиваясь до свѣжаго мозга, на шкурѣ остались только объѣдки, и вогулы, удовлетворенные, снова поднялись на ноги, снова заняли свои мѣста на нарахъ и, красные отъ пота, замаранные кровью, съ кровяными губами, блестящимъ, словно опьяненнымъ, взглядомъ, обтирали руки о подолы своихъ халатовъ и свои окровавленные ножи.

Я замѣтилъ, что въ юртѣ не было ни одной женщины. Онѣ не достойны присутствовать при такомъ жертвоприношеніи, и

Вогулка въ нарядѣ.

только послѣ того, какъ олень былъ почти весь съѣденъ, ихъ позвали, чтобы онѣ навѣсили котлы съ его остатками и сварили бы намъ ужинъ.

Тѣ пришли, навѣсили темные, чугунные котлы на пламя чувала, сбросали туда мясо, объѣдки и, всунувъ туда желѣзныя вилы и вливъ воды, занялись своимъ привычнымъ дѣломъ варенія.

Присутствующіе, въ ожиданіи ужина, занялись горячими разговорами, откуда-то появился музыкальный инструментъ, въ видѣ гуся, какъ его и называютъ, одинъ артистъ издалъ изъ мѣдныхъ струнъ пріятную мелодію, другой завозился на какой-то досочкѣ, на которой тоже были натянуты мѣдныя струны, подстроился, и въ юртѣ полилась довольно пріятная, совсѣмъ не похожая на нашу музыку мелодія, съ другимъ строемъ, что-то въ родѣ индусскихъ мотивовъ.

Я заслушался; мотивъ былъ хотя однообразенъ, но былъ съ такими неожиданными переходами, такъ игривъ, что невольно увлекалъ слушателя.

Черезъ минуту артисты разошлись, одинъ сталъ подпѣвать, захныкалъ, издалъ какіе-то внутренніе, утробные звуки и залился сиповатымъ, хриплымъ голосомъ, слѣдуя мотиву. Это была вогульская пѣсня, и какъ я ни добивался узнать, о чемъ она поетъ такъ жалобно, съ такими вскрикиваніями, словно дѣло идетъ на сценѣ, но не могъ узнать; мой покровитель, раскрывъ ротъ, слушалъ пѣсню, остальные тоже всѣ ушли въ нее, и я видѣлъ по выраженію ихъ лицъ, что поютъ о цѣломъ событіи, потому что пѣсня вдругъ обрывается на пол-мотивѣ, и пѣвецъ начинаетъ быстро передавать ея подробности обыкновенной рѣчью, потомъ снова начинаетъ мотивъ, снова слышатся утробные звуки, хныканья, снова онъ плачетъ вмѣстѣ съ инструментомъ и вдругъ вскрикиваетъ, поражая всѣхъ неожиданностью такого оборота. Я дорого бы далъ, чтобы узнать, о чемъ они пѣли, но я не могъ еще говорить, понимать ихъ языкъ и только слушалъ мотивы, только любовался чужимъ впечатлѣніемъ, только наслаждался всѣмъ этимъ необыкновеннымъ для меня зрѣлищемъ.

Помню, были спѣты еще и еще пѣсни, но онѣ уже не произвели ни на меня, ни на присутствующихъ такого впечатлѣнія, какъ первый номеръ этого музыкальнаго вечера дикарей.

Вскипѣлъ ужинъ. Опять подали священному сундучку чашечку варенаго мяса, опять угостили Николая Чудотворца, опять предложили и мнѣ, грѣшному, угощеніе; началась ѣда, но она скоро окончилась, котлы были вытащены на дворъ, женщинъ выгнали, средину юрты очистили, грянула музыка, и начались танцы.

На сцену выступило два здоровыхъ вогула, одинъ въ халатѣ, другой въ однихъ кожаныхъ штанахъ, но съ такими косами, заплетенными краснымъ шнуромъ и связанными мѣдной цѣпочкой, что такихъ рѣдко сыщешь и у вогульской красавицы.

Строй перемѣнили, зазвенѣлъ какой-то совсѣмъ веселый мотивъ, вогулы закривлялись боками, завертѣли головой, косы, лохматые волосы взлетѣли на воздухъ, красныя лица, съ слѣдами крови, приняли дикое выраженіе шамановъ, и они пустились въ плясъ, гикая, подпрыгивая, размахивая въ тактъ руками, отталкиваясь отъ кого-то въ воздухѣ, вертясь клубомъ на одномъ мѣстѣ, ломаясь, вздрагивая и, видимо, что-то представляя мимикой изъ жизни своихъ боговъ или животныхъ.

Порой, отъ неожиданныхъ взвизгиваній, криковъ у меня вставали волоса на головѣ, порой все вертѣлось, кружилось въ глазахъ, порой я совсѣмъ забывалъ, гдѣ я, при чемъ присутствую, не во снѣ ли вижу я все это, но это была дѣйствительность, возлѣ меня сидѣлъ мой покровитель, съ другой стороны на меня ласково смотрѣлъ, подмѣтивъ впечатлѣніе, старикъ-вогулъ, тамъ въ толпѣ я видѣлъ своего проводника и по стѣнамъ уже знакомыя фигуры вогуловъ съ раскрытой грудью и съ вытянутой шеей, смотрѣвшихъ на зрѣлище, которое нельзя передать ни перомъ, ни кистью. Дикія пляски переходили въ представленія, представленія переходили въ пѣсни, пѣсни смѣнялись плясками, и такъ продолжалось такъ долго, что я захотѣлъ спать, но вырваться было не такъ легко съ такого праздника. Меня упрашивали остаться, посмотрѣть еще пляску, еще одно представленіе, еще послушать одну пѣсню. Я видѣлъ, что я желанный гость, со мной старались разговориться, какой-то старикъ лѣзъ ко мнѣ даже цѣловаться, другой кланялся, опьяненный кровью или этимъ зрѣлищемъ—не знаю, мнѣ въ ноги, третій гладилъ кровавой рукой по головѣ, всѣ что-то мнѣ толковали по-своему, всѣ старались меня занять, узнать, какое я вынесъ впечатлѣніе, одобряю ли я ихъ праздникъ. Но больше всѣхъ распинался мой покровитель, говоря все о томъ же тревожившемъ его вопросѣ вѣроисповѣданія, увѣряя, что они темные люди, что не знаютъ, какъ молиться Богу, что рады его милостямъ, что готовы отдать за Него душу и даже въ подтвержденіе своихъ словъ лѣзъ лобызать Николая Чудотворца, который какъ-то строго-спокойно, освѣщенный догоравшей свѣчкой, смотрѣлъ съ полочки на все это дикое общество съ замаренными кровью устами, словно сожалѣя ихъ, словно говоря словами Спасителя: «Боже, прости ихъ, они не вѣдаютъ, что творятъ»...

Наконецъ я вырвался и меня увели въ другія юрты, постлали мнѣ мягкую оленью постель, заперли, и я остался въ темнотѣ одинъ и долго еще слышалъ то какіе-то возгласы пѣсни, то страшный звукъ барабана, который какъ-то глухо отдавался въ лѣсу, пугая и безъ того настроенное воображеніе...

III.

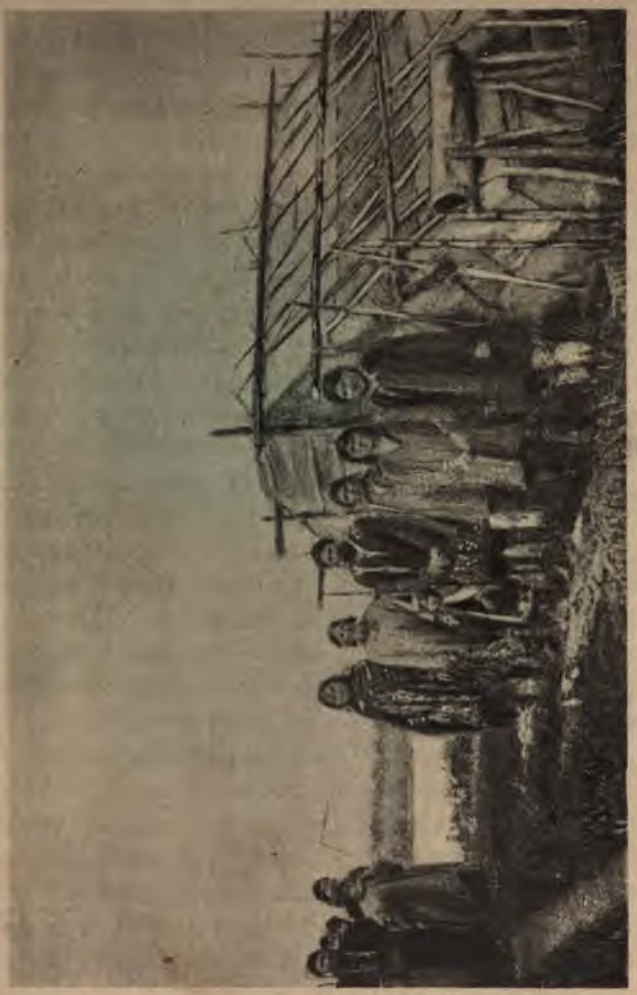
На Сѣверномъ Уралѣ.

Мои проводники-вогулы давно мнѣ говорятъ, что около горы «Елбынъ-неръ» «стоитъ чумомъ» вогулъ Пакинъ. Мало того, они настойчиво совѣтуютъ мнѣ непремѣнно направить путь черезъ эту гору и увѣряютъ всѣми силами, что этотъ вогулъ постоянно, каждое лѣто, живетъ тамъ со стадомъ оленей, и что мы непремѣнно найдемъ его, хотя бы пришлось сдѣлать крюкъ въ нашемъ направленіи.

Я давно знаю богатаго вогула Пакина, мнѣ совсѣмъ не зачѣмъ его видѣть, но я понимаю истинную причину моихъ проводниковъ сдѣлать ему визитъ:—имъ давно хочется поѣсть сырого оленьяго мяса, а достать его при нашихъ маршрутахъ путешествія случаевъ совсѣмъ не предвидится. Но желаніе уважить моихъ преданныхъ проводниковъ, которые вотъ уже три недѣли тащатся со мной по горамъ непривѣтливаго Урала, беретъ верхъ, и я приказываю своротить съ намѣченнаго направленія, и мы направляемся къ вершинѣ высокой, потонувшей однимъ бокомъ въ необозримой лѣсной поверхности сибирской тайги горы, которая вотъ уже два дня то задернется бѣлыми кучевыми легкими облачками, то вдругъ засинѣетъ на горизонтѣ, явственно выступитъ на его сѣро-голубомъ фонѣ всѣми подробностями конусообразной, голой вершины.

Почему эта гора называется «святой», по-вогульски «Елбынъ-неръ», мнѣ неохотно объясняютъ мои проводники, но я уже по ихъ смущенію при этомъ вопросѣ начинаю догадываться, что это названіе дано ей не спроста, и, быть можетъ, само пребываніе тамъ вогула Пакина связано не съ однѣми нуждами прокормить лѣтомъ свое оленье стадо, а, быть можетъ, и съ другими потребностями суевѣрнаго вогула. Это меня заинтересовываетъ, и мнѣ хочется еще что-нибудь узнать изъ вѣрованій этого скрытнаго, боязливаго народа.

Стоитъ іюль. Погода чудесная, и намъ благопріятствуетъ все. Мы движемся вдоль восточнаго склона Сѣвернаго Урала. Прямая, протянувшаяся прямо вдоль нашего пути къ сѣверу цѣпь горъ ясно обрисовываетъ какъ свои склоны, такъ и свои без-



Вогулы и ихъ берестяной шалашъ.

лѣсныя вершины. Кой-гдѣ видны по склонамъ группы низкорослой березы; кой-гдѣ, словно обгорѣлыя, одинокія, согнувшіяся стоятъ уродливыя лиственницы; ниже тянется ровной полосой по склону, въ предѣлахъ лѣсовъ, еловый лѣсокъ; еще ниже, въ долинѣ, низменности, онъ переходитъ въ сплошной

смѣшанный лѣсъ и тянется уже къ востоку сплошнымъ щетинистымъ ковромъ, теряясь на горизонтѣ урмановъ, блестящихъ озеръ, изгибовъ горныхъ рѣкъ.

Здѣсь, на горахъ, прохладно, по ущельямъ еще видны не вытаявшіе заносы зимняго снѣга, на самыхъ вершинахъ гуляетъ вѣтеръ, бродятъ облака, кутается туманъ; но ниже, въ долинѣ, низменности, теперь жара, миріады комаровъ, душно,—вотъ почему вогулъ и вышелъ со стадами въ горы и живетъ тамъ все лѣто, спасаясь отъ бича Сѣвера—комариная царства.

Комары есть и на горахъ, но они ютятся въ мелкой зелени, прячутся за каждую ползучую иву, березу, лиственницу и, боясь быть оторванными отъ родного мѣста вѣтромъ, даже не смѣютъ пѣть свою докучливую пѣсню, даже, кажется, выродились въ безголосыхъ и некровожадныхъ.

Мы тащимся на оленьихъ санкахъ. Въ каждыя санки запряжено теперь по пяти оленей. Снѣга нѣтъ, и намъ приходится передвигаться по влажной травѣ на полозьяхъ. Это единственный способъ здѣсь ѣзды и зимой, и лѣтомъ, съ той только разницей, что зимой достаточно пары, а лѣтомъ нужна цѣлая четверка рогатыхъ животныхъ. Правда, намъ рѣдко приходится садиться, потому что дороги нѣтъ, на пути постоянно попадается то рытвина, то каменныя розсыпи, то рѣчки, и мы поэтому больше предпочитаемъ идти съ ружьями пѣшкомъ, чѣмъ ѣхать, предоставивъ санки провизіи и минутамъ отдыха на скатахъ.

Олени, тяжело дыша, вытянувшись гусемъ, тащатъ санки; рядомъ идетъ проводникъ, съ длиннымъ шестомъ и вожжей въ рукахъ, за нимъ тащится другой съ другими санками, затѣмъ третій, и все это составляетъ обычный здѣсь караванъ, съ которымъ приходится здѣсь путешествовать всякому.

Порой мы спускаемся въ долину рѣчки, заходимъ по поясъ въ густую траву, теряемся въ ивовыхъ кустахъ, переходимъ горный потокъ, останавливаемся напиться холодной воды, выкупаться, сварить чаю и отдохнуть. Въ другой разъ мы поднимаемся выше лѣсной полосы, заходимъ на альпійскую флору, топчемъ сѣрые мхи, отдыхаемъ на громадныхъ валунахъ горныхъ породъ, любуемся панорамой и, продрогши отъ пронизывающаго вѣтра, сырого тумана, который нѣтъ-нѣтъ и одѣнетъ склоны горъ, скрывши все окружающее, снова спускаемся ниже, гдѣ не такъ холодно, гдѣ не такъ пронизываетъ вѣтеръ горъ.

Однако, какъ ни увѣряли меня проводники, что чумъ Пакина близко, до него пришлось тащиться чуть не цѣлый день.

Наконецъ къ вечеру я услышалъ радостные крики: «чумъ! чумъ! олени! олени!..» Дѣйствительно, на склонѣ горы «Елбынъ-неръ» видны черныя двигающіяся фигуры; онѣ, какъ муравьи, шевелятся на голой сѣро-зеленой поверхности розсыпи, бродятъ группами, кидаются въ стороны, гоняются другъ за другомъ, а то вдругъ двинутся всѣ разомъ въ гору густой темной цѣпью, и слышно даже, какъ шумятъ ихъ копыта о камень, какъ гуломъ разносится характерный шумъ оленьяго стада отъ потрескиваній сочлененій ногъ.

Мои проводники подали условный, протяжный голосъ пастуху; онъ эхомъ прокатился подъ подножіемъ горы, отдался два раза въ ущельяхъ и замеръ. Со стороны стада черезъ минуту послышался отвѣтъ, едва слышнымъ голосомъ долетѣвшій до нашихъ ушей, и мы видѣли, какъ, испугавшись этого крика, вдругъ тронулось стадо, побѣжало гурьбой внизъ въ долину и разсыпалось тамъ по густой зеленой травѣ.

Но разсмотрѣть чумъ мнѣ не удалось сразу. Я долго его не замѣчалъ, разыскивая глазами около стада. Онъ оказался значительно ближе къ намъ, въ сторонѣ, на опушкѣ березоваго рѣдкаго лѣса и былъ виденъ, какъ на ладони.

Однако, чтобы разсмотрѣть его ближе, я досталъ бинокль, навелъ на него и залюбовался картиной.

Чумъ стоитъ на ровной, голой горной площадкѣ. Онъ весь отсвѣчиваетъ подъ лучами закатывающагося за гору солнца. Его береста, которымъ онъ покрытъ, веревки, которыми онъ укрѣпленъ на случай вѣтра, даже вершинки жердей, на которыхъ онъ основанъ,—все, кажется, словно сдѣлано изъ серебра, какъ и оленьи санки съ голбчиками, гдѣ хранится провизія, какъ и амбарчикъ въ сторонѣ, какъ и вся принадлежность незамысловатаго переноснаго жилища кочующаго оленевода.

Насъ замѣтили изъ него. Я вижу, какъ изъ чернаго отверстія чума вылѣзъ сначала одинъ человѣкъ въ малицѣ, затѣмъ показался другой, затѣмъ появилась пара ребятишекъ, за ними высыпали на улицу собаки, и до насъ донесся тонкій тревожный голосъ лайки.

И какой маленькой среди этой колоссальной панорамы горъ кажется эта живая группа людей и собакъ, какимъ крохотнымъ, въ сравненіи съ этими пиками горы, кажется жилище человѣка,

словно это игрушка, рисунокъ, а не дѣйствительность, съ яркими красками зелени по склонамъ, темными выступами ущелья, съ березовымъ лѣскомъ въ сторонѣ и бѣлыми перистыми облаками на сѣро-голубомъ небосклонѣ... Насъ замѣтили, разсмотрѣли, и со стороны чума до насъ вслѣдъ за бѣлымъ дымкомъ ружья доносится эхомъ раскатившійся по ущелью выстрѣлъ.

Мои проводники, какъ угорѣлые, бросились къ ружьямъ, живо засыпали съ ладоней пороху въ свои кремневыя ружья, заткнули ихъ тряпицами, забили шомполами и, пристроивъ курки съ кремнями, насыпавъ на полки пороху, одинъ за другимъ дали по оглушительному залпу, которые, какъ раскаты грома, прокатились по склону горы, отдались въ ея темныхъ ущельяхъ и долго еще гдѣ-то шумѣли, замирали въ лѣсу тайги.

Свиданіе начинало принимать торжественный видъ; намъ рады, узнали, и мои проводники уже предвкушаютъ поѣсть свѣжинки и торопятся поскорѣе двинуться навстрѣчу ѣдущимъ къ намъ санкамъ отъ стада, которыя видно какъ ныряютъ по волнистой мѣстности съ тройкой оленей, несущихся съ загнутыми на спину вѣтвистыми рогами.

Не успѣли мы пройти какихъ-нибудь двухсотъ саженъ, какъ къ намъ лихо подкатилъ самъ вогулъ Пакинъ и браво остановился, не доѣзжая нѣсколькихъ саженей. Это былъ рослый, еще молодой вогулъ въ малицѣ съ собачьей пушистой оборкой по подолу, съ длинными косами на спинѣ, тщательно увитыми краснымъ шнуркомъ и связанными блестящими тонкими мѣдными цѣпочками въ концахъ, какъ подобаетъ щеголю-вогулу.

Эти косы, туго стянутыя на затылкѣ и украшенныя тамъ еще мѣдными солдатскими пуговицами стараго николаевскаго времени, болтались за спиной при каждомъ его движеніи и, видимо, онъ гордился ими.

Онъ быстро соскочилъ съ санокъ, воткнулъ длинный шестъ, которымъ правилъ тройкой темныхъ оленей, привернулъ послѣднихъ къ санкамъ вожжей и быстро направился къ намъ навстрѣчу, уже издали улыбаясь и говоря:

— «Пайся, пайся, рума ойка»,—здравствуй, здравствуй, другъ.

У вогуловъ—всѣ друзья съ перваго свиданія, какъ и у французовъ, и свиданіе съ ними всегда носитъ характеръ самыхъ близкихъ отношеній, почему я не удивился, что обрадованный и польщенный моимъ визитомъ вогулъ, запросто поздоровавшись, полѣзъ меня лобызать и потомъ, въ заключеніе, какъ бы выражая почтеніе, по-китайски поцѣловалъ мою руку.

Все это онъ продѣлалъ съ такой быстротой, что я не успѣлъ одуматься, и вижу—онъ уже здоровается, но уже безъ цѣлованія, съ моими проводниками и пытливо осматриваетъ наши санки и нашихъ уставшихъ оленей.

Я залюбовался его оленями. Они, въ сравненіи съ моими, были просто чудо-стройные, съ блестящей, тонкой, короткой

Лѣтній берестяной шалашъ вогула.

шерстью, которая только что поднялась и еще не распушилась послѣ линянія и отливала на солнцѣ.

Хороши были и рога этихъ сѣверныхъ красавцевъ: пушистые, свѣжіе, причудливо завитые, разбитые на отростки и такъ кокетливо распланированные копытомъ, что казалось, словно олени дѣлаютъ ихъ по рисунку.

Сытыя животныя задохлись отъ быстрой ѣзды и едва переводили духъ, отпыхивая во весь ротъ, свѣсивъ красные языки на сторону; но въ нихъ было столько готовности немедленно броситься въ путь, столько свѣжести, что, смотря на своихъ,

съ обломанными рогами, расшарашенными ногами, понурой головой, даже становилось досадно.

Вогулъ замѣтилъ мое любопытство и, жалѣя моихъ оленей, тотчасъ же изъ любезности предложилъ оставить ихъ у него, обѣщаясь дать мнѣ взамѣнъ свѣжихъ.

Мы были этому рады и немедленно двинулись къ его чуму, рѣшивъ сдѣлать заодно у добраго знакомаго вогула и дневку.

Въ чуму было движеніе, шла чистка, изъ его отверстія уже валилъ сизый дымокъ, и, когда мы подъѣхали караваномъ къ становищу, то насъ дружелюбно встрѣтили не только обитатели его въ видѣ двухъ женщинъ, старухи и пары ребятъ, но даже бойкіе псы, лай которыхъ скорѣе выражалъ радость видѣть гостей, чѣмъ неудовольствіе за безпокойство.

Съ площадки чума открывался чудный видъ на горы, отроги Урала и широкую низменность съ лѣсомъ сибирской настоящей тайги. На противоположномъ скатѣ горы видно, какъ паслось тихо стадо. Въ немъ до шестисотъ оленей. Четыреста изъ нихъ принадлежатъ Пакину; это цѣлое состояніе, если реализировать въ деньги, 20,000 рублей, что далеко превышаетъ состояніе нашего зауряднаго крестьянина. Остальные олени принадлежали другимъ вогуламъ той рѣки, гдѣ жилъ постоянно Пакинъ, и паслись у него за цѣну.

Пока готовился въ чуму чай, мы разговорились съ хозяиномъ насчетъ его рогатаго стада, и оказалось, что онъ живетъ, слава Богу, въ достаткѣ. Четыреста оленей даютъ ему приплоду ежегодно около 250 штукъ оленей; изъ этого числа пропадаетъ, затаптывается оленями, пугающимися всякаго шума, и заѣдается волками до пятидесяти; остальные идутъ на колотье и для приплода. Его семья исключительно питается мясомъ, потому что вогулы хлѣбъ еще знаютъ мало. Семья Пакина состоитъ изъ 6 человѣкъ, для стада онъ держитъ еще работника, и они каждый Божій день съѣдаютъ, не больше не меньше, какъ одного оленя въ два съ половиной и даже три пуда. Такая кровожадность будетъ понятна только тогда, когда читатель самъ посмотритъ, какъ ѣстъ вогулъ.

Такимъ образомъ, весь приплодъ, за исключеніемъ, быть можетъ, тридцати, много пятидесяти оленей, пускаемыхъ въ стадо вмѣсто тѣхъ, которые за старостью и негодностью тоже съѣ-

дается. какъ и [illegible]. [illegible] на [illegible]
Шкуры [illegible] въ [illegible]. [illegible]
часть [illegible]
калачи, [illegible]
кусками [illegible]
въ чашки [illegible]
что остается [illegible]
гулки не [illegible]
которыя [illegible]
оленьихъ [illegible]

Пахомъ [illegible], у него [illegible] и [illegible]. Но кромѣ того, что онъ имѣетъ отъ [illegible] непосредственно, онъ еще добываетъ [illegible] и [illegible] въ [illegible]ное время [illegible] подкарауливаетъ [illegible] и [illegible] песцовъ съ [illegible] шкурами, которыя цѣнятся въ два раза дороже обыкновенныхъ домашнихъ. Кромѣ того онъ порой ловитъ въ капканъ бродячую росомаху, загоняетъ на деревья и убиваетъ пеструю рысь, ловитъ [illegible] горной [illegible]. И все это даетъ ему нѣкоторый заработокъ сверхъ смѣты, а главное товаръ на обмѣнъ съ березовскими купцами, и не будь онъ такъ алчны до наживы, онъ давно бы [illegible] составилъ себѣ порядочное состояніе.

Это стадо, которое бродитъ теперь, разсыпавшись по пологому склону горы, досталось ему отъ отца и [illegible] въ такомъ жалкомъ количествѣ; но молодость, неумѣнье жить, какъ это случается постоянно и у насъ, сильно подъѣдали его стадо, а водочка, пріятели, купцы—и вовсе довели его до настоящаго положенія, тогда какъ отъ отца оставалось [illegible] тысяча.

Во время этого разговора къ намъ подбѣжалъ малый его сынокъ въ новой малицѣ съ красными полосами по подолу и что-то таинственно ему передалъ на ухо. Оказалось, что чайникъ вскипѣлъ, все готово, и его мать послала его къ намъ просить зайти въ чумъ, и мы отправились на это приглашеніе въ его жилище.

Согнувшись при входѣ въ жилище вогула, мы залѣзли въ чумъ.

Тамъ было уже цѣлое общество. На лѣвой сторонѣ очага, который горѣлъ ивовыми деревцами, надранными вмѣстѣ съ кор-

нями, сидѣли мои проводники; рядомъ съ ними помѣстились двѣ женщины, хлопотливо стараясь что-то около темныхъ, мѣдныхъ, закоптѣлыхъ котловъ; на правой почетной половинѣ сидѣла въ заднемъ углу мать Пакина, старушка; около нея вертѣлась пара ребятишекъ; и при нашемъ входѣ разговоръ быстро затихъ, и съ мѣста поднялась здороваться почтенная бабушка. Она тоже по ихнему обычаю вздумала поцѣловать меня въ обѣ щеки, потомъ приложилась къ рукѣ, отнять которую было бы нарушеніемъ этикета и, что-то говоря по-своему, стала усаживать меня на свѣжую оленью шкуру съ собой рядомъ.

Черезъ минуту я сидѣлъ въ ближайшемъ обществѣ старушки и ея сына съ другой стороны и съ удивленіемъ смотрѣлъ, какъ, что-то мыча на вопросы хозяекъ, мои проводники обгладывали: одинъ оленью ногу, а другой скулу оленя, тогда какъ третій старался ободрать другую ногу животнаго, вѣроятно, заколотаго наканунѣ.

Молодыя краснощекія хозяйки, то и дѣло поправлявшія свои тяжелыя косы съ массой мѣдныхъ побрякушекъ, съ полными пальцами мѣдныхъ колецъ на рукахъ, съ раскраснѣвшимися щеками, проворно возились около огня, то снимая чайники съ кипѣвшимъ чаемъ, то навѣшивая котлы на лизавшее кверху пламя.

Въ чуму было дымно, но боковыя отдушины давали настолько притокъ воздуха снаружи, что дымъ стоялъ какъ разъ только надъ нашими головами, а внизу было чисто, и мы могли, не проливая даромъ слезъ, поддерживать разговоръ, вертѣвшійся около нашего путешествія по Уралу.

Добрая бабушка меня тотчасъ же раздѣла, стянула заботливо сапоги, дала оленьи пимы, на спину мнѣ накинули спальный оленій халатъ вмѣсто моей кожаной визитки, уже порядочно мнѣ надоѣвшей холодомъ въ дорогѣ, и я сталъ настоящимъ гостемъ этой гостепріимной семьи.

Затѣмъ передъ нами появился низенькій столикъ, чашки, калачи, масло, наши припасы, кусокъ вяленаго мяса на закуску, и мы принялись всѣ втроемъ угощаться. Мой сосѣдъ старательно, безъ спроса накладывалъ мнѣ въ чай кусокъ за кускомъ скоромнаго масла, спустилъ туда же, нисколько не сомнѣваясь въ моемъ вкусѣ, кусочекъ топленаго сала оленя, говоря, что такъ еще слаще будетъ, и если бы я не остановилъ его ревность, то, вѣроятно, онъ опустилъ бы туда же и вяленаго мяса *и чего-нибудь еще* въ видѣ вогульскихъ лакомствъ...

Когда онъ узналъ, что я большой любитель молока, онъ тотчасъ же распорядился пригнать стадо, надоить и угостить меня оленьимъ молокомъ.

Этотъ случай пріостановилъ нашъ чай на второмъ чайникѣ, и, выпивши по четыре чашки, мы вышли на дворъ, гдѣ уже перебѣгали пригнанные олени, рѣшивъ заняться имъ какъ слѣдуетъ послѣ.

Вогулы-пастухи вооружились арканами, замѣтили безъ теленка гуляющую самку, и прежде, чѣмъ она успѣла пробѣжать передъ нами въ косякѣ стада, на ея вѣтвистые рога пала веревка, натянулась, и животное мастерски было выбито изъ стада, и осталось биться со спутанными рогами около чума.

Самка была старая, сильная, сдаваться не хотѣла даромъ и, порядочно повозивъ ухватившихся вогуловъ, наконецъ была сбита съ ногъ, пала на бокъ и на нее навалились три вогула. Я, признаться, пожалѣлъ уже, что назвался любителемъ молока, но было поздно, и четвертый вогулъ, подбѣжавшій съ деревянной чашкой въ рукахъ, припалъ къ вымю, намялъ его, такъ какъ самка не хотѣла дать молока, и сталъ доить. Бѣдное животное едва переводило духъ отъ навалившихся на него трехъ здоровыхъ вогуловъ, недвижно лежало, откинувъ назадъ голову и прислушивалось, что съ ней дѣлаютъ, мигая темными, большими, свѣтлыми глазами.

Въ чашку надоили стаканъ густого, жирнаго молока вмѣстѣ съ шерстью; затѣмъ рога самкѣ распутали, отпустили, и она, не довѣряя себѣ, быстро вскочила, встряхнулась и, закинувъ рога на спину, широкими, размашистыми шагами, боязливо оглядываясь, понеслась къ стаду подъ гору, напуганная страшно человѣкомъ.

Молоко оказалось, какъ сливки, на мой вкусъ очень вкусное, хотя и отдаетъ мхомъ, которымъ по преимуществу питается сѣверный олень.

Опять началось чаепитіе, опять угощенія масломъ, саломъ, вяленымъ мясомъ.

Послѣ чаю всѣ занялись ловлей молодого оленя для ужина.

Глядя на стадо, гдѣ тревожно перебѣгали молодые съ черными пушистыми рожками олени, боязливо посматривая на человѣка своими черными глазками, мнѣ было отъ души жаль, что еще на одного накинутъ крѣпкій арканъ, еще одного выдернутъ изъ родного стада кровожадные люди, еще одного свалятъ на землю и будутъ колоть острымъ ножомъ прямо въ сердце, подъ лопатку

въ то время, когда онъ, не понимая, что съ нимъ хотятъ дѣлать, будетъ покорно лежать подъ тяжестью навалившихся его враговъ и смотрѣть въ послѣдній разъ на окружающую зелень, которая такъ хороша при закатѣ солнца, которая такъ и манитъ жить, разостлавшись альпійскимъ лугомъ по склонамъ горъ, раскинувшись вдоль синѣющей цѣпи горъ и ушедшей куда-то далеко-далеко въ горизонтъ лѣсной тайги, гдѣ кажется такъ загадочно, такъ темно, такъ все неизвѣстно...

Черезъ часъ, дѣйствительно, жертва сыроядѣнія и кровожадности уже валялась въ видѣ распластаннаго трупа на свѣжей оленьей шкуркѣ, около нея сидѣли мои проводники, вся семья вогула, къ ней пристроился и пастухъ, толстый молодой парень съ заплывшимъ лицомъ, и тоже, какъ они, дѣйствовалъ ножомъ, выпарывая лакомства, обмакивая ихъ въ кровь и отправляя ихъ торопливо, захлебываясь, въ ротъ.

Потомъ всѣ возвратились въ чумъ въ крови, свалили мясо не мывши въ котлы, подбросили дровъ на очагъ, и черезъ часъ ужинъ уже былъ готовъ.

Мои проводники поѣли такъ свѣжаго мяса, такъ напились крови, что казались даже опьянѣвшими и уже не только послѣ ужина не показывались на дворъ, но даже перестали мычать на разспросы любопытнаго пастуха, который тоже разспрашивалъ ихъ, въ свою очередь, о нашемъ путешествіи, мало понимая, зачѣмъ мы собственно бродимъ по Уралу.

Послѣ ужина мы съ словоохотливымъ вогуломъ-хозяиномъ отправились прогуляться. Ночь была настолько свѣтла, что даже не скрыла отъ насъ дальнихъ горъ, которыя только еще отчетливѣе обрисовались на свѣтло-лиловомъ горизонтѣ. Горы, низменность, скаты отроговъ, все спало, словно погрузившись въ раздумье послѣ жаркаго дня. Недалеко отъ чумовища, на виду, лежало стадо оленей. Самцы стояли еще неподвижно, словно выжидая, съ которой стороны покажется сѣверный хищникъ-волкъ.

Пакинъ на случай даже захватилъ ружье, но кругомъ была такая тишина, такъ все отдыхало, что даже не вѣрилось, что кто-нибудь, даже изъ животныхъ, могъ тревожить въ такую свѣтлую ночь стадо, когда повсюду видно было чуть ли не такъ же ясно, какъ и днемъ.

Однако, вогулъ горько жалуется на волковъ, увѣряетъ, что каждую ночь они тревожатъ стадо и даже собаки и тѣ не мо-

гутъ укараулить, какъ тѣ подкрадутся къ отбившимся оленямъ и закусятъ неосторожныхъ.

Большею частію о волкахъ онѣ узнаютъ только тогда, когда стадо дикихъ животныхъ вдругъ придетъ въ движеніе, бросится сломя голову въ сторону и разобьется на части, чего собственно и нужно волкамъ, чтобы, отбивши отъ стада оленей, гнаться за ними на свободѣ, пока тѣ не сломятъ ногъ или не загонятся ими до усталости; тѣ олени уже пропащіе для стада, такихъ ежегодно теряется нѣсколько десятковъ, и не будь богатаго приплода, стадо можно было бы потерять скоро.

Еще не такъ велика бѣда, если волкъ задавитъ оленя у стада: тогда ему большею частію не удается порвать много, его отнимаютъ пастухи, собаки; волкъ, подравши шкуру и нахватавшись наскоро мяса, уходитъ голодный прочь, а олень поступаетъ на пищу, и если теряется что, то только шкура, которую въ большинствѣ случаевъ волкъ изрываетъ въ клочки своими здоровыми зубами, хватаясь за отбивающееся животное.

Волки даже живутъ у стада, они тоже перекочевываютъ съ нимъ въ сторону и, кажется, даже считаютъ себя въ правѣ пользоваться его мясомъ, какъ и сами его хозяева. Кромѣ того, они до такой степени изучаютъ характеръ хозяевъ стада, пастуховъ, что безъ риска подходятъ даже днемъ къ стаду, и стоитъ только зазѣваться пастуху, какъ они уже въ сторонѣ давятъ. Больше всего достается молодымъ телятамъ. Къ глупости оленя въ данномъ случаѣ прибавляется еще дѣтское любопытство, и въ то время, когда старые торопливо отбѣгаютъ въ стадо при видѣ врага, молодежь остается на мѣстѣ или даже еще подходитъ къ волкамъ, когда тѣ, нарочно играя на ихъ любопытство, катаются по травѣ, машутъ хвостами, пока за любопытство не будетъ заплачено жизнью...

Кромѣ ихъ, на Уралѣ много еще и другихъ враговъ рогатаго стада: тамъ бродятъ россомахи, бѣгаетъ хитрая рысь; та и другая тоже пользуются случаемъ поѣсть оленя, и туда же порой дѣлаетъ визиты и бурый медвѣдь, когда ему наскучатъ грибы, и морошка.

Но послѣдній—существо открытое. Онъ не будетъ, какъ волкъ, обманывать молодежь, не будетъ скрадывать по ночамъ, когда спитъ лѣнивый пастухъ, а прямо идетъ къ стаду даже среди бѣлаго дня, съ видимымъ равнодушіемъ подходитъ къ оленямъ, становится на дыбы, высматриваетъ, гдѣ пастухъ, нѣтъ ли опасности,

и если все обстоитъ благополучно, то бокомъ подбирается къ пасущемуся оленю покрупнѣе и, изображая, что онъ мало даже имъ интересуется, вдругъ бросается въ его сторону... Но въ большинствѣ случаевъ олень, если это немолодой и неробкій, легко отъ него убѣгаетъ въ стадо. Тогда Мишка, взрявкнувъ отъ гнѣва и не желая играть больше обидной роли, прямо устремляется въ середину стада и начинаетъ гонять оленей по пастбищу, летая за ними и на дыбахъ и вприпрыжку...

Кончается это тѣмъ, что на него налетаютъ собаки, начинаютъ его подергивать за гачи, онъ занимается ими, но поймать ихъ еще труднѣе, чѣмъ оленя, и вотъ начинается отчаянная травля. Онъ быстро теряетъ силы, шуба его немного тяжела, тепловата для такой игры, и дѣло кончается тѣмъ, что или онъ убѣгаетъ постыдно съ ободранными гачами во-свояси или попадаетъ на пулю ловкому стрѣльцу, и, смотришь, самъ отправляется на ужинъ...

Бываетъ и на его половинѣ праздникъ, если онъ поймаетъ оленя, и, какъ тамъ ни грызись послѣ собаки, какъ тамъ ни кричи пастухъ, онъ спокойно поужинаетъ, остатки утащитъ съ собой, да еще, при случаѣ, подерется и съ самимъ хозяиномъ стада, если у того хватитъ храбрости вступить съ нимъ за тушу оленя въ споръ.

Мой хозяинъ горько жаловался на одного знакомаго ему медвѣдя, который порой дѣлаетъ ему визиты въ минуты своей нужды. Онъ знаетъ, гдѣ онъ и живетъ по сосѣдству, въ ущельи; онъ не разъ подкарауливалъ его, но вступить съ нимъ въ поединокъ съ кремневымъ ружьемъ побаивается, потому что разъ уже побывалъ подъ его лапами, и теперь пока они живутъ мирно.

Пакинъ всегда, какъ говорили мнѣ мои проводники, живетъ у этой горы; тутъ же жилъ и его покойный отецъ-старикъ со стадомъ лѣтомъ, и поэтому ему знакома каждая пробитая его оленями тропа, каждый уголокъ горы и склона и каждая береза того маленькаго лѣса, который словно нарочно разбросанъ на полугорѣ у площадки, гдѣ стоитъ его чумъ. Ему даже знакомъ каждый черный воронъ, который живетъ въ этомъ лѣсу, питаясь, словно пенсіонеръ, отбросами ихъ кухни. Эти вороны такъ привыкли къ человѣку, что подлетаютъ къ нему, когда онъ закалываетъ оленя, тянутъ, случается, изъ-подъ его рукъ кишки и съ боя берутъ мѣсто у собакъ, гдѣ только что пролита свѣжая кровь звѣря.

Еще больше въ мирѣ они живутъ съ оленями и часто, когда отдыхаетъ стадо, занимаются на спинахъ послѣднихъ санитарнымъ дѣломъ.

Пакинъ даже увѣряетъ, что они сторожатъ стадо, и если, случится, увидятъ волка, то тревожно поднимаются надъ стадомъ и кричатъ, и голосъ ихъ такъ же знаютъ пастухи, какъ и олени.

Такими же вѣрными вѣстниками несчастія они являются и въ то время, когда завидятъ отбившагося отъ стада нездороваго

Юрта вогуловъ.

оленя. Эти черные спутники человѣка сопровождаютъ его повсюду, и осенью, когда онъ уходитъ въ лѣса, они даже переселяются жить въ самыя юрты, и зычный голосъ ихъ часто единственный въ осеннее время нарушаетъ тишину ихъ сѣвернаго лѣса.

Сидя на выступѣ ближайшей скалы, я помню, Пакинъ мнѣ разсказалъ и про то время, когда съ нимъ чуть было не случилась бѣда, и онъ едва не потерялъ всего стада. Это было нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда онъ только что сталъ самостоятельнымъ хозяиномъ, послѣ смерти старика-отца.

Онъ жилъ здѣсь же. Было жаркое лѣто. Наступилъ іюль, когда вдругъ онъ сталъ замѣчать, что въ его стадѣ показались невеселые олени. Они вяло переходили съ мѣста на мѣсто, почти отказывались ѣсть мохъ и, когда стадо ложилось на отдыхъ, то уже не вставали, а оставались или уже мертвыми на мѣстѣ, или издыхали на глазахъ удивленнаго хозяина.

Такъ продолжалось нѣсколько дней, пока не случился туманъ, который скатертью сталъ спускаться съ вершины горы въ долину. Этотъ туманъ совсѣмъ не походилъ на обыкновенный, онъ былъ удушливый, «словно изъ земли»; олени силой шли противъ него, внюхивались, и тутъ же, словно одурманенные, ложились и погибали десятками. Но онъ постарался поскорѣе разбить стадо на части, разогнать его въ разныя стороны, перекочевалъ за хребетъ и только этимъ способомъ могъ спасти стадо, тогда какъ у другихъ пали всѣ до одного олени, и они пришли къ нему пѣшкомъ, голодные, чтобы онъ оказалъ помощь.

Это бываетъ не часто, но почти каждыя десять лѣтъ. Нѣкоторые вогулы послѣ этого превращаются въ рыболововъ, въ осѣдлыхъ жителей, нищенствуютъ, попадаютъ въ батраки; нѣкоторые снова обзаводятся оленями, прося одолжить для приплода; а такъ какъ между вогулами самопомощь развита и къ тому же еще есть своего рода банки у шайтановъ, гдѣ можно брать деньги въ долгъ даже безъ процентовъ, то оленеводство этимъ поддерживается, хотя и падаетъ замѣтно.

Въ такіе годы бѣдность приходитъ партіями на Уралъ, на мѣста пастбищъ, рѣжетъ павшихъ оленей, сдираетъ и сушитъ для себя шкурки и вялитъ мясо про запасъ, нисколько не опасаясь умереть отъ язвы, хотя и бываютъ случаи.

Бѣдные вогулы съ рѣки часто посѣщаютъ Пакина и другихъ оленеводовъ и кромѣ такихъ экстраординарныхъ случаевъ. Захочется поѣсть свѣжаго мяса, захочется другому посмотрѣть оленье стадо, вспомнить старое время, когда и онъ былъ свободнымъ оленеводомъ, и онъ идетъ въ горы, находитъ чумъ и живетъ въ немъ недѣлю. Ему рады, его угощаютъ, онъ пасетъ стадо, возится съ ребятишками и, когда утѣшитъ свою душу и свѣжимъ мясомъ и жизнью въ родной обстановкѣ номада, онъ снова уходитъ на рѣку, снова ползаетъ тамъ съ болота на болото, ловя жирныхъ карасей для своего вѣчно голоднаго, ненасытнаго брюха.

Нѣкоторые даже просто приходятъ попросить оленя, чтобы хотя въ его единственномъ числѣ считаться олеиеводомъ, смутно надѣясь, что благодаря приплоду у него будетъ на слѣдующій годъ уже два, черезъ пять лѣтъ десять оленей, и нѣкоторымъ такое начало оленеводства дѣйствительно удается, и на Уралѣ есть бѣдняки, которые, такимъ образомъ набравши оленей милостыней, теперь имѣютъ большое тысячное стадо. Отказать дать оленя бѣдному человѣку для такого дѣла было бы непростительнымъ поступкомъ, и вогулъ правъ въ этомъ случаѣ, потому что, случись у него падежъ скота, онъ тоже завтра же сдѣлается такимъ же бѣднякомъ, какъ и тотъ, который къ нему приходитъ за милостыней, и ему самому, чтобы подняться на ноги, придется, быть можетъ, у того, кому онъ недавно одолжилъ, просить оленя на разживу.

Этимъ тоже отчасти поддерживается оленеводство, какъ его ни сокрушаетъ мѣстный купецъ, какъ его ни уничтожаетъ волкъ, падежи и разныя стихіи.

Пакинъ живетъ даже весело на Уралѣ. Недалеко отъ него кочуютъ другіе товарищи-оленеводы и, когда бываетъ скучно, когда долго они не видятъ человѣка, они вдругъ начинаютъ дѣлать другъ другу визиты, гостятъ, каждый разъ колютъ по этому случаю жирнаго оленя и напиваются почти пьяными свѣжей кровью. Иногда они устраиваютъ даже съѣзды, и стоитъ только одному убить медвѣдя, какъ онъ оповѣщаетъ всю бродячую округу, къ нему съѣзжаются десятки гостей, и онъ устраиваетъ такой медвѣжій праздникъ, что въ горахъ стоитъ только шумъ. Тогда уже дѣло не ограничивается только однимъ оленемъ, тогда съѣдается въ честь убитаго божества десятокъ оленей, и въ чуму стоитъ такая кровожадность, что волки и тѣ уступятъ въ этомъ отношеніи.

Но какъ я ни просилъ разсказать мнѣ Пакина, въ чемъ состоитъ этотъ главный вогульскій праздникъ, для котораго собирается чуть не вся рѣка и всѣ оленеводы Урала, онъ хитро уклонился мнѣ повѣдать, и такъ какъ было уже поздно, была полночь, хотя на дворѣ стоялъ такой свѣтъ, что можно было читать книгу, то мы оставили холодные камни, на которыхъ такъ долго бесѣдовали, и пошли въ чумъ, который уже спалъ крѣпкимъ сномъ, оглашаясь здоровымъ храпомъ моихъ обожравшихся проводниковъ.

Ночью нѣсколько разъ я просыпался отъ криковъ пастуховъ. Олень очень пугливое животное, и стоитъ пробѣжать гдѣ-нибудь даже маленькому животному, звѣрьку, стоитъ только вскочить одному оленю, какъ вскакиваютъ другіе, стадо вдругъ просыпается, бросается въ сторону, сторожевые псы бросаются съ лаемъ туда же, и происходитъ такая суматоха, что кажется, что волки уже передавили все стадо. Пастухи, хозяева чума, даже маленькія дѣти и тѣ, поднявшись изъ мѣховыхъ мѣшковъ, въ которыхъ они спятъ, бѣгутъ тогда, въ чемъ попало, на дворъ и кричатъ благимъ голосомъ, подавая успокоительные сигналы стаду. Этотъ крикъ протяжный, горловой, онъ гулко разносится по горамъ и звучитъ такимъ хозяйскимъ тономъ, такъ успокаиваетъ стадо, что стоитъ только подать голосъ, какъ стадо сразу къ нему прислушивается, забываетъ даже опасность и, постоявъ еще минуту, когда этотъ звукъ стихаетъ въ горахъ и ущельяхъ, снова ложится, и всѣ снова погружаются въ тишину. Мнѣ нравился такой окликъ и, прислушиваясь къ нему ночью, я нисколько не жалѣлъ, что меня разбудили, и еще засыпалъ крѣпче прежняго.

Я пробудился утромъ уже поздно. Солнце снова уже стояло надъ горой, снова золотило все окружающее и, любуясь картиной горъ, свѣжестью воздуха, тѣнями ущелья, сизымъ туманомъ тайги, надъ которой стоялъ паръ, я даже забылъ было умыться у горнаго ручья, къ которому и пришелъ изъ чума за этимъ дѣломъ.

Мои проводники, хозяинъ, пастухъ—всѣ ушли уже давно къ стаду, ловить для нашего каравана свѣжихъ оленей, въ чуму остались только однѣ женщины, даже ребята и тѣ куда-то далеко убѣжали, играя въ олени и катаясь по травѣ, какъ по снѣгу.

Стыдливыя застѣнчивыя вогулки, все въ тѣхъ же нарядныхъ костюмахъ, напоили меня чаемъ. Я пробовалъ было поговорить съ ними, но онѣ стѣснялись, такъ что нечего было и думать ухаживать за горными красавицами, и я пошелъ, взявъ на случай штуцеръ, гулять къ вершинѣ Святой горы.

Идя по первой подвернувшейся тропѣ, я тутъ же около чумовища наткнулся на слѣды жертвоприношеній.

Въ березовомъ, тощемъ, уродливомъ лѣску я неожиданно нашелъ амбарчикъ. Онъ стоялъ на парѣ ножекъ, въ видѣ голбчика наверху. Что тамъ такое было закупорено, я, уважая права гостепріимства, разумѣется, не полюбопытствовалъ узнать, но

свѣжая шкура какого-то несчастнаго сивка, распяленная на жердяхъ около, ясно говорила, что тамъ сидитъ какой-нибудь шайтанчикъ въ видѣ куклы, опоясанный, по обычаю вогуловъ, десятками поясковъ, въ остроконечной шапкѣ и даже съ рукави-

Берестяной чумъ вогула на р. Сосьвѣ.

цами изъ соболей, какъ мнѣ пришлось видѣть однажды. Возлѣ на травѣ валялись котлы, слѣды недавняго пиршества.

Откуда попалъ сюда къ вогуламъ конь, когда они не имѣютъ лошадей въ юртахъ, для меня было непонятно, но можно было

догадаться, что они достали его съ сосѣдней рѣки Печоры, куда, я слыхалъ еще раньше, они каждое лѣто отправляютъ пословъ покупать старыхъ негодныхъ лошадей для жертвы своимъ богамъ.

Признаться, мнѣ было жаль бѣднаго сиваго мерина, что онъ угодилъ на такое скверное дѣло, какъ быть заколотымъ и при томъ жестоко, кольями въ бокъ, какому-то божеству—горѣ, которая когда-то давно была одушевленнымъ существомъ, но, наказанная за то, что хотѣла воевать съ другими божествами, превратилась въ неподвижный камень и такъ и застыла съ поднятою гордо вершиною, смотря куда-то на сѣверъ.

Одна, неимовѣрно изуродованная климатомъ, береза была тоже, видимо, предметомъ почитанія вогуловъ, и на ней было столько ленточекъ, красныхъ тряпицъ, поясковъ съ завязанными въ узелки серебряными монетами, что я тотчасъ же отправился въ чумъ, взялъ съ собой фотографическій аппаратъ и занесъ ее на желатинъ фотографической пластинки.

Дальнѣйшій мой путь, однако, не былъ такъ счастливъ, и, только поднявшись на самую вершину горы, я нашелъ кой-что еще, чѣмъ можно было объяснить обоготвореніе ея вогулами.

На самой ея вершинѣ было два причудливой формы известковыхъ столба. Это довольно обычная игра природы въ горахъ Урала, гдѣ на вершинахъ остаются неразрушенными известковые столбы вышиной даже до нѣсколькихъ саженъ. Эти столбы, вѣроятно, и были обоготворены вогулами. Если зайти съ одной стороны, то они дѣйствительно были похожи на пару людей, но и кромѣ того они поражали воображеніе, то рисуя ему ворота разрушеннаго замка, то остатокъ какого-то храма, какой-то башенки.

Я тщательно искалъ предметовъ жертвоприношенія, но тутъ даже и признаковъ не было такихъ визитовъ человѣка, и только одинъ горный видъ ястреба свилъ въ разсѣлинѣ свое грубое гнѣздо, откуда-то натаскавъ столько палокъ, вицъ, мха, перьевъ птицъ, костей утокъ, рыбъ, что можно было только удивиться его трудолюбію. Завидѣвъ меня, онъ съ кречетомъ поднялся къ облакамъ и долго кружился надо мной въ то время, когда я, залюбовавшись открывшимся видомъ, сидѣлъ на одномъ выступѣ камня.

Видъ былъ очаровательный. Горы, горы безъ конца, на югъ и сѣверъ. Однѣ возвышаются острыми пиками, другія прячутся за сосѣдокъ, третьи тонутъ вдали, и все это покрываетъ прозрачная синева и совсѣмъ южное, рѣдкое здѣсь небо.

Легкій вѣтерокъ съ запада едва колыхалъ альпійскіе цвѣты, было даже жарко и, смотря на окружающее, казалось, что это Альпы, а не сѣверъ Урала, гдѣ зимой трещать сорокаградусные морозы, и больше восьми мѣсяцевъ въ году все спитъ подъ снѣгомъ и вѣчными буранами.

Въ такихъ горахъ въ такіе дни бродить, жить вогулу — это настоящее счастье, и будетъ понятно, почему такъ любитъ оленеводство вогулъ, почему такъ стремится въ горы изъ глухихъ мертвыхъ своихъ лѣсовъ лѣтомъ.

Эта страсть у него природная, его трудно было бы сдѣлать осѣдлымъ человѣкомъ, онъ, какъ самъ олень, бѣжитъ туда силой, какъ только пахнетъ весной, какъ только на сумрачномъ небосклонѣ вдругъ проглянетъ голубое небо. И мнѣ кажется, что тѣ бѣдняки, которые принуждены жить рыболовствомъ, прятаться въ лѣсахъ, именно и составляютъ тотъ процентъ вымиранія, какой замѣченъ всѣми путешественниками.

У Пакина и у другихъ оленеводовъ я никогда не замѣчалъ такого удручающаго вида, такой неподвижности, приниженности, покорности, какъ у рѣчныхъ вогуловъ; у нихъ есть дѣти, они даже имѣютъ по двѣ жены, стало-быть, сильны, хотятъ жить, хотятъ наслаждаться жизнью, но не влачить ее такъ жалко, боясь боговъ, не смѣя громко сказать слово въ мертвомъ лѣсу, какъ живетъ рѣчной бѣдный вогулъ. И мнѣ кажется, помоги имъ правительство, поддержи падающее съ года на годъ оленеводство, эти дикари стали бы опять живымъ племенемъ, опять подняли бы свою забитую жизнь, которая когда-то, до нашего владычества, достигала даже того, что они имѣли торговыя сношенія съ болгарами, жителями Волги, даже добывали серебро, топили чугунъ на знаменитой горѣ Благодати... И сдѣлать для нихъ даже обществу было бы, право, не грѣхъ что-нибудь; мы совсѣмъ забываемъ эту нищую братію, хотя наша благотворительность и велика и обильна.

Въ полдень мои проводники уже составили караванъ, гостепріимный Пакинъ еще насъ угостилъ свѣжимъ мясомъ, разсказалъ дорогу и, напутствуя насъ всѣми пожеланіями и опять облобызавши меня въ обѣ щеки, проводилъ съ такимъ радушіемъ, какого нельзя забыть долго.

Онъ палилъ намъ вслѣдъ изъ ружья, махалъ руками, и мы долго еще могли видѣть горную семью пастуховъ, которая, про-

вожая неожиданныхъ гостей, поѣвшихъ у нихъ пару оленей, стояла у чума, глядя, какъ мы быстро, на новыхъ, свѣжихъ оленяхъ, поднимаемся въ гору, загибаемъ за выступъ скалы и скрываемся съ глазъ въ синевѣ горнаго воздуха.

IV.

Вогулъ Савва.

Съ вогуломъ Саввой мы встрѣтились какъ разъ въ первый день моего пріѣзда въ вершину рѣки Сыгвы. Я какъ сейчасъ помню ясный тихій день въ концѣ іюля, когда я подъѣхалъ на лодкѣ съ проводниками въ 1883 году къ вогульскому селу Щекурья, подъ самымъ Ураломъ. Я ожидалъ встрѣтить село, обычную улицу деревни, оживленіе, своего рода живой пунктъ Березовскаго края, но каково было мое удивленіе, когда наша лодка причалила къ пустынному лѣсному берегу, сквозь вершины лѣса котораго на насъ выглянула низенькая деревянная колокольня, ближе изъ-за кустовъ ивы смотрѣлся въ темную воду небольшой рѣчки домикъ священника, а когда я вышелъ на берегъ, поднялся по заросшей полынью и крапивой тропѣ, то увидалъ только одну пустошь съ низенькой новенькой церковью на срединѣ, два-три домика русской постройки, да однѣ крыши попрятавшихся въ лѣсу и высокой дикой травѣ юрточекъ, которыя словно разбѣжались отъ церкви и попрятались въ своемъ родномъ лѣсу. Даже дороги, похожаго чего-нибудь на улицу—и того не было въ томъ оригинальномъ селеніи, которое только обманываетъ названіемъ села, красуясь на картѣ.

Вдобавокъ ко всему этому окна домовъ были наглухо заколочены, двери забиты досками, площадь передъ храмомъ поросла крапивой и полынью въ человѣческій ростъ, и надъ всѣмъ этимъ стояла такая невозмутимая тишина, что, не встрѣть насъ звокимъ лаемъ изъ лѣса лайка вогула Саввы, можно было бы подумать, что это село все только что вымерло отъ цынги или сбѣжало отъ нашествія непріятелей.

Но единственный, хотя и неласковый голосокъ собачки насъ направилъ на тропинку; тропинка вела въ лѣсъ къ виднѣвшимся кой-гдѣ юрточкамъ, носила свѣжіе слѣды обутокъ вогула и скоро привела насъ къ маленькой юрточкѣ, почти вросшей въ землю.

Проводники сказали мнѣ, что здѣсь живетъ тотъ самый вогулъ Савва, который весь вѣкъ не выѣзжаетъ отсюда на рыбныя ловли и рѣшается, въ то время какъ всѣ обитатели

Юрты вогуловъ.

покидаютъ его для рыбныхъ промысловъ на Оби, оставаться караулить село, церковь даже одинъ, не опасаясь ни нашествія медвѣдей, которыхъ водится здѣсь пропасть, ни цынги,

отъ которой можно пропасть въ одно лѣто и такъ, что никто и не узнаетъ.

Мы уже у самой юрты; собака, поджавши хвостъ, дѣлаетъ отступленіе отъ дверей за уголъ. Мы уже думаемъ, живъ ли ея хозяинъ, какъ вдругъ передъ самымъ нашимъ носомъ открывается низенькая квадратная дверь, и оттуда высовывается лохматая голова не то женщины, не то мужчины. Она съ минуту смотритъ съ недоумѣніемъ на насъ подслѣповатыми глазами, прикрикиваетъ на оглушительно лаявшую, словно на медвѣдей, собаку и начинаетъ молча кивать намъ, отвѣчая на наше «здорово!» обычнымъ вогульскимъ: «пайся, рума ойка, пайся» (здравствуй, другъ, здравствуй).

Это и былъ самъ знаменитый Савва.

Мы полѣзли, по его приглашенію, въ юрту. Тамъ былъ полумракъ: крохотное окошечко съ позеленѣвшимъ стекломъ, заклееннымъ синей бумагой, чуть-чуть давало свѣту сквозь крапиву, росшую, казалось, на самомъ окнѣ, но все же можно было разсмотрѣть и чистый глиняный полъ, и чистыя нары съ тростниковыми циновками, и стѣны, обитыя ими же, и разную незамысловатую домашнюю утварь, которая висѣла по стѣнамъ, стояла на полу, ютилась въ замѣчательномъ порядкѣ по темнымъ угламъ всей хижины.

Но больше всего меня занималъ самъ Савва. Это былъ маленькій, худощавый, черноволосый, безъ усовъ мужичекъ, съ короткими косами, заплетенными въ порыжѣвшій шнуръ, съ торопливыми движеніями, бойкими добрыми глазами, тоненькимъ голоскомъ, словно спасающійся въ этихъ трущобахъ старецъ-отшельникъ. Онъ торопливо хлопоталъ развести поскорѣе огонь въ чувалѣ, охалъ, что его старуха куда-то провалилась къ шайтанамъ, не то ушла собирать въ лѣсъ грибы, не то утащилась на могилу къ дочери; мы слушали его ворчливую рѣчь, наблюдали, какъ онъ умѣло раскладываетъ дрова, какъ вынимаетъ кремень, чиркаетъ по немъ стальной ручкой, какъ вздуваетъ, наконецъ, огонь на береcто, то загорается яркимъ пламенемъ, онъ суетъ его въ дрова, и тѣ разомъ вспыхиваютъ, пуская густой черный дымъ въ широкую трубу, запахъ котораго такъ щекочетъ наше обоняніе.

Юрта сразу освѣщается яркимъ огнемъ, становится веселѣе; фигура Саввы обрисовывается яснѣе, и онъ кажется старикомъ,

хотя у него въ волосахъ лохматой головы нѣтъ признака сѣдыхъ волосъ.

Скоро притащилась откуда-то и его старуха, вѣроятно, услышавъ въ лѣсу голосъ собаки. Она тоже была похожа на Савву, такая же маленькая, живая, бойко намъ навѣсила чайникъ, сунула сушеныхъ карасей на закуску, и мы стали настоящими гостями.

Оказалось, что Савва состоитъ сторожемъ села и храма, получаетъ за это два съ полтиной въ лѣто, ловитъ здѣсь рыбу, ставитъ слопцы на тетеревовъ и даже въ усъ себѣ не дуетъ, живя цѣлыхъ 4 мѣсяца лѣта одинъ-одинешенекъ.

Послѣ чаю онъ повелъ меня показывать первую достопримѣчательность села — церковь. Отворивъ громадными ключами паперть, онъ ввелъ меня въ чистенькій храмъ, бросился отворять окна, поставилъ свѣчи, которыя я купилъ у него въ старостинской конторкѣ, и въ то время, когда я на клиросѣ разсматривалъ «Мѣсяцесловъ», онъ вздулъ кадило и не знаю: изъ желанія ли показать, что онъ знаетъ свое трапезниковское дѣло, или просто такъ ему показалось нужнымъ, сталъ кадить, какъ дьяконъ, иконы, сходилъ въ алтарь, покадилъ тамъ, вышелъ оттуда, покадилъ на меня и, считая, что дѣло кончено, быстро скрылся на колокольню, и слышу — началъ звонить уже на выходъ...

Я поторопился къ нему туда, кричу, что не надо, но остановить его было уже трудно: онъ вошелъ въ свою роль звонаря и, кажется, ею даже наслаждался. Колокола гудѣли, и на звонъ вдругъ вынеслась изъ лѣса на площадь здоровая, раздобрѣвшая, отгулявшаяся чалая кобыла... Она, гордо поднявъ голову, выбѣжала стремглавъ изъ лѣсу, сдѣлала кругъ около церкви, подняла трубой хвостъ и такъ фыркнула, что даже Савва и тотъ расхохотался. Оказалось, что это кобылица отца Игнатія, которая тоже оставлена на руки Саввѣ, какъ и все его имущество и церковь и даже самое село, тогда какъ самъ старичекъ-священникъ тоже уѣхалъ промышлять верстъ за пятьсотъ на р. Обь рыбу, такъ какъ жить иначе тутъ нечѣмъ, а лошадь оставилъ отгуливаться.

Савва гордился этой лошадью; особенно его радовало то, что она такъ разъѣлась, говорилъ, что она каждую ночь приходитъ спать въ одну старую юрту, каждый вечеръ чешется около его хижины и довольно частенько вылетаетъ съ поднятой головой и

раздутымъ хвостомъ изъ лѣса, если ее тамъ пугнутъ медвѣди... Теперь она, по его словамъ, вынеслась оттуда, услыхавши звонъ и думая, что пріѣхалъ ея хозяинъ.

Я засмотрѣлся на лошадь, потомъ на потонувшее въ лѣсу село, на красивый изгибъ рѣки, на цѣлую долину зеленыхъ вершинъ ели и на выглядывающій изъ-за него сквозь легкую голубую дымку тумана далекій Уралъ, покрытый мѣстами еще снѣгомъ. Красивая цѣпь горъ тянулась съ юга на сѣверъ, разбрасывалась отрогами и терялась въ сплошномъ лѣсу тайги. Это была оригинальная картина, и этотъ просторъ, который открывался на югъ и сѣверъ, та широкая панорама лѣса съ чуть видными потонувшими горками, возвышенностями, такъ и звала къ себѣ изъ этого угрюмаго, молчаливаго сѣвернаго лѣса, гдѣ словно что-то давитъ человѣка, стѣсняетъ его умъ, связываетъ его движенія и гнететъ волю...

Когда мы спустились съ колокольни и вышли на крыльцо храма, лошадь пытливо подошла къ намъ, обнюхала руку Саввы, мою и, видя, что это не хозяева, отправилась снова въ лѣсъ на свѣжую зелень.

Вогулъ Савва показалъ мнѣ и домъ батюшки.

Это былъ небольшой, еще новенькій, бревенчатый чистенькій домикъ въ три комнаты, построенный церковью для священника, съ оградкой, пристройками и такой уютной банькой, въ которой такъ бы и попарился; но Савва не только не зналъ, какъ топятъ бани, но даже сроду не мылся иначе, какъ лѣтомъ въ рѣкѣ, а зимой — у чувала, гдѣ, впрочемъ, больше ему служила щепа, которой шоркала ему жена спину, чѣмъ вода и мыло.

Заглянувъ въ окно домика, можно было сразу увидѣть, что и здѣсь живетъ та же скромная нужда съ опрятностью нашего духовенства, какъ и повсюду въ бѣдныхъ приходахъ. Но здѣсь она больше бросалась какъ-то въ глаза, и, смотря на скромную обстановку, сѣренькіе обои, нѣсколько дешевыхъ олеографій, обтертыхъ деревянныхъ стульчиковъ, чистенькіе самотканные половички, вчужѣ становилось жалко и того, кто попалъ, быть можетъ, за какія прегрѣшенія въ такія трущобы, и за тѣхъ, кто долженъ съ нимъ коротать въ этихъ лѣсахъ невеселую жизнь... А что эта жизнь невесела — говорила ясно большая синяя бутыль съ остатками ягодъ, которая теперь сиротливо стояла пустой въ самомъ углу подъ кроватью.

Савва хвалилъ о. Игнатія. Саввѣ нравилось даже и то, что онъ попиваетъ тихонько водку, потому что и ему попадала порой чарочка подъ веселую руку; но больше его восхищало то, что о. Игнатію совсѣмъ нѣтъ дѣла до ихъ шайтановъ. «Вздумалъ было

Лѣсная хижина вогуловъ.

онъ», говоритъ Савва, «по первоначалу ловить насъ, какъ мы начнемъ бить въ барабаны, да видитъ, что надѣлять стали плохо, и отступился».

«— Богъ съ вами, говоритъ,—барабаньте, мнѣ изъ-за вашихъ барабановъ не умирать здѣсь съ голоду, если послали сюда.

какъ въ ссылку; только смотрите—не бить, когда я сплю, а то только душу грѣшную смущаете, какъ начнетъ гудѣть барабанъ по лѣсу». А матушка та даже сама приходила разъ слушать, какъ били въ барабаны. Мы бьемъ, а она крестится да плюется, такъ и ушла отъ насъ съ сыномъ, заключилъ Савва насчетъ того, какъ батюшка покорился ихъ барабанамъ и шаманству.

Какъ уживалось шаманство рядомъ съ православіемъ въ душѣ Саввы, понять мнѣ было трудно. Онъ, видимо, съ восторгомъ исполнялъ свои обязанности трапезника, раздувалъ кадило, звонилъ на колокольнѣ, ставилъ свѣчи, обиходилъ церковь, служилъ, какъ служатъ всѣ наши трапезники, и вмѣстѣ съ тѣмъ самъ жарилъ въ барабанъ, который можно всегда было видѣть у него на полкѣ въ юртѣ.

На эти его обязанности смотрѣли равнодушно и родичи, вѣроятно, по той простой причинѣ, что думали, что какъ нужны церковь и шаманы, такъ нужны и трапезники, и десятники, и засѣдатели, и батюшки на свѣтѣ, и самый Савва...

Послѣ домика батюшки Савва показалъ мнѣ и все село. Оно было очень невелико, всего саженъ полтораста въ длину. Но тутъ ничего не было похожаго на наши деревни и села. Тутъ два домика рядомъ словно вздумали основать улицу, да такъ и остановились; тамъ высунулась изъ-за крапивы крыша юрты, тутъ на самой тропѣ стоитъ на ножкахъ амбаръ, тамъ потонула въ зелени старая, зеленая отъ мха крыша другой юрты; дальше подъ старой сосной стоитъ еще такая же древность, и все это такъ попряталось въ лѣсу, такъ затерялось въ кустахъ черемухи, ивы, что надо непремѣнно разыскивать каждый домикъ обитателя села, да и то еще заблудишься въ лѣсу, ходя по маленькимъ тропинкамъ, которыя неизвѣстно куда разбѣжались всѣ по лѣсу...

Около одной юрточки мы неожиданно вспугнули стадо рябчиковъ. Они съ трескомъ, грохотомъ вылетѣли изъ кустовъ черемухи и съ шумомъ разлетѣлись въ разныя стороны; одинъ сѣлъ на крышу, другой усѣлся надъ головой на вѣткѣ сосны, вытянулъ удивленно голову, свѣсилъ ее и смотритъ на насъ, чирикая, такими добрыми глазками, что его жалко было тронуть. Мать дала сигналъ неопытнымъ дѣткамъ, они перестали чирикать и, не смѣя двинуться, прижались на мѣстахъ, слѣдя за нами любопытными глазками.

Ни вогулъ, ни его лайка даже не обратили на нихъ вниманія; они ихъ не трогаютъ, потому что дичи и безъ нихъ есть много въ лѣсу, да и не стоятъ они заряда.

Осмотрѣвъ всѣ примѣчательности села, мы возвратились на крикъ старухи Саввы въ его юрту. Оказалось, что поспѣла уха изъ карасей, и мы сѣли обѣдать.

Такъ началось мое знакомство съ этимъ вогуломъ.

Мы долгое время были съ нимъ сосѣдями. Я поселился отъ него всего въ пяти верстахъ, на устьѣ его рѣки. Потомъ онъ часто посѣщалъ мою станцію и такъ, проѣздомъ на рыбныя ловушки, и по дѣламъ—съ почтой, когда она приходила мнѣ изъ Березова, пересылаясь отъ одного десятника съ другимъ вплоть до самой моей станціи—квартиры.

Савва исполнялъ заодно и должность десятника, и должность почтальона. Послѣдняя свалилась на него неожиданно, благодаря только моему пріѣзду, такъ какъ въ лѣтнее время не къ кому, да и нечего пересылать въ эти края, когда всѣ убираются на рыбныя ловли за сотни верстъ въ сторону.

Но это дѣло его не затрудняло. Онъ даже, я замѣтилъ, съ особеннымъ стараніемъ исполнялъ эту службу и являлся ко мнѣ съ такимъ сосредоточеннымъ видомъ, что можно подумать, что онъ дѣйствительно исполнялъ государственную службу.

Небольшая связка газетъ, писемъ, посылокъ изъ города обыкновенно была завернута въ бумагу и сверху въ береcто, въ которое уже сами вогулы обвертывали ее, чтобы какъ-нибудь не подмочить «дѣла», какъ они называли всякую почтовую посылку. Этотъ свертокъ они возили за пазухой. Затолкнетъ за пазуху свертокъ, возьметъ весло, скличетъ собаку, сядетъ въ долбленый челнокъ, оттолкнется отъ берега и ѣдетъ по рѣкѣ верстъ двадцать до слѣдующихъ юртъ, до слѣдующаго десятника, коротающаго лѣто въ паулѣ. Доставлять они не торопились: когда надумаютъ, тогда и отвезутъ; но когда, случалось, они замѣчали на бумажномъ сверткѣ печать и у ней два перышка, знакъ экстренности дѣла, то везли такъ скоро, что я получалъ почту черезъ недѣлю послѣ ея выхода изъ Березова. Разстояніе же было отъ меня до Березова, столицы вогульскаго края, не меньше 450 верстъ.

И Савва, и я, кажется, одинаково были рады почтѣ.

Я торопился распечатать и прочитать письма съ родины, развернуть газеты, которыя приходили мѣсяцами двумя позднѣе ихъ выхода въ свѣтъ, а Савва наблюдалъ за моимъ лицомъ, чтобы узнать впечатлѣніе моихъ новостей, того, что мнѣ писали.

Что творилось тогда въ его головѣ, трудно сказать, но по выраженію его было видно, что всякое письмо, съ котораго я

нетерпѣливо срывалъ конвертъ, онъ принималъ непремѣнно за дѣловое и не иначе, какъ отъ засѣдателей... Денежныя же письма, письма отъ ученыхъ обществъ съ громадными печатями и гербомъ онъ долго считалъ за письма отъ самого государя... Но послѣ бѣглаго просмотра писемъ я тотчасъ же всецѣло занимался Саввой—виновникомъ полученія почты, которую, бывало, ждешь съ нетерпѣніемъ. Становился самоваръ, Савва усаживался гостемъ среди полу, передъ нимъ ставилась бутылка вина, крендели, онъ самъ наливалъ чай, распивалъ водку и наслаждался чаепитіемъ, до такой степени глубоко чувствуя, что онъ это заслужилъ, что я могъ долго читать газеты, перечитывать письма, уноситься изъ этого края въ другія мѣста, даже не обращая вниманія на моего гостя, который безшумно допивалъ самоваръ и бутылку...

Тогда мы разставались съ Саввой неохотно; онъ готовъ былъ мнѣ раскрыть всю душу, показать всѣхъ шайтановъ, разсказать всѣ тайны страны. Тогда мы до полночи засиживались съ нимъ, отбросивъ даже газеты и письма, и онъ съ таинственностью сообщалъ мнѣ легенды страны, боговъ, разсказавъ мнѣ про свою несложную, простую, тихую жизнь, лучшія минуты жизни и, отправляясь отъ меня, грузно садился въ лодку, улыбаясь и тысячу разъ повторяя: «осъ ёмасъ улумъ»,—что-то въ родѣ пожеланій при прощаньи, и отправлялся на челнокѣ внизъ по рѣкѣ, мурлыкая пѣсню, въ которой я зналъ, что его доброе, простое сердце отъ души воспѣваетъ меня...

Кромѣ почты, Савва заѣзжалъ ко мнѣ часто и въ другое время. Онъ жилъ рыболовствомъ, почти не употребляя ружья, такъ какъ не любилъ стрѣлять ни птицу, ни звѣря, предпочитая своей дѣтской душой ловить только рыбу. Во время лѣта онъ былъ единственнымъ хозяиномъ своего уголка. Вздумаетъ посѣтить мою рѣку, гдѣ стояла моя станція,—ѣдетъ на нее; вздумаетъ закинуть тонкую сѣть въ лѣсное озеро,—ѣдетъ туда, и такъ какъ лучшія его угодья были за мной, то онъ часто заѣзжалъ ко мнѣ на перепутьи.

Онъ же былъ и моимъ поставщикомъ рыбы, но я никакъ не могъ его пріучить брать за рыбу деньги. Считалъ ли онъ это, подобно многимъ нашимъ рыбакамъ, грѣшнымъ поступкомъ, или просто дѣйствовалъ по обычаю страны, гдѣ вы сами можете взять у вогула рыбы на варю прямо изъ сѣти,—я не могъ допытаться.

Это меня очень на первое время смущало, но скоро я привыкъ къ этому, вознаграждая Савву то стаканчикомъ водки, то краснымъ платкомъ для его старухи, то тѣмъ, что, вижу, ему нужно, что ему понравилось. Но онъ заѣзжалъ и заходилъ ко мнѣ въ домикъ только днемъ, ночью же, часто проѣзжая мимо

Вогулка въ запряжкѣ съ собаками.

на лодкѣ, обыкновенно оставлялъ рыбу прямо на окнѣ снаружи. Такимъ сюрпризамъ я даже былъ радъ. Пробудишься, бывало, утромъ, подойдешь тихонько къ окну, гдѣ подъ самымъ берегомъ на рѣкѣ въ это время плещется какая-нибудь неосторожная утка, смотришь, а жаркое уже лежитъ на окнѣ. Тутъ и золо-

тистые толстые караси, тутъ и зеленая щука, тутъ порой и давленная въ сѣти утка, которую Савва почему-то, не употребляя въ пищу самъ, думалъ, что русскому ее ѣсть можно...

Порой мы ѣздили на рыбную ловлю съ нимъ даже вмѣстѣ. Тогда онъ старательно меня усаживалъ на свѣжую траву въ носу лодки рядомъ съ Лыскомъ, отчаливалъ отъ моего берега, и мы ѣхали съ нимъ по рѣкѣ, перетаскивали челнокъ по проточкамъ, волокомъ изъ озера въ озеро, терялись въ ихъ осочныхъ берегахъ, переѣзжали изъ одного въ другое и тихо будили и спящій лѣсъ лѣсного дикаго озера, и гладкую поверхность задумчивыхъ водъ, гдѣ даже не всколыхнется рыбка.

Тамъ у него въ разныхъ мѣстахъ были слѣды своихъ костровъ, гдѣ онъ варилъ пищу; тамъ у него были и склады сѣтокъ; тамъ у него были и тычки, наставленныя по водѣ, чтобы развѣшивать легкую сѣть, когда расходится жирный золотистый карась въ свою пору. На этихъ лѣсныхъ озерахъ было жутко: это какія-то темныя загадочныя зеркала воды, куда смотрится и ясное небо, и темный безжизненный лѣсъ своими уродливыми темными вѣтвями ели. Но всего больше было прислушиваться къ этой мертвой тишинѣ, и пронзительный голосъ вдругъ застонавшей гагары, бывало, такъ и подниметь на головѣ волосы... Этихъ гагаръ тамъ водится пропасть, и недаромъ ихъ боится вогулъ, думая, что въ образѣ ихъ скрывается душа шайтана. Я помню, какую испуганную физіономію дѣлалъ Савва, когда въ его сѣть попадала эта уродливая птица; онъ готовъ былъ скорѣе попуститься сѣти, обрѣзать ее, чѣмъ прикоснуться къ этой птицѣ, которая однимъ крикомъ наводила среди этой мертвой тишины на душу трепетъ... Но всего страшнѣй она была ночью. То она, вдругъ вспугнутая неслышнымъ всплескомъ подъѣхавшей лодки, бросится съ кочки въ воду, словно туда соскочилъ въ самомъ дѣлѣ самъ водяной, то она завоетъ въ темномъ лѣсномъ углу, то она забьетъ крыльями и пролетитъ надъ самой поверхностью близъ лодки, не имѣя силъ подняться на воздухъ. И стоитъ занять одной, какъ закричатъ другія, и въ какую-нибудь минуту, слышно, всѣтъ весь лѣсъ, всѣтъ дикимъ голосомъ озеро и, откликаясь повсюду, такъ и бьетъ по нервамъ...

Не меньше гагаръ доставляли ночами удовольствія и филины. То слышно, какъ лаетъ собака, то, словно, какъ плачетъ дитя, то вдругъ раздастся такой дикій хохотъ, что не знаешь, что и подумать...

Въ такія минуты вогулъ Савва только тяжело вздыхалъ. Онъ не смѣлъ даже говорить громко. Его голосъ пропадалъ ночью, онъ весь скорчивался подъ какимъ-то вліяніемъ ночи и окружающаго, не смѣлъ пристать къ берегу, выйти въ лѣсъ и оживлялся только съ разсвѣтомъ, съ восходомъ солнца, когда снова запѣвалъ свои пѣсни, восхваляя чарующую картину дня, лѣсного озера, свою сѣть, лодку, въ чемъ онъ видѣлъ своими духовными глазами и прелесть жизни и чудеса созданія своей дикой родины.

И, наблюдая его, мнѣ казалось, что вся его тихая жизнь была соткана именно изъ этихъ ощущеній, изъ этихъ картинъ то дикой, то пугающей природы, и онъ жилъ, не выходя изъ нея, жилъ, не желая нарушать покой своей души, прячась въ лѣсу, даже не выѣзжая на просторъ могучей Оби, какъ дѣлаютъ это почти всѣ другіе обитатели его края, словно желая вздохнуть просторомъ, дать свободу задавленному лѣсомъ уму и волѣ.

Меня очень занимало, во что вѣритъ этотъ тихій, всегда скромный вогулъ, чѣмъ представляетъ этотъ видимый міръ, что думаетъ объ остальномъ свѣтѣ.

Но узнать, выпытать у него все это было трудно. Онъ плохо говорилъ по-русски, я почти ничего не зналъ на его родномъ нарѣчіи, да и словъ такихъ у насъ не находилось, чтобы выразить ясно мысль, что хотѣлось узнать. То не понималъ меня Савва, то Савву я. Но, однако, я догадывался, что Савва представляетъ міръ духовъ. Одни изъ нихъ, по его понятію, живутъ на небѣ, другіе на землѣ въ видѣ гагаръ, собакъ, нѣкоторыхъ утокъ, звѣрей, особенно въ видѣ медвѣдя, бобра, другіе просто обитаютъ безъ образовъ; одни вредятъ, подстерегаютъ человѣка, дѣлаютъ ему всюду вредъ, разныя «пакости»; иные защищаютъ отъ нихъ человѣка. И тѣмъ и другимъ непремѣнно нужны жертвы. Эти жертвы онъ даетъ имъ то въ видѣ серебрянаго гривенника, полученнаго отъ меня, то въ видѣ нѣсколькихъ капель водки, брызнутой на воду или воздухъ, то въ видѣ какой-нибудь просто бездѣлушки, блестящей вещи, такъ какъ они рады и этому и многія вещи, ничего не стоящія, принимаютъ даже за цѣнность. Нѣкоторыхъ духовъ онъ даже удовлетворяетъ тряпками своей старой одежды, обрывкомъ сѣти, старымъ негоднымъ заржавленнымъ ножомъ...

Но удовлетворять ихъ нужно, потому что они постоянно слѣдятъ за нимъ, и такъ какъ онъ теперь одинъ, то только имъ, ка-

жется, и заняты: то они у него перевернутъ оставленную на берегу лодку, то застучатся ночью въ стѣны юрты, то ударятъ по дереву, когда онъ неслышно бредетъ по лѣсу въ своихъ оленьихъ обуткахъ.

Онъ страшно боится ихъ, особенно медвѣдя, который и посланъ на землю создателемъ міра Тормомъ, вѣчно гдѣ-то живущимъ на облакахъ, для того, чтобы наказывать людей, провинившихся противъ чести. И нужно замѣтить, что этотъ звѣрь часто-таки расправляется, по понятіямъ Саввы, съ ихнимъ братомъ и еще недавно задралъ чутъ не на смертъ знакомаго ему вогула въ лѣсу за то, что тотъ передъ этимъ пожелалъ воспользоваться чужой шкуркою.

Эта увѣренность спасаетъ и Савву отъ соблазна чужой собственностью: онъ совсѣмъ, повидимому, безкорыстенъ, ему не нужно многое, онъ никого и его никто не обижаетъ, да и взять у него нечего. Все его имущество—это юрта, старуха, которую онъ купилъ за пару оленей, лодка и сѣть, да еще Лыско, но такъ какъ въ немъ душа шайтана, то онъ не можетъ на нее имѣть права, а только пользуется ея услугами.

Объ остальномъ свѣтѣ Саввѣ нѣтъ дѣла. Русскихъ онъ не особенно любитъ, потому что знаетъ ихъ только со стороны засѣдателя и купца, но онъ считаетъ ихъ богатыми и потому въ правѣ требовать, чтобы они его кормили мукой изъ казеннаго магазина, лечили его при помощи фельдшера и помогали въ голодный годъ выдачею безплатно хлѣба.

На его родномъ нарѣчіи есть еще слово «Хонъ», которымъ онъ означаетъ государя; но эта личность такъ же недостижима, какъ и Тормъ, и онъ только радъ видѣть его печать съ орлами, которая украшаетъ исходящія отъ него бумаги. Онъ даже меня не разспрашивалъ объ «Хонѣ», увѣренный, что и мнѣ онъ недостижимъ, какъ и ему, и хотя я и получаю отъ него бумаги, но это одинъ отплескъ той волны его дѣятельности, которая творится гдѣ-то далеко въ его городѣ. Только однажды что-то ему вздумалось спросить меня: «есть ли у Хона олени?» Но на что это ему было знать, я никакъ не могъ допытаться.

Жилъ онъ очень мирно и съ своей старухой, и даже съ Лыскомъ, не смѣя тронуть ни то, ни другое существо. Ходилъ въ старой малицѣ, безъ шапки, съ косами, въ оленьихъ чулкахъ, двигался торопливо, неслышно, словно крадучись, ѣздилъ на лодкѣ тоже неслышно, словно боясь нарушить тишину рѣки, своимъ листообразнымъ весломъ тихонько обмакивая въ воду.

И почти всегда на его лицѣ можно было видѣть добрую улыбку, ласку; почти всегда его движенія были почтительны, робки; и, смотря на него, такъ и хотѣлось его сравнить съ пустынникомъ, отшельникомъ, которому все мило, котораго никто не обидитъ,

Вогульскій пауль съ пристанью.

который помирился со всѣмъ существующимъ и не ищетъ себѣ ничего, кромѣ скромнаго куска пищи.

Часто бывая у меня, онъ непремѣнно желалъ, чтобы и я пріѣхалъ къ нему въ гости. Это должно было сбыться не скоро, но когда я пріѣхалъ къ нему, онъ со старухой такъ заторопился, такъ забѣгалъ, чтобы принять меня, какъ слѣдуетъ, отплатить за мое гостепріимство, что съ нимъ даже не нашлось минуты

поговорить. Они очень были сконфужены тѣмъ, что я пріѣхалъ къ нимъ неожиданно и въ такое время весны—это было на другой годъ,—когда у нихъ ѣсть было нечего.

Но старики, къ моему удивленію, мнѣ притащили сушенаго мяса. Оно немного воняло, было черно, съ оленьими волосьями, и я, чтобы доставить имъ только удовольствіе, помню, съѣлъ одинъ кусочекъ. Такое угощеніе мясомъ меня заинтересовало, и я спросилъ, откуда онъ взялъ его.

Савва съ гордостью отвѣтилъ, что это мясо тѣхъ самыхъ возовыхъ оленей, которые пропали въ одну мою поѣздку въ горы и были тамъ нами брошены зимой въ снѣгъ.

Онъ сходилъ туда по веснѣ на лыжахъ и прежде, чѣмъ медвѣди пронюхали о добычѣ, выкопалъ ихъ, просушилъ мясо на жердяхъ и перетаскалъ ихъ къ себѣ въ амбаръ, гдѣ они и догниваютъ... Бѣдный вогулъ даже не подозрѣвалъ, что я имѣю другой вкусъ и взглядъ на его лакомство... Онъ очень жалѣлъ, что я отказываюсь, мало поѣлъ. «Ѣшь, ѣшь», говорилъ онъ мнѣ: «у насъ много его, до свѣжей рыбы хватитъ, не бойся», и даже предлагалъ мнѣ дать его въ гостинцы...

— У меня каждый годъ мясо сушеное есть, добавилъ онъ, уже хвастаясь такой запасливостью:— какъ только олени будутъ дохнуть на Уралѣ у оленеводовъ, такъ я и иду съ бабой сушить мясо въ Камень...

— Да вѣдь, говорю я ему:— ты когда-нибудь пропадешь такъ, вѣдь это вредно.

— Ну, вотъ, пропаду, другіе вогулы тоже не пропадаютъ, а медвѣди, тѣ сколько ѣдятъ, тоже живыми ходятъ, зачѣмъ умирать, никогда не бывало. Мы каждое лѣто сушимъ, какъ олени валятся, заключилъ онъ, и мнѣ ничего не оставалось, какъ съ нимъ согласиться.

Когда наступила поздняя осень, когда возвратился народъ съ Оби, рыбныхъ промысловъ, Савва какъ словно стушевался въ средѣ своихъ родичей.

Его юрта затерлась другими, его тропа, по которой онъ ползалъ съ рѣки въ хижину, изъ хижины къ рѣкѣ цѣлое лѣто, затопталась другими, его Лыско потерялся въ голосахъ другихъ собакъ, и когда я пріѣзжалъ въ праздники къ обѣднѣ, я не узнавалъ больше села Саввы и помню его уже совершенно другимъ.

Мнѣ даже рѣдко приходилось видать Савву; правда, я его видѣлъ въ церкви ставящимъ свѣчи передъ иконами, на коло-

кольнѣ задувающимъ во всѣ колокола при выходѣ, съ кадиломъ въ алтарѣ, но все это было не то, что въ первое время, когда онъ чувствовалъ себя единоличнымъ обладателемъ Щекурьинскаго села и шелъ мнѣ показывать и храмъ и всѣ достопримѣчательности своего селенія, отданнаго въ его полное владѣніе, оставленное на его руки общественнымъ довѣріемъ богатство.

Только еще изрѣдка, порой мы встрѣчались съ нимъ одинъ на одинъ на дорогѣ, когда я, прогуливаясь, задумчиво шелъ по лѣсной дорожкѣ, а онъ попадался мнѣ на санкахъ съ зимними мордами съ озера, гдѣ въ запряжкѣ служилъ ему все тотъ же Лыско. И Лыско и Савва мнѣ казались тогда совсѣмъ другими: Савва былъ въ тепломъ совикѣ, въ рукавицахъ, шапкѣ, скорчившись отъ стужи, Лыско тоже куда-то торопился, запряженный въ хомутъ и лямку, при помощи которой онъ и тащилъ хозяина и морду, словно недоумѣвая, стыдясь меня за такую жалкую роль зимою...

Даже почту и ту теперь возилъ другой десятникъ.

Но я не забылъ Саввы. Доказательствомъ этому служитъ то, что когда извѣстный своими путешествіями по нашему сѣверу французскій путешественникъ Шарль Рабо написалъ мнѣ, что онъ ѣдетъ въ эти края вогуловъ и просилъ меня указать и людей, и дорогу, я настойчиво рекомендовалъ ему «Савву въ Щекурьѣ», и онъ дѣйствительно чуть ли не одного его и нашелъ въ этомъ селѣ, когда перешелъ пѣшкомъ Уралъ съ Печоры, и мнѣ было пріятно впослѣдствіи видѣть своего пріятеля въ его трудѣ объ этомъ путешествіи, котораго и онъ запечатлѣлъ на желатинѣ.

Не правъ ли я, читатель, послѣ этого, что, отдаваясь воспоминаніямъ своего перваго путешествія, я занялъ вниманіе ваше этой скромной личностью вогула. Но я имѣлъ въ виду не одного его. Мнѣ кажется, что такова вообще жизнь нашихъ инородцевъ въ Сибири, бѣдная, замкнутая, одинокая, дикая, но скромная и честная, которую даже какъ-то не хочется пробуждать, не хочется трогать прежде, чѣмъ сами мы, въ видѣ его ближайшихъ сосѣдей, учителей, начальниковъ, не измѣнимъ на него взглядъ и не станемъ на него смотрѣть не какъ на дикаря, а какъ на человѣка.

V.

У Шайтана.

Я пріѣхалъ въ юрту вогула Сопра подъ самый вечеръ, когда его маленькая старая юрточка на берегу озера Елбынъ-туръ совсѣмъ уже пряталась въ сумеркахъ зимняго дня, сливаясь съ сосновымъ вѣковымъ боромъ. И если бы не лай собакъ, которыя еще издали заслышали легкій шорохъ оленьихъ санокъ, если бы не искры изъ ея маленькой трубы и не ледяное окно, сквозь которое просвѣчивалъ такъ привѣтливо огонекъ, я ни за что бы не отличилъ ее отъ опушки сосноваго темнаго лѣса, который томной ровной полосой протянулся вдоль низкаго, скучнаго, однообразнаго берега озера, за которымъ синѣлись высокія горы.

Въ этой одинокой юртѣ, на берегу этого горнаго, громаднаго, пустыннаго озера жилъ мой старый знакомый вогулъ Сопра съ своей старухой. Онъ давно звалъ меня къ себѣ въ гости, и, надняхъ услышавъ отъ пріѣзжаго вогула, что Сопра удачно промышляетъ лосей, я наконецъ собрался къ нему съ своей зимовки и поѣхалъ ѣсть у него лосиныя губы.

Лосиныя губы считаются у вогуловъ за первое лакомство въ свѣтѣ, и когда случается у вогула свадьба, онъ ничего не жалѣетъ, чтобы достать губу лося и угостить ею молодыхъ въ день свадьбы. Нѣтъ свадьбы, вогулъ тогда приглашаетъ сосѣдей, и мой пріѣздъ въ такую пору къ вогулу Сопра, я былъ увѣренъ, не только будетъ пріятенъ для меня и моего проводника-вогула, но и для него, какъ случай угостить и похвастаться своимъ промысломъ.

Дѣйствительно, не успѣли мы остановить и успокоить испуганныхъ собаками нашихъ оленей и сойти съ нарты, какъ уже возлѣ нея стоялъ безъ шапки хлопотливый старикъ съ развѣвающимися волосами, съ такимъ радостнымъ лицомъ, какъ будто къ нему пріѣхали самые дорогіе родные.

— Пайся, рума, Сопра!—кричу я ему еще издали привѣтствіе.

— Пайся, пайся, рума, бояръ, пайся, здравствуй, другъ! — кричитъ мнѣ въ отвѣтъ старикъ и трясетъ мнѣ руку.

— Пайся, бабушка, пайся, -
не утерпѣла и выглянула на минутку ..
— Пайся, пайся,—слышу ея старческій го..
сіяющая отъ восторга, торопится ко мнѣ навстрѣчу,
ждаемая цѣлой оравой бѣлыхъ пушистыхъ собакъ, которыя ..
даютъ ей шагнуть, то схватывая отъ радости ее за рукава, то

Вогулъ съ лукомъ.

подпрыгивая и доставая языкомъ ея лицо и уши. Она отмахивается отъ нихъ руками, она хочетъ ихъ обойти, но все напрасно, и, не помоги ей старикъ, она едва ли бы дошла до меня и поздоровалась.

Съ минуту, окруженные радостнымъ воемъ собакъ, которыя скакали и на меня, и на моего проводника, обрадовавшись стороннему человѣку, раздѣляя радость гостей и хозяекъ, мы, вѣ-

роятно, представляли оригинальную картину предъ этимъ темнымъ боромъ, предъ этой маленькой, занесенной снѣгомъ юрточкой съ веселымъ огонькомъ въ обледенѣломъ окнѣ.

Но минуты встрѣчи прошли; мы успѣли съ старикомъ перекинуться двумя словами объ охотѣ; старуха скрылась въ сопровожденіи ласкающихся къ ней собакъ въ юрту; мой проводникъ спустилъ оленей съ лямокъ, и они, отряхиваясь, побѣжали въ лѣсъ. Мы посмотрѣли имъ вслѣдъ, прислушались, какъ тамъ хрустнули раза два вѣтви; олени скрылись, собаки затихли, и кругомъ насъ снова наступила та тишина, которая обычно сопровождаетъ вогула всю жизнь, только минутами, радостными минутами, нарушаясь говоромъ людей и лаемъ собакъ, когда человѣкъ встрѣчаетъ человѣка.

Управившись такимъ образомъ совсѣмъ, мы пошли всѣ въ юрту. Тамъ въ это время успѣлъ уже согрѣться воздухъ и распылаться каминъ. Дѣйствительно, въ юртѣ было тепло и свѣтло. Огонь тонкихъ сухихъ дровъ такъ и стоялъ живымъ столбомъ въ чувалѣ, освѣщая внутренность хижины.

Она была не велика, не отличалась убранствомъ, но въ ней было такъ много оригинальнаго, новаго для свѣжаго человѣка, что глаза невольно то притягивалъ къ себѣ лукъ на стѣнѣ, то барабанъ на полкѣ, то развлекали десятки другихъ вещей охотника и рыболова. Но то, что на этотъ разъ меня поразило, это—туша громаднаго лося. Она лежала у передней стѣны на нарѣ, вся вмѣстѣ съ громадной неуклюжей головой, вмѣстѣ съ громадными лопастями роговъ и длинными ногами, которыя упирались въ самый потолокъ юрты.

Громадный сѣрый звѣрь съ грубой шерстью, во всей прелести своего зимняго костюма, казался такимъ огромнымъ среди этой миніатюрной хижины, что я первое время рѣшительно недоумѣвалъ, какъ его сюда втащили. Но оказалось, его втянули сюда той же маленькой дверью, сквозь которую я только что пролѣзъ въ своей дохѣ.

Я такъ и замеръ передъ этимъ чудовищемъ лѣсовъ.

Старики были въ восторгѣ. Мой проводникъ даже мычалъ отъ радости, и когда старикъ Сопра сталъ разсказывать намъ, какъ онъ нашелъ слѣдъ этого звѣря въ лѣсу, какъ онъ гнался за нимъ съ своими собаками цѣлый день, какъ онъ подкрадывался къ нему на чистомъ болотѣ и пустилъ, наконецъ, въ него вѣрную пулю изъ своей «фузеи», поясняя все это характерными

жестами и оживленнымъ видомъ лица, то мы такъ заслушались его, что рѣшительно не замѣтили, какъ къ юртѣ кто-то подъѣхалъ, и къ намъ, вмѣстѣ съ лаемъ собакъ, ворвался человѣкъ въ бѣломъ совикѣ, весь въ снѣгу отъ мороза...

— Пайся, пайся! — закричали наши хозяева, и человѣкъ въ совикѣ, похожій на бѣлаго медвѣдя, сталъ цѣловать ихъ при свѣтѣ огня.

За нимъ вошелъ другой, третій, четвертый. «Пайся» и поцѣлуи заглушили другія слова, и мы неожиданно очутились въ такомъ обществѣ сосѣднихъ вогуловъ, какого никогда бы даже не подумали встрѣтить въ маленькой юртѣ нашего пріятеля.

Сосѣди были тоже гости, за ними нарочно ѣздилъ работникъ Сопра, чтобы созвать на лося, и виновникъ этого сборища совсѣмъ не напрасно лежалъ, оказывается, въ переднемъ углу, дожидаясь зрителей и пиршества.

Старуха окончательно растерялась и не знала, гнать ли собакъ, которыя чуть не всѣ набрались подъ шумокъ въ юрту съ улицы, или бѣжать въ амбарчикъ за свѣжей рыбой, чтобы угостить людей съ мороза. Она была одна: старикъ съ тѣхъ поръ, какъ увидалъ гостей послѣ своего одиночества, рѣшительно бросилъ хозяйскія заботы, и какъ она ни кричала ему, чтобы онъ выгналъ хотя собакъ, онъ ничего не слышалъ, торопясь получить тысячи разныхъ новостей, къ которымъ и его старуха насторожила уши...

Но, какъ ни какъ, дѣло направилось, и черезъ нѣсколько минутъ мы уже помѣстились на нарахъ рядомъ съ лосемъ и закусывали сырой, мерзлой рыбой, которую намъ старательно нарѣзывалъ, едва успѣвая, работникъ острымъ ножомъ, держа вкусныхъ пыжьяновъ за хвостъ и сдирая поперемѣнно съ нихъ шкуры. Тонкіе ломтики бѣлой, какъ перламутръ, рыбы, такъ и таяли во рту вмѣстѣ съ солью и не прошло и четверти часа, какъ кучка мерзлыхъ пыжьяновъ исчезла въ желудкахъ гостей, и они отвалились довольные на шкуры оленей, предавшись той пріятной нѣгѣ, которую развивали, съ одной стороны, огонь, а съ другой—сытый желудокъ.

На пылающемъ огнемъ чувалѣ уже кипѣли черные чайники. Старуха цѣлыми горстями всыпала въ нихъ кирпичный чай, и старикъ, возвращенный ею къ хозяйскимъ заботамъ, началъ уже протирать какой-то грязной тряпицей чашки, спрятанныя у него въ ларчикѣ, какъ снова на дворѣ послышались лай собакъ и шумъ остановившихся санокъ.

Въ юрту полѣзли еще гости; опять раздались «пайся» и поцѣлуи, и въ юртѣ стало тѣсновато. Но съ тѣснотой зато увеличилось веселье: вогулы постоянно смѣялись то надъ тѣмъ, то надъ другимъ; между ними были настоящіе остряки, которые подхватывали каждое слово, разговоръ такъ и шумѣлъ, перебиваясь криками, лица были возбуждены, налились кровью; тепло и веселье пробудило спящую мысль, и я рѣшительно не вѣрилъ глазамъ, видя, какъ весело живетъ, молчаливый въ обычное время, дикарь этихъ лѣсовъ, собравшись въ общество.

Чай окончательно согрѣлъ гостей, и все общество, уже не стѣсняясь, сбросило малицы, надѣло домашніе халаты и сидѣло съ раскрытой, голой, волосатой грудью, съ растрепанными волосами, опущенными косами — во всей прелести домашней обстановки. Тѣ же, у которыхъ не было халатовъ, были просто въ однихъ кожаныхъ штанахъ, самымъ безпечнымъ образомъ относясь къ недостатку своего костюма.

Лось, казалось, совсѣмъ не привлекалъ вниманія и продолжалъ таять на лучахъ очага, въ тепломъ воздухѣ нагрѣтаго жилища.

Послѣ чаю на сценѣ появился откуда-то неожиданно боченокъ, у него старательно отлѣпили замазанную тѣстомъ тряпицу, выбили затѣмъ пробку, и въ чайную чашку полилось, булькая, вино. Но оно не предлагалось пока гостямъ, и нашъ хозяинъ Сопра, принявъ въ эти минуты торжественный видъ, сначала серьезно выплеснулъ ее въ огонь на тлѣющіе угли камина, гдѣ на секунду показался синій огонекъ, освѣтивъ нашу хижину блѣднымъ свѣтомъ. Эта чашка, эти первыя капли вина предназначались шайтану и только уже слѣдующія пошли по рукамъ, начиная съ хозяина и хозяйки, которая съ наслажденіемъ выпила «огненную воду», прикрывшись нарядной шалью отъ застѣнчивости.

Пиръ начался. Разговоры сдѣлались шумными; въ рукахъ игрока появился со струнами «гусь», и въ юртѣ, къ всеобщей радости, раздались знакомые уже намъ звуки вогульскихъ мелодій, словно ворвавшись въ эту жизнь чарующей мелодіей лѣса. Общество затихло. Музыкантъ-пѣвецъ не долго заставилъ себя ждать, и въ юртѣ вдругъ словно кто-то заплакалъ, всхлипнулъ раза два, застоналъ, и только послѣ этого мы услыхали, могли различить, что это началась былина, которую пѣлъ музыкантъ про старое время, когда и у нихъ были свои богатыри, сражавшіеся съ русскими казаками. Тихое, вкрадчивое, несмѣлое

Вогулы рыболовы.

начало скоро перешло въ увѣренность въ тонѣ; голосъ окрѣпъ, и черезъ минуту онъ уже громко, съ вдохновеніемъ, встряхивая кудрявыми волосами, пѣлъ намъ длинную былину, разсѣянно скользя по нашимъ лицамъ черными глазами.

Онъ былъ красивъ въ этомъ экстазѣ, онъ казался настоящимъ поэтомъ.

Онъ долго пѣлъ. Долго то повторялъ свой напѣвъ мелодіей, однѣми струнами, то вдругъ обрывалъ ихъ и начиналъ быстро, быстро говорить, поясняя то, что не могло быть понятно его слушателямъ изъ однихъ одночленныхъ звуковъ его голоса и отрывочныхъ словъ, которыми онъ умѣло, артистически импровизируя, рисовалъ передъ слушателями картину за картиной сраженій своего героя.

Прошелъ, быть можетъ, цѣлый часъ, какъ онъ пѣлъ былину. Веселье уступило мѣсто задумчивости. Вогулы поникли головой, молча смотрѣли въ огонь потухающаго камина, и только порой слышался или слабый вздохъ, или возгласъ ужаса, когда герой подвергался страшной опасности отъ нашихъ казаковъ.

Но вотъ былина кончена. Вогулы съ облегченіемъ вздохнули. Старуха бросилась къ забытому очагу, набросала дровъ, и въ юртѣ, замиравшей за минуту въ темнотѣ подъ одними чарующими звуками мелодій, снова пробудилась жизнь и движенье.

На сцену вытащили съ наръ тушу лося. За четыре долгія ноги его взялось четверо вогуловъ, пятый, осмотрѣвъ на свѣтъ лезвіе ножа, ловко всадилъ его въ горло животнаго—и въ юртѣ стало слышно, какъ зашумѣла шерсть распарываемой кожи, которую легко разрѣзалъ острый ножъ вдоль шеи, груди и ногъ, артистически раздѣляя шкуру на части. Нѣсколько наклонившихся вогуловъ стали спарывать шкуру на бокахъ отъ мяса; показалась кровь, бѣлое сало, синее мясо.

Еще нѣсколько минутъ, и звѣрь, громадный звѣрь, лежалъ среди пола голый, на бѣлой шкурѣ, на которую изъ ранъ тихо капала темная кровь.

Принесли котлы, выпустили въ одинъ избытокъ крови, въ другой вывалили внутренности, и въ хижинѣ запахло кровью, а гости начали подхватывать губами лакомые куски, съ которыхъ бѣжала по рукамъ кровь.

Еще немного времени, и лось былъ раздѣланъ на части; пара громадныхъ котловъ съ пудами мяса и сала закипѣли на огнѣ камина подъ присмотромъ старухи, которая вооружилась громадной деревянной ложкой, чтобы снимать пѣну накипи и жира въ чашку.

На срединѣ пола осталась только голова съ рогами лося. Съ ней было больше работы: надо было отпилить рога, надо было

старательно вскрыть черепъ, чтобъ достать мозгъ, надо было аккуратно отрѣзать губу и выполоскать ее съ языкомъ и почками прежде, чѣмъ положить въ особый мѣдный котелъ для почетныхъ гостей.

Наконецъ полъ былъ очищенъ отъ крови и грязи; лишнее былъ вынесено въ амбаръ; отбросни были брошены собакамъ, которыя не преминули изъ-за нихъ разодраться, и гости снова сѣли на мѣста по нарамъ, то облизываясь и вытираясь отъ крови, то посматривая съ нетерпѣніемъ, когда закипятъ котлы, гдѣ варится вкусное жирное мясо.

Не варилось только нѣсколько кусочковъ лося, которые были положены самимъ старикомъ Сопра въ новую деревянную золоченую чашечку. Туда старикъ, раздѣлывая тушу, самъ положилъ, какъ я видѣлъ, кусочекъ почки, часть губы, ушной раковины и немного мяса съ кровью. Эту чашечку старикъ Сопра тихонько поставилъ на полочку въ передній уголъ. Тамъ, я давно зналъ, у него хранилось что-то въ ящикѣ—старомъ, потертомъ, запыленномъ, небольшомъ ящикѣ съ старинным большимъ замкомъ. По тому, что ящикъ занималъ самое почетное мѣсто въ переднемъ углу, по тому, что рядомъ съ нимъ лежалъ неизмѣнный старый барабанъ, я еще въ первое время знакомства съ старикомъ Сопра догадался, что онъ шаманъ. Послѣ это точно подтвердилось. Но старикъ Сопра не только былъ въ этомъ краю шаманомъ, но даже былъ и сторожемъ, какъ оказалось послѣ, шайтана, который былъ гдѣ-то спрятанъ недалеко отъ его юрты, въ лѣсу на берегу озера.

Объ этомъ шайтанѣ я давно слышалъ. Его называли Чохрыньойка. Онъ былъ покровителемъ охоты и промысла звѣря, всю свою жизнь въ старое время прожилъ здѣсь, подъ этой высокой, отдѣленной отъ Уральскаго хребта, горой и теперь, съ приходомъ русскихъ, съ христіанствомъ, не то поднялся на небо къ главному божеству Торму, не то умеръ, оставивъ только воспоминаніе подвиговъ и мѣсто своимъ поклонникамъ-дикарямъ, витая только уже духомъ однимъ надъ старымъ мѣстомъ, гдѣ еще больше, выше выросла большая, покрытая лѣсомъ гора.

На эту гору никто не смѣлъ подниматься изъ народа подъ страхомъ смерти; она была полна разными звѣрями, и когда божество было въ добромъ духѣ, оно сгоняло съ вершины этой горы звѣря внизъ, и онъ расходился по сосѣднимъ лѣсамъ, наполняя страну и давая богатый промыселъ охотнику. Когда же

было мало звѣря, вогулы спѣшили къ этой горѣ, пріѣзжали къ старику Сопра и приносили Чохрынь-ойкѣ кровавыя жертвы, чтобы его умилостивить.

Ни одинъ путникъ, ни одинъ вогулъ не проѣзжалъ мимо священной горы, особенно мимо одного скалистаго мыска, чтобы не остановиться и не поклониться этому божеству. И когда онъ везъ съ собой водку, онъ обязательно плескалъ ему нѣсколько капель въ сторону мыска; когда онъ везъ мясо, онъ бросалъ ему кусокъ; когда онъ везъ деньги, онъ непремѣнно завертывалъ въ береcто серебряную монету и клалъ ее подъ стволъ дерева, принося этимъ свою лепту... И только уже бѣдный вогулъ, у котораго не случится съ собой ни денегъ, ни мяса, ни красной тряпки или чего-нибудь подходящаго богу, только тотъ приносилъ ему самую ничтожную жертву, вырывая изъ груди своей малицы щепоть шерсти и укрѣпляя ее на стволѣ сосны за вѣтку или кору.

Болѣе же религіозные вогулы не только приносили жертву, но даже вырѣзывали на стволахъ сосны изображенія божества и, проѣзжая по дорогѣ, я не разъ видѣлъ въ одномъ мѣстѣ, въ бору, въ веселомъ сосновомъ бору, гдѣ принято вогулами давать отдыхъ оленямъ, эти изображенія—то въ видѣ головы съ остроконечной шапкой, то въ видѣ той же головы съ четырьмя глазами и двумя носами, то еще съ прибавленіемъ ногъ и рукъ въ видѣ бороздокъ, которыя послѣ заплывали смолой живого дерева, закрывая изображеніе прозрачной пленкой.

Черезъ три, семь и двѣнадцать лѣтъ—священныя числа—Чохрынь-ойкѣ приносились общественныя жертвы. Тогда со всего края, даже за нѣсколько сотъ верстъ, собирались къ старику Сопра вогулы, остяки, пріѣзжали даже самоѣды съ далекой тундры и приносили божеству не только десятки, но, говорятъ даже сотни оленей. Весь берегъ озера тогда устанавливался чумами; на льду его паслись стада, и сундукъ, таинственный сундукъ старика, говорятъ, тогда наполнялся такими драгоцѣнными мѣхами: чернобурыхъ лисицъ, темныхъ, сѣдыхъ соболей, какихъ никто не видалъ въ этомъ краѣ. Случалось, даже ему привозили шкуры бобровъ, которыхъ давно уже человѣкъ истребилъ въ этомъ краѣ и загналъ въ такія трущобы, гдѣ даже самому отважному охотнику только годами удается достать шкурку этого любопытнаго, умнаго звѣря.

Въ такіе съѣзды старикъ Сопра игралъ большую роль, которой завидовали, говорятъ, многіе шаманы другихъ мѣстъ и

хранители священныхъ сундуковъ и неприкосновенности капищъ.

Чѣмъ вознаграждался Сопра, мнѣ не удалось узнать; по его словамъ, онъ безвозмездно служилъ своему любимому дѣлу, но

Вогулы рыболовы.

со стороны мнѣ не разъ говорили, что старикъ охотно принималъ подарки отъ тѣхъ, кто его просилъ поворожить на священномъ его бубнѣ: малицы, шкурки звѣрей, задки оленьяго мяса, шапочки на его сѣдую голову, рукавицы на его старческія руки...

Онъ славился своей ворожбой. Серьезный, всегда внимательный къ чужой бѣдѣ, не прибѣгающій къ хитростямъ другихъ своихъ коллегъ этого лѣсного края, онъ невольно внушалъ къ себѣ довѣріе и убѣждалъ уже однимъ видомъ своимъ, что онъ имѣетъ постоянное сообщеніе съ духами, служа посредникомъ между ними и людьми.

Онъ даже былъ казначемъ своего божества, и когда къ нему приходилъ сильно нуждающійся вогулъ, которому, какъ говорится, «до зарѣзу» нужны были деньги, онъ безъ слова отсчитывалъ ему нужную сумму, даже не спрашивая, на что и когда отдастъ ихъ тотъ обратно божеству. Отдастъ ли заемщикъ долгъ, или нѣтъ, ему не было до этого дѣла. Когда у него не было свободныхъ суммъ въ ящикѣ, то онъ самъ посылалъ нуждающагося къ божеству въ лѣсъ, предупредивъ его на случай, гдѣ воткнуты стрѣлы, которыя онъ ставилъ, чтобы туда не попалъ медвѣдь или злой человѣкъ изъ русскихъ или зырянъ, охотниковъ разорять капища шайтановъ. И вогулъ самъ шелъ къ божеству, бралъ у него, вывязывая изъ тряпокъ, серебро или снималъ цѣнную шкурку, если она не попортилась, чтобы отъ продажи ея выручить нужную сумму.

Такимъ образомъ, капище и сундукъ старика Сопра играли роль ссудной кассы, которая только тѣмъ разнилась отъ нашихъ кассъ, что въ ней не было ни жидовъ, ни процентовъ, ни сроковъ.

Изъ этихъ кассъ, которыя, быть можетъ, существовали гораздо раньше, чѣмъ Европа додумалась до чего-нибудь подобнаго, дикарь искони заимствовался, когда пропадало его стадо оленей на Уралѣ, когда такъ или иначе у него была безысходная нужда и нельзя было прибѣгнуть къ помощи сосѣда.

Все это разсказалъ мнѣ, какъ-то еще давно, самъ старикъ Сопра, когда мы съ нимъ подружились. Сначала онъ очень скрытничалъ и отнѣкивался, когда я приступалъ къ нему съ нескромными разспросами, говоря, что онъ ничего, ничего не знаетъ; но послѣ, узнавъ, что я человѣкъ благонадежный, не выдамъ его начальству и засѣдателю, который и такъ не разъ добирался до него, прослышавъ про его шайтана, онъ охотно разсказалъ мнѣ все и даже повѣдалъ всю миѳологію окружающихъ боговъ Урала, между которыми у его Чо хрынь-ойки были даже родственники, и тоже въ настоящее время то превратившіеся уже въ горы и пики горъ, то улетѣвшіе съ скучной земли на небо.

Но онъ долго не соглашался мнѣ показать идола Чохрынойки, то отговариваясь тѣмъ, что на него осердятся вогулы, то боясь, что на него прогнѣвается само божество.

Я посовѣтовалъ ему спросить самого бога, желаетъ ли онъ меня видѣть, и оказалось, что я получу такую аудіенцію, если только соглашусь привезти ему двѣ бутылки хорошей водки... Старикъ Сопра было приговаривался еще къ тому, чтобы я ему пожертвовалъ и своего сиваго мерина, который очень соблазнялъ старика, отгулявшись на привольѣ, но на это я рѣшительно отказался, почему мы и рѣшили ограничиться одной водкой для перваго случая. Когда я собирался къ нему въ гости на лося, я вспомнилъ это и захватилъ эти двѣ бутылки, на случай, если онъ меня поведетъ къ нему; но, на мое счастье, я, оказывается, могъ попасть не только къ божеству, но даже присутствовать при жертвоприношеніи, для котораго и съѣхались къ нему его гости. Но, чтобы явиться туда, нужно было ихъ согласіе, нужно было, чтобы они совершенно были спокойны на мой счетъ, увѣрены въ моей скромности.

Гости, повидимому, мной не очень стѣснялись, хотя порой и посматривали на старика вопросительно, какъ бы рѣшая, можно ли то или другое дѣлать при мнѣ. Старикъ же держалъ себя такъ любезно со мной, что нельзя было и желать лучше. Но чтобы совсѣмъ успокоить ихъ, я самъ принялъ нѣкоторыя мѣры къ тому, чтобы они на мой счетъ не тревожились. Я безъ признака отвращенія поѣдалъ вмѣстѣ съ ними сырое мясо, я туда же за ними хвалилъ теплую печень и почки лося, обмакивая ихъ въ теплую кровь, я съ такимъ же видимымъ восторгомъ глоталъ мозгъ животнаго, стараясь много не разжевывать, и когда они усиленно рекомендовали мнѣ попробовать жирныя железы уха этого звѣря, которыя они не постарались даже очистить какъ слѣдуетъ отъ шерсти, даже разгрызъ ихъ зубами и проглотилъ, чтобы только добиться быть съ ними такимъ же, какъ они, вогуломъ... Все это, видимо, очень ихъ располагало ко мнѣ, они начали ласково похлопывать меня по плечу, жали мои руки, но когда я, принимая чарку, первую чарку ихъ вина, выпилъ ее и остатокъ, по ихъ обычаю,—да простить мнѣ Создатель,—выплеснулъ въ огонь камина, гдѣ показался на секунду синій, яркій огонекъ, какъ бы привѣтствуя меня отъ имени шайтана, то они пришли въ такое умиленіе, что одинъ, уже пьяный вогулъ, полѣзъ меня цѣловать и такъ долго

теръ мое лицо своими мокрыми губами, такъ жалъ меня къ своей раскрытой волосатой груди, говоря, что я его другъ—«рума», что я едва освободился отъ его объятій...

Къ концу вечера мнѣ, дѣйствительно, при помощи такихъ вогульскихъ пріемовъ удалось склонить на свою сторону вогуловъ, и когда въ заключеніе, послѣ съѣденныхъ двухъ котловъ мяса, они стали совѣтоваться, все ли готово для завтрашняго дня, то они уже не только меня не стѣснялись, но даже сами звали посмотрѣть и поклониться ихъ шайтану.

Послѣ ужина всѣ они, за исключеніемъ меня и старухи, ушли въ другую юрту ворожить на барабанѣ, но я туда уже не пошелъ: это мнѣ было уже знакомо. Было поздно и хотѣлось спать; я повалился на тѣ же нары, гдѣ до этого лежала лосиная туша.

Бабушка, съ любезностью настоящей хозяйки, постлала мнѣ шкуру этого лося; я положилъ на нее свою подушку, и постель была готова. Она тоже легла спать около, и такъ какъ каминъ уже догоралъ, а подкладывать въ него было совсѣмъ некому, то въ юртѣ стало скоро такъ темно, что я даже пересталъ различать на стѣнѣ вблизи лосиныя распяленныя уши. Изъ этихъ ушей бабушка хотѣла мнѣ сшить треушекъ-шапку, и съ мыслью о такой шапкѣ, какъ буду въ ней франтить, я помню, и заснулъ въ этотъ счастливый вечеръ въ юртѣ старика Сопра.

Когда на другой день я всталъ утромъ и вышелъ на улицу пауля старика Сопра, то совсѣмъ было не узналъ его пустынныя, мирныя окрестности съ темнымъ, сосновымъ, вѣковымъ боромъ. Вся улица была уставлена оленьими санками: тутъ и тамъ бродили свободно олени; здѣсь копошился народъ въ совикахъ и малицахъ въ видѣ смѣшныхъ, толстыхъ, мохнатыхъ чучелъ; кой-гдѣ поднимался сѣрый дымокъ надъ огнемъ; кто-то кричалъ кому-то въ лѣсъ, и эхо такъ и откликалось ему въ отвѣтъ, звеня по лѣсу... И все это обливали первые лучи яснаго солнышка, которое только что показалось изъ-за ближайшей темно-синей горы сѣдого Урала.

Старикъ Сопра былъ на дворѣ. Онъ страшно хлопоталъ, выгружая изъ маленькаго, вѣчно запертаго на замокъ амбарчика разные предметы жертвоприношеній: громадные темные чугунные и мѣдные котлы разныхъ формъ и размѣровъ, огромныя вилки изъ желѣза и дерева, такихъ же размѣровъ таганы и подвѣсы, какія-то стрѣлы съ громадными старинными луками, берестяныя маски и прочіе незнакомые для меня предметы, о ко-

торыхъ я совсѣмъ не подозрѣвалъ, что они существуютъ на свѣтѣ и именно у этого старика, такого простого, добраго, ласковаго старика Сопра.

Кругомъ его хлопотало, вытаскивая и подавая все это изъ высокаго на стойкахъ амбарчика, нѣсколько бойкихъ пожилыхъ вогуловъ. Они молча дѣлали свое дѣло и, казалось, были немного смущены тѣмъ, что я съ удивленіемъ смотрю, что они дѣлаютъ.

Вогулы въ лодкѣ.

Старикъ же Сопра сдѣлалъ явно видъ, что меня даже не замѣчаетъ.

Я не сталъ имъ мѣшать и пошелъ по первой тропѣ въ лѣсъ, подъ его могучія темныя вѣтви. Тамъ было чудно. Мнѣ казалось, я тону въ немъ: звуки голосовъ, снѣжнаго скрипа пауля быстро смѣнились мертвой тишиной уже черезъ какія-нибудь пятьдесятъ саженъ, словно не существовало вблизи ни пауля, ни людей, ни этой ранней, хлопотливой жизни дикарей. И только одинъ ровный, чуть уловимый слухомъ шумъ вершинъ великановъ-сосенъ наполнялъ этотъ таинственный лѣсъ слабыми звуками ропота. Вѣтерокъ ли, что тамъ высоко тянулъ надъ верши-

нами съ Урала, или то былъ одинъ трескъ вѣтвей отъ мороза, тотъ шорохъ жизни растеній, которымъ проявляетъ себя лѣсъ въ морозное время,—я не могъ разобрать; черезъ четверть часа, словно захвативши въ этомъ лѣсу настроеніе, я снова вышелъ въ пауль и остановился, чтобы посмотрѣть на него теперь въ качествѣ посторонняго зрителя.

И странно, какимъ онъ ничтожнымъ мнѣ представился послѣ тишины и таинственности бора, какой микроскопической показалась мнѣ суетня дикарей, которые нагружали, бѣгали, кричали, звали, махали руками и ловили оленей, загнавъ ихъ въ кучу, надъ которой былъ настоящій лѣсъ роговъ.

Увидавъ меня, старикъ Сопра замахалъ мнѣ руками и что-то крикнулъ. Я пошелъ къ нему. Оказалось, что пора уже ѣхать къ шайтану.

Я торопливо вошелъ въ юрту, одѣлъ доху, простился съ бабушкой, которая не смѣла даже теперь высунуть, благодаря разнымъ священнымъ предметамъ на дворѣ, носъ, считая себя «поганой», какъ всякая женщина вогула, и вышелъ къ санкамъ оленей. На дворѣ уже составился цѣлый обозъ, санокъ въ десять; однѣ были нагружены, на другихъ садились по два вогула, на третьихъ везли что-то закупоренное съ шестами, и на одной были дрова. Олени, пугливыя, робкія животныя, только и ждали момента, чтобы броситься, и прежде, чѣмъ дикари сѣли на нарты, они уже стали бросаться по сторонамъ, прыгать, таскать санки и только уже на озерѣ, на его льду, теперь занесенномъ глубоко снѣгомъ, весь нашъ поѣздъ выпрямился въ линію и понесся, поднимая позади цѣлое облако снѣжной пыли, къ противоположному берегу озера, къ горѣ, Елбынъ-неръ.

Двѣ-три версты по льду озера промелькнули живо. Олени неслись такъ, что захватывало духъ, и вотъ мы уже влетаемъ въ еловый, темный лѣсъ; мелькаемъ мимо стволовъ и вѣтвей со снѣгомъ; ныряемъ въ рѣчку; снова вылетаемъ съ снѣжной пылью на ровное мѣсто, и черезъ нѣсколько минутъ вдругъ въѣзжаемъ въ темный, кедровый боръ и останавливаемся на природной площадкѣ, съ которой открывается чудный видъ на озеро, бѣлѣющееся между вершинами темныхъ сосенъ и елей, и горы, далекія бѣлыя горы Урала.

Шесты, которыми направляли оленей, воткнуты въ снѣгъ. Олени привязаны къ санкамъ и тяжело дышатъ, выбрасывая клубы пара, и лѣсъ полонъ голосами людей.

Нѣсколько минутъ—и люди пошли въ полумракъ кедроваго бора, прокладывая туда свѣжую тропу.

Впереди идетъ старикъ Сопра въ новомъ, бѣломъ, какъ снѣгъ, оленьемъ совикѣ, за нимъ тянутся молча другіе въ такихъ же мохнатыхъ костюмахъ, и позади—я, ступая старательно слѣдъ въ слѣдъ.

Чѣмъ дальше, тѣмъ становится темнѣе. Кедры пушисты, красивы и велики. Сквозь ихъ тяжелыя, раскидистыя вѣтви почти не видно неба, и бѣлый снѣгъ вѣтвей и земли еще болѣе рѣзко выступаетъ среди общаго темнаго цвѣта. Несмотря на то, что насъ десятка полтора, становится жутко. Кажется, что мы идемъ на берлогу; что-то таинственное выглядываетъ изъ-за каждаго ствола, и я совсѣмъ не замѣчаю того, что мы идемъ мимо стрѣлъ, разставленныхъ въ кустахъ такъ, что ихъ невозможно даже замѣтить, если бы меня каждый разъ не предупреждалъ ближайшій вогулъ, дѣлая мнѣ таинственные знаки, чтобы я обходилъ то кустъ, то дерево, гдѣ между вѣтвями на меня цѣлится пара заржавленныхъ, но острыхъ стрѣлъ съ громаднымъ лукомъ.

Эти луки загнуты изъ цѣлаго дерева; эти стрѣлы толщиной въ палецъ, и стоитъ только неосторожно задѣть тонкую синюю нитку, которую теперь осторожно, на ходу снимаетъ старикъ Сопра, какъ лукъ разогнется, стрѣлы со свистомъ вонзятся въ стволы дерева и застрянутъ тамъ, уйдя на вершокъ въ мерзлую древесину. Эти стрѣлы наповалъ кладутъ любого оленя, въ двухъ саженяхъ укладываютъ на снѣгъ лося, даже медвѣдь—и тотъ недалеко уходитъ отъ нихъ, унося съ собой обломки стрѣлъ съ желѣзомъ въ тѣлѣ.

Онѣ кругомъ обнимаютъ этотъ кедровый, мрачный боръ; онѣ всюду незамѣтно разставлены рукой старика Сопра, и даже онъ порой не смѣетъ ходить въ этотъ таинственный лѣсъ иначе, какъ по своей скрытой тропѣ, чуть-чуть замѣчаемой имъ лѣтомъ по выставившемуся корню дерева, а зимой—по черкнутому ножомъ одной чертой какому-нибудь стволу.

Мы продолжаемъ идти. Шаги становятся какъ будто медленнѣе, тише. Вдругъ среди тишины—какой-то раздирающій рѣзкій крикъ... Я вздрагиваю. Вогулы даже останавливается на секунду... Но это—черный желна-дятелъ. Онъ съ крикомъ, стономъ срывается съ дерева и неровнымъ, покачивающимся полетомъ летитъ дальше насъ, впередъ и садится на сучекъ сухого кедра. Мы ждемъ, что онъ еще крикнетъ, но вмѣсто его жалобнаго, противнаго голоса

раздается только мѣрное постукиваніе носомъ о стволъ, который такъ и поетъ на морозѣ подъ его ударами. Я замѣчаю, что меня даже кинуло въ жаръ. Но не успѣло пройти это первое непріятное впечатлѣніе, какъ я вижу,—вдругъ всѣ останавливаются и падаютъ на колѣна. Я взглядываю чрезъ нихъ впередъ и вижу, что впереди, подъ кустами молодыхъ кедровъ стоитъ древній амбарчикъ на двухъ столбикахъ, съ оленьими рогами на маленькой крышѣ. Онъ старъ, покачнулся, онъ спрятался въ вѣтки кедровъ и смотритъ на насъ оттуда, какъ будто забытая бесѣдка зимою въ саду, готовая упасть и разсыпаться. На его крышѣ цѣлая груда снѣга; на вѣтвяхъ кедровъ тоже, но подъ нимъ почти нѣтъ снѣжинки, словно невидимая рука очистила это мѣсто, сохраняя его неприкосновенность.

Пока я смотрю на него, вогулы трижды падаютъ на колѣни и шепчутъ что-то, обратясь къ невидимому еще божеству. Оно тамъ, за маленькой дверью амбарчика. Старикъ Сопра съ благоговѣніемъ подходитъ къ нему; вогулы окружаютъ старика, и онъ, подставивъ спрятанное въ кустахъ дерево съ затесами вмѣсто лѣстницы, тихо поднимается по нему къ дверцамъ и открываетъ ихъ. Вогулы съ шепотомъ молитвъ и заклинаній падаютъ снова, и я вижу черезъ нихъ—въ темнотѣ амбарчика сидитъ, какъ человѣкъ, кукла въ мѣхахъ, шарфахъ, опояскахъ, съ тремя остроконечными шапками на головѣ изъ чернаго, краснаго и синяго суконъ. Изъ-за мѣховъ, шарфовъ, надѣтыхъ позументовъ и надвинутыхъ на глаза шапокъ у него почти совсѣмъ не видать лица; оно, въ темнотѣ угла амбарчика, съ громаднымъ, уродливымъ носомъ, который высунулся наружу, оно мнѣ показалось сначала ужаснымъ, оловянные глаза смотрѣли на меня такъ тускло, что я невольно даже отворотился. Передо мной сидѣлъ, словно мертвый, замороженный человѣкъ, который съ ужасомъ смотрѣлъ на меня своими тусклыми, широко раскрытыми глазами. Но это было только первое впечатлѣніе: всмотрѣвшись ближе, я уже не нашелъ и десятой доли того, что такъ меня испугало: кукла, изображеніе Чохрынь-ойки, далеко не походила на человѣка: лицо оказалось деревянное съ щелями вмѣсто морщинъ, носъ грубымъ сучкомъ, глаза свинцовыми пулями, и вся фигура этого лѣсного чудовища была такъ наряжена безъ вкуса, такъ безобразно окутана въ разныя парчи и мѣха, что даже этому наивному дикарю не могла служить пугаломъ.

Очевидно, мой старикъ Сопра совсѣмъ не имѣлъ намѣренія придать этому покровителю промысловъ болѣе страшный и таинственный видъ, какъ дѣлаютъ это другіе шаманы.

Вогулы и старикъ стояли тоже молча, какъ и я, созерцая фигуру божества. Я взглянулъ на нихъ, на ихъ лица, но въ нихъ не отражалось ни страха, ни почтенія къ этой мохнатой, наряженной особѣ; напротивъ, всѣ они смотрѣли на нее, какъ смотрятъ лю-

Челнокъ вогула.

бопытныя дѣти, когда видятъ что-нибудь неожиданное и интересное, но безъ боязни. Старикъ первый прервалъ молчаніе, что-то замѣтивъ въ непорядкѣ между одеждой шайтана. Его товарищи согласились съ нимъ, и онъ, забравшись въ амбарчикъ, сталъ поправлять склонившуюся въ уголъ фигуру идола, чтобы придать ей прямое, сидячее положеніе. Я протискался сквозь толпу вогуловъ поближе и тоже заглянулъ вслѣдъ за нимъ во внутренность капища. Кругомъ идола стояло съ десятокъ маленькихъ деревянныхъ, крашеныхъ, позолоченныхъ чашечекъ; въ однѣхъ были крендели, въ другихъ пряники и бѣлый хлѣбъ, въ

третьихъ что-то съѣдобное, уже покрывшееся плѣсенью и пылью. По угламъ лежали сотни сломанныхъ ножей; они заржавѣли, покрылись пылью и, судя по тому, что нѣкоторые уже были съѣдены ржавчиной такъ, что при малѣйшемъ прикосновеніи разсыпались, представляли древность. По стѣнкамъ амбарчика были развѣшаны въ порядкѣ: шкурки бобровъ, темнобурыхъ дорогихъ лисицъ, соболей, бѣлокъ, россомахъ; но все это при первомъ прикосновеніи или обваливалось совсѣмъ, или роняло столько шерсти, что засыпало окончательно и чашечки, и ножи, и самого идола, изъѣденнаго молью.

Мнѣ захотѣлось посмотрѣть, во что былъ одѣтъ идолъ, и я предложилъ старику Сопра вмѣсто того, чтобы стараться охлопывать его одежду отъ шерсти, совсѣмъ переодѣть идола и вымести получше амбарчикъ. Старикъ согласился. Я влѣзъ за нимъ въ амбарчикъ, и въ то время, какъ вогулы пошли къ санкамъ приготовлять костры къ жертвоприношеніямъ, приступилъ съ старикомъ Сопра къ дѣлу. Первымъ долгомъ мы сняли три цвѣтные колпака съ позументами и ширкунцами. Подъ ними оказалось голое дерево въ видѣ кола, съ изображеніемъ лица, но настолько грубаго, такой топорной работы, что только одно воображеніе могло дорисовать тѣ черты, которыя были намѣчены ножомъ первобытнаго скульптора. На шеѣ идола оказалась цѣлая куча дорогихъ, старыхъ и новыхъ, шелковыхъ платковъ, повязанныхъ, какъ у женщины, въ углахъ которыхъ было столько серебряныхъ старыхъ екатерининскихъ и новыхъ монетъ, что ими легко можно было наполнить добрую миску. Теплый мѣховой халатъ изъ соболей тоже былъ увѣшанъ платками, лоскутами парчи и разными кусками матерій всѣхъ цвѣтовъ, въ углахъ которыхъ уже завернуто было серебро. Но когда мы сняли съ идола ягушку, то открыли настоящій кладъ серебра: оно такъ и посыпалось изъ всѣхъ дыръ старинной матеріи, парчи и шелка, которыми было обвито его тѣло. Мы начинаемъ развивать его, вытягиваемъ одинъ кусокъ за другимъ, одну парчу за другою, вытаскиваемъ десятокъ аршинъ полуистлѣвшихъ матерій, и серебро, какъ дождь, уже черное отъ времени, сыплется кругомъ насъ на полъ амбарчика. Боже, сколько добра, какая сумма хранится въ этомъ идолѣ трудовыхъ денегъ вогула! Тутъ старые рубли, тутъ и золото, тутъ и полтины, и злоты, и четвертаки, и монеты всѣхъ временъ нашей имперіи. И все это такъ и стучало, падая на полъ амбарчика и раскатываясь по его угламъ.

Мнѣ казалось, что я вижу все это во снѣ. Нельзя было дотронуться рукой до истлѣвшей матеріи, чтобы черезъ нее не скатилась монета; но мое удивленіе было еще больше, когда вмѣстѣ съ серебромъ покатились на полъ черныя, ажурной старинной работы серебряныя маленькія чашечки, полныя монетъ. Я схватилъ одну и сталъ ее разсматривать. Она была тонкой не русской работы, на днѣ ея были изображены драконы, какія-то чудовищныя птицы и звѣри, что-то знакомое по Египту и Персіи.

Я спросилъ старика Сопра, что̀ это, и онъ не колеблясь сказалъ мнѣ, что это старинныя чашечки изъ чистаго серебра, которыя еще отъ ихъ дѣдовъ остались женщинамъ, какъ старинное, дорогое наслѣдство.

Несомнѣнно, что это были слѣды торговыхъ сношеній этихъ дикарей, когда-то могущественныхъ и сильныхъ, съ другими народами юга, когда Сибирь была населена разными дикими племенами и обмѣнивалась съ Персіей и Египтомъ или Кавказомъ, быть можетъ, еще тогда, когда и наши предки были такими же дикарями, какъ теперь вогулъ.

Наконецъ идолъ былъ совсѣмъ раздѣтъ и оказался простымъ обрубкомъ дерева, которое творецъ его даже не потрудился обстругать, придѣлавъ къ нему только пару рукъ въ видѣ палочекъ, ковырнувъ ему ножомъ уши, вырѣзавъ длиннѣйшій носъ и прорѣзавъ ножомъ линіи по лицу, которыя и придали ему выраженіе ужаса. Ногъ совсѣмъ не было, и обрубокъ кедроваго дерева кончался широкимъ обрѣзаннымъ концомъ, на которомъ и сидѣлъ идолъ.

Когда мы окончательно раздѣли его, усыпали полъ серебромъ и заклали его рухлядью, то старикъ Сопра былъ почти въ ужасѣ отъ мысли, что намъ уже не одѣть идола, какъ слѣдуетъ. Но я выручилъ старика, и мы общими усиліями снова намотали на него то, что могло держаться, а серебро просто ссыпали ему за пазуху, потому что ввязывать его было уже невозможно.

Я было попросилъ старика Сопра дать мнѣ за такой трудъ серебряную чашечку на память, но старикъ былъ такъ удивленъ этимъ, что я бросилъ и попытку взять что-либо себѣ изъ драгоцѣнностей на память, хотя онѣ такъ и просились въ мой карманъ.

Наконецъ мы кончили работу, идолъ былъ снова одѣтъ и даже не безъ вкуса, и, любуясь теперь имъ, я такъ ему заломилъ важно цвѣтные колпаки, придалъ такую посадку его фи-

гурѣ, что старикъ даже пришелъ въ восторгъ. И не знаю, за это ли, или за то, что я надышался въ этомъ амбарчикѣ до тошноты пыли и запаха отъ гнилыхъ шкурокъ, онъ вдругъ предложилъ мнѣ на память отъ Чохрынь-ойки серебряную въ 20 копеекъ монету съ изображеніемъ Екатерины II-ой. Этому я не очень обрадовался, но старикъ увѣрялъ меня, что если я ее буду держать при себѣ въ карманѣ, то буду такимъ счастливымъ на охотѣ, что звѣри и птица сами на меня пойдутъ и полетятъ. Старикъ не ошибся: звѣри и птица, дѣйствительно, бѣжали и летали мимо меня въ ихъ лѣсу, но я по-старому пуделялъ по нимъ, какъ и раньше этого подарка Чохрынь-ойки.

Закончивъ работу, мы пошли съ старикомъ къ мѣсту жертвоприношеній. Отойдя нѣсколько саженъ, я почти инстинктивно почувствовалъ, что словно кто-то за моею спиной былъ живой и смотритъ въ мою спину. Я обернулся. Но тамъ никого не было, и только въ амбарчикѣ сидѣлъ одинъ Чохрынь-ойка, глядя какъ-то уже слишкомъ ухарски съ заломленной красной шапкой намъ вслѣдъ своими свинцовыми, круглыми, безъ бровей глазами, какъ какой-нибудь наряженный дѣдъ въ масленицу. Мнѣ стало совѣстно, что я его такъ нарядилъ, но любопытство, что̀ я увижу впереди, взяло верхъ и я скоро забылъ это непріятное чувство.

На площадкѣ, дѣйствительно, было интересно.

Тамъ былъ настоящій бивуакъ дикарей: горѣли костры, бѣгали люди, слышался трескъ огня и шумъ голосовъ; дымъ цѣлымъ пожарищемъ поднимался къ начинающему уже темнѣть небосклону, и зарево огней, десятка огней въ видѣ громадныхъ костровъ, на которыхъ такъ и корчились вѣтки, освѣщало картину лѣса, людей и испуганныхъ оленей, которые стояли привязанными у столовъ кедровъ.

Бѣдныя животныя жались къ стволамъ, обдаваемыя свѣтомъ и дымомъ.

Это были не тѣ олени, на которыхъ мы пріѣхали; это были все молодые, обреченные на смерть, и одинъ изъ нихъ—бѣлый, какъ снѣгъ, съ красивыми рогами, съ мѣткой въ видѣ круга на шерсти такъ жалобно, помню, смотрѣлъ на меня своими большими, черными, выпуклыми глазами, словно ища у меня защиты отъ этихъ дикарей, что у меня невольно сжалось сердце...

У костровъ были уже готовы котлы съ таявшимъ снѣгомъ. Всѣ торопились; старикъ Сопра отдалъ послѣднія приказанія, и вогулы кинулись къ бѣднымъ животнымъ и потащили ихъ за

веревки къ кострамъ. Олени упирались, дико смотрѣли на огонь, хрипѣли отъ перекинутыхъ черезъ шею веревокъ, но шли, подталкиваемые сзади. Одинъ было сдѣлалъ отчаянный скачокъ вверхъ, выпрямившись во весь ростъ, но его такъ дернули за веревку, что онъ опрокинулся на снѣгъ и забилъ ногами. Къ нему подбѣжали, подняли и снова стали подводить къ костру,

Могилы вогуловъ.

гдѣ уже кипѣлъ ключомъ громадный черный чугунный котелъ, въ которомъ вотъ-вотъ будутъ варить его мясо.

Когда оленей поставили передъ кострами и за перекинутую петлей веревку ухватилось по парѣ вогуловъ, старикъ Сопра вдругъ завылъ дикимъ голосомъ... Вогулы подняли страшный крикъ, и прежде, чѣмъ я могъ понять, въ чемъ дѣло, олени страшно всѣ забились, стали корчиться, прыгать, падать на колѣни и вставать, трясти рогами и биться... Произошла страшная сцена. Ихъ давили веревками; въ нихъ пускали стрѣлы, которыя, не слышно скользнувъ по воздуху, впивались и оставались въ тѣлѣ. Вой дикарей продолжался и усиливался. Брызнула кровь... Послышалось хрипѣнье—и животныя стали одинъ за другимъ падать на колѣни передъ костромъ и биться въ предсмертныхъ судорогахъ,

умирая. Вогулы усилили голоса. Лѣсъ шумѣлъ дикими звуками, и я готовъ былъ бѣжать, бѣжать отъ этой дикой, отвратительной, страшной картины, но меня что-то приковало къ мѣсту, и я смотрѣлъ, смотрѣлъ до конца, дрожа отъ жалости и страха, видя, какъ падали одинъ за другимъ животныя головой къ кострамъ, обливаясь кровью, съ торчащими стрѣлами, какъ бились они тамъ въ предсмертныхъ судорогахъ въ то время, какъ дикари изо всѣхъ силъ затягивали петлю, упершись, войдя даже въ снѣгъ отъ усилій ногами... Наконецъ они смолкли. Олени, бѣдные олени, вздрагивая, уже мертвые лежали у костровъ, и надъ ними, теперь словно въ ужасѣ при видѣ смерти, на нѣсколько мгновеній застывъ, остановились дикари и старикъ Сопра съ поднятыми кверху руками, какъ приносящій жертву апостолъ... Лѣсъ смолкъ. Въ немъ гудѣлъ только вѣтеръ, и отдавался трескъ костровъ.

Вогулы бросились сдирать шкуры и потрошить животныхъ. Нѣкоторыя еще были живы и, казалось, смотрѣли имъ въ глаза своими остановившимися отъ ужаса смерти глазами, когда острый ножъ въ безжалостной рукѣ дикаря уже поролъ ихъ горло, шкуру на груди, раздѣляя съ характернымъ звукомъ пушистую, чистую шерсть... Хлынула кровь, обнажились внутренности, синее тѣло, голыя ноги, голые черепа... Красивое животное было обезображено. Надъ нимъ теперь только поднимался паръ. Вогулы молча дѣлали свое дѣло, и не прошло и нѣсколькихъ минутъ,— какъ почки, сердце, уши, мозгъ, печень очутились въ чашкахъ, а кровавое мясо—въ котлахъ, которые вдругъ перестали кипѣть и затихли.

Лакомства въ чашкахъ облили кровью и понесли къ Чохрынь-ойкѣ.

Опять составилась процессія. Впереди шелъ старикъ съ маленькой чашкой, за нимъ другіе, неся кровавыя жертвы своему идолу. Я пошелъ за ними позади.

Теперь тропа уже протоптана и шире. Мы скорѣе доходимъ до амбара, и передъ нимъ, завидя идола, вогулы снова пали съ крикомъ на колѣни и завыли дикимъ, отчаяннымъ голосомъ.

Этотъ дикій крикъ уже былъ невыносимъ моимъ нервамъ.

Старикъ Сопра первый полѣзъ по лѣсенкѣ въ амбаръ и поставилъ передъ идоломъ чашку. За нимъ поставили туда и остальные, и когда снова дикари пали на снѣгъ и стали выть дикимъ, раздирающимъ душу голосомъ, словно стараясь пере-

кричать другъ друга, я взглянулъ на идола, передъ которымъ теперь, какъ оиміамъ, курились еще теплыя внутренности животныхъ. Онъ, какъ мертвецъ, смотрѣлъ на насъ бѣлыми, тусклыми глазами, и полумракъ наступающей ночи придавалъ ему теперь такое страшное выраженіе, что я невольно попятился и прижался къ стволу кедра. Я долго стоялъ тутъ, пока вогулы молились; я, какъ во снѣ, видѣлъ, какъ на жерди около амбарчика развѣшивали шкуры задавленныхъ оленей, принося ихъ въ жертву; я, какъ во снѣ, помню, какъ старикъ читалъ заклинанія и взмахивалъ руками, какъ это повторяли вогулы, какъ падали они, какъ распинались, лежали молча на снѣгу... И крики, и голоса, то смолкавшіе, то заунывные, то страшные, то визгливые, то раздирающіе мольбой душу, такъ и били по моимъ нервамъ, пробѣгая невольною дрожью по тѣлу. Наконецъ я не выдержалъ этой картины и бѣжалъ къ огню, прочь отсюда, гдѣ, казалось, дѣйствительно, витало какое-то невидимое страшное существо, передъ которымъ то замирали дикари, то шептали что-то, словно замѣтивъ его между деревьями, то падали и распинались.

Но у огня, куда я бѣжалъ, было еще ужаснѣе. Тамъ была тишина, костры прогорѣли, и тлѣли только угли; лѣсъ молчалъ, кутаясь въ тьму, и только порой словно наполнялся весь зловѣщими звуками, когда по нему разносились страшнымъ эхомъ вопли вогуловъ. Это было ужасно. Отъ нихъ здѣсь было еще хуже, они еще страшнѣе были издали, доносясь изъ глубины темнаго лѣса, и подъ ними словно трепеталъ, пробуждался самый лѣсъ, шумя заснувшими вершинами.

Я жался къ оленямъ, которые одни, терпѣливо прислушиваясь, словно смущенные тѣмъ, что слышатъ, словно затихнувшіе послѣ картины страшной смерти ихъ товарищей, стояли у своихъ санокъ, вздрагивая отъ дикихъ воплей.

Наконецъ все смокло въ лѣсу. Наступила мертвая тишина. Затѣмъ послышался скрипъ снѣга. Я догадался, что шли сюда люди. Олени, дрожа отъ страха, стали метаться у своихъ привязей, словно къ нимъ шелъ звѣрь, и на площадкѣ скоро показались темныя фигуры, выходящія изъ лѣсу.

Черезъ минуту на площадкѣ снова вспыхнулъ веселый огонь. Картина оживилась. Дикари занялись ужиномъ и снова стали людьми, поѣдая торопливо мясо и разговаривая вполголоса другъ съ другомъ. Старикъ Сопра былъ оживленъ и доволенъ.

Онъ отыскалъ меня и утѣшалъ тѣмъ, что скоро поѣдемъ въ юрту.

Дѣйствительно, скоро стали собираться. То, что было въ котлахъ, было съѣдено и частію попрятано въ санки, какъ гостинцы для домашнихъ; то, что было сырымъ, положено въ котлы и прикрыто, чтобы не тронули послѣ въ юртѣ собаки, и на мѣстѣ площадки, этого лобнаго мѣста дикарей, остались только догорающіе костры, кровь и вываленныя внутренности съ истоптаннымъ кровавыми слѣдами снѣгомъ.

Была уже полная ночь, когда мы прибыли обратно въ юрту. Тамъ была прежняя тишина; по-старому, какъ и вчера, изъ трубы вылетали тихонько искры, и свѣтило ледяное окно. И я былъ страшно радъ, что я снова въ жилищѣ, что я снова въ обстановкѣ людей, гдѣ не было ни крови, ни дикихъ возгласовъ, ни смерти. Я чуть не расцѣловалъ бабушку, когда зашелъ въ ея юрту. Она тоже была рада, что мы возвратились, оставшись совсѣмъ одна въ эту дикую, полную смерти ночь, и бросилась ставить мнѣ чайникъ для чаю.

Черезъ полчаса, въ которые вогулы успѣли спустить оленей въ лѣсъ, юрта уже снова, какъ вчера вечеромъ, была полна народа и шумѣла голосами и смѣхомъ. Но теперь передо мной были обычные люди, къ которымъ я привыкъ, которыхъ я считалъ мирными жителями этого лѣса, добрыми знакомыми и даже друзьями... Старикъ Сопра былъ по-старому привѣтливъ и добръ, и только что видѣнное словно чѣмъ-то уже было смыто съ нихъ: молитвенный экстазъ смѣнился обыкновенной жизнью, въ которой свѣтился и умъ дикаря и сердце. И то, что я видѣлъ въ лѣсу, казалось, былъ только сонъ.

Но я почему-то не могъ дольше оставаться въ ихъ обществѣ. Мнѣ хотѣлось уйти, уѣхать... Я попросилъ оленей. Мнѣ ихъ запрягли въ мои санки, и я, несмотря на просьбы остаться и посмотрѣть, какъ вогулы будутъ плясать и веселиться, уѣхалъ къ себѣ на зимовку.

Когда я уходилъ изъ юрты старика Сопра, въ ней уже были пляски, и я помню только, какъ въ туманѣ, голыя спины, голыя руки, которыя взлетали на воздухъ и что-то тыкали, да косы вогуловъ съ красными, возбужденными лицами, освѣщенными пылающимъ каминомъ, при звукахъ брянчащаго «гуся»...

Какъ тихо, какъ хорошо было послѣ этого въ лѣсу, какъ мирно смотрѣли съ темнаго неба звѣзды сквозь вершины сосенъ,

какъ гладко, поскрипывая катились санки по торной дорогѣ, какъ бойко стучали копыта оленей. И только порой возбужденное чуть не до нервной лихорадки воображеніе рисовало мнѣ между вѣтвями елей глаза и носъ того чудовища, которому сегодня пролито столько крови. Но я гналъ этотъ образъ, гналъ отъ себя прочь, желая только одного, одного скорѣе—сна, которымъ дѣйствительно скоро забылся тутъ же на дорогѣ.

На другой день я еще не могъ записывать видѣннаго въ дневникъ и только уже послѣ, гораздо позднѣе, съ отвращеніемъ покончилъ эту запись, которая еще будила во мнѣ уже полузабытыя чувства.

Ѣзда на собакахъ.

РОЖДЕСТВО ВЪ СНѢГУ.

Это было нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда я путешествовалъ по Сѣверному Уралу.

Я жилъ тогда въ маленькомъ домикѣ на устьѣ одной рѣки, среди вогуловъ, съ собакой, инструментами и такой скукой, отъ которой рѣшительно нельзя было никуда скрыться. Ближайшій городокъ былъ въ пятистахъ верстахъ, почта приходила разъ въ мѣсяцъ и то съ «сибирской оказіей», читать было нечего, и оставалось одно: наблюдать природу, вести скучный дневникъ и проводить изрѣдка вечера среди дикарей, сидя у ихъ пылающаго камина и слушая, какъ они молчатъ, вѣчно погруженные въ какую-то безконечную думу. Да и о чемъ мы могли съ ними разговаривать, когда весь интересъ дня заключался въ погодѣ, снѣгу и буранахъ, а всѣ новости только въ томъ, сколько кто словилъ за день въ ловушкѣ налимовъ.

Въ такомъ положеніи меня застало приближеніе Рождества. Остаться тутъ на такой веселый праздникъ, на святки—это значило бы прибавить себѣ еще лишнее неудовольствіе, и вотъ я, раздумывая, куда бы скрыться на это время, рѣшилъ перевалить Уралъ и проѣхать въ ближайшее село Ижму, чтобы провести тамъ праздники. Ближайшее село это было ровно въ трехстахъ верстахъ отъ моей резиденціи вогульской по картѣ.

Обдумавъ, что это будетъ преоригинальное путешествіе, что кстати я сдамъ тамъ свою почту, я тотчасъ же сообщилъ свой проектъ вогуламъ.

Тѣ выслушали меня, посмотрѣли на меня молчаливымъ взглядомъ и крѣпко задумались. Видимо, имъ хотѣлось доставить мнѣ это удовольствіе и въ то же время они чего-то боялись.

— Что такое?—спрашиваю ихъ.

— Пропадешь въ дорогѣ,—отвѣчаютъ.

— Какъ?

— Занесетъ на Камнѣ, олень не терпитъ, пропадетъ, пропадешь и ты,—отвѣтили они мнѣ категорически.

Но мнѣ совсѣмъ не хотѣлось въ это вѣрить, и мысль, что меня можетъ занести, встрепнуть, проморозить хорошенько, казалось, еще, напротивъ, меня подталкивала на эту поѣздку, и я рѣшилъ, во что бы то ни стало, поѣхать, считая моихъ пріятелей вогуловъ просто трусами и желая имъ доказать, что для русскаго все это пустяки.

Кромѣ того, я засидѣлся, и встрепка мнѣ была такъ же необходима, какъ что-нибудь другое, чтобы вывести меня изъ полусоннаго положенія и заставить снова работать.

Но какъ я ни бился съ пріятелями, чтобы кто могъ изъ нихъ меня свозить за Уралъ, какъ я ни обѣщалъ имъ за это денегъ и водки, но никто изъ нихъ на это ни за что не рѣшался. Я было уже подумывалъ, что такъ мой проектъ поѣздки за Уралъ и останется однимъ проектомъ, какъ вдругъ разъ вечеромъ ко мнѣ является одинъ вогулъ, по прозвищу «Пензеръ» (барабанъ), и объявляетъ мнѣ, что онъ готовъ меня доставить за хребетъ Урала на Печору.

Я былъ удивленъ и почти отказывался вѣрить, но мой вогулъ такъ положительно говорилъ, что онъ меня доставитъ туда и обратно, такъ былъ увѣренъ, что его олени выдержатъ этотъ путь, несмотря ни на какія затрудненія, дышалъ такой отвагой и что мнѣ отступать уже было нельзя и я далъ слово, что ѣду съ нимъ завтра же, какъ только онъ приведетъ мнѣ оленей.

Я угостилъ его чаемъ и водкой; онъ выпилъ до десятка стакановъ чаю, сидя на моемъ полу и разсказывая, какъ онъ уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ совершилъ такое путешествіе чрезъ Камень; страшно вспотѣлъ въ своемъ тепломъ мѣховомъ костюмѣ, въ заключеніе подвыпилъ и снялъ свой верхній костюмъ, подъ которымъ совсѣмъ не оказалось нижняго, такъ что я высмотрѣлъ всю его завидную мускулатуру и волосатую грудь, и только поздно ночью, клянясь всѣми шайтанами, что онъ завтра явится готовый въ путь, уѣхалъ отъ меня на застоявшихся оленяхъ, которые, какъ вихрь, понесли его по рѣкѣ, въ сторону ближайшаго лѣса.

На другой день онъ, дѣйствительно, явился, но только не днемъ, а поздно вечеромъ, съ десяткомъ оленей на двухъ нартахъ.

Я вышелъ посмотрѣть, хороши ли олени. Олени, дѣйствительно, были безукоризненны, всѣ жирные, съ жолобомъ на спинѣ; мы у всѣхъ перещупали съ нимъ ушй, холки, опредѣляя, хватитъ ли у нихъ жира на такой дальній путь; оказалось, хватитъ, и я остался болѣе чѣмъ доволенъ оленями, такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ не только были жирны, но и пугливы и просто ложились на снѣгъ, когда положишь руку на ихъ спины, что было уже высшимъ качествомъ оленя для ѣзды.

Но меня удивило одно, что мой ямщикъ явился не одинъ, а въ обществѣ какъ будто какой-то женщины.

— Съ кѣмъ ты пріѣхалъ?—спрашиваю я у него, указывая на молчаливую фигуру въ бѣломъ мохнатомъ совикѣ около однѣхъ нартъ оленей.

— Съ бабой.

— Развѣ она тоже поѣдетъ съ нами?—спрашиваю я.

— А то какъ? — спрашиваетъ онъ меня, въ свою очередь, удивленный тѣмъ, что я противъ поѣздки его бабы.

— Да зачѣмъ ее мучить? Вѣдь мы сами можемъ управиться, если гдѣ придется что варить?—говорю я.

— Безъ бабы я не поѣду, — заявляетъ онъ рѣшительно: — пимъ порвется, кто его чинить будетъ? Котелъ варить,— что я самъ буду его варить? Безъ бабы когда нашъ братъ ѣздитъ въ дорогу?—И онъ начинаетъ мнѣ выговаривать столько доводовъ въ пользу бабы въ дорогѣ, что я въ самомъ дѣлѣ соглашаюсь съ нимъ, что баба намъ въ поѣздкѣ дѣйствительно необходима.

Скоро мы кончаемъ этотъ вопросъ, и я приглашаю его спутницу съ нимъ въ мою хату.

Они оба скидываютъ свои дорожные мохнатые костюмы въ сѣняхъ и заходятъ ко мнѣ въ комнату. Но тутъ я замѣчаю уже нѣчто совершенно для меня неожиданное: жена моего храбраго возницы въ такомъ положеніи, что я опасаюсь, чтобы въ дорогѣ насъ не оказалось четверо... Но говорить уже поздно, разстраивать поѣздку уже нечего, и я начинаю ухаживать за его молчаливой женой, угощая ее чаемъ и водкой, чтобы она хотя на меня не сердилась, что я вытащилъ ее въ такую пору въ дальній тяжелый путь. Она улыбается, пьетъ чай, не отказывается и отъ водки, и я уже увѣренъ, что мои опасенія напрасны.

БИБЛИОТЕКА РУБАКИНОЙ

Черезъ часъ мы снаряжаемся окончательно въ путь; распредѣляемъ свой несложный багажъ на санки, провизію на семь дней; ко мнѣ на ноги садится мохнатая дама съ длиннымъ шестомъ въ рукѣ, и мы летимъ съ ней подъ крутой берегъ, ныряемъ въ ухабы и несемся въ какой-то бѣшеной скачкѣ вслѣдъ за ея мужемъ, который, словно съ ума сошелъ, гонитъ во весь духъ оленей, словно торопясь сократить этотъ дальній путь съ перваго же времени.

Черезъ какихъ-нибудь десять минутъ мои рѣсницы уже въ снѣгу, воротникъ шубы тоже, глаза сковалъ морозъ, усы—ледъ отъ дыханія, и мы ѣдемъ все съ той же скоростью, охваченные какой-то дорожной истомой.

До хребта Урала, страшнаго Урала, котораго особенно боится вогулъ, намъ нужно сдѣлать около ста верстъ; тамъ намъ предстоитъ сдѣлать перевалку верстъ въ двадцать по совершенно голой пади, гдѣ особенно страшенъ вѣтеръ, срывающій оленей съ ногъ, потомъ мы въ безопасности по ту сторону хребта и поѣдемъ такимъ же лѣсомъ, такими же рѣчками вплоть до самой рѣки Печоры, на которой въ двухстахъ верстахъ отъ насъ теперь находится первая маленькая деревушка, какими мы ѣдемъ теперь, пробираясь безъ всякой дороги.

До праздника три дня, и если я не попаду въ Пижму къ рождественской ночи, то во всякомъ случаѣ буду тамъ на другой день, какъ увѣряетъ меня Пензеръ.

Мы, дѣйствительно, въ одну ночь доѣзжаемъ до Урала. Снѣгъ твердъ, его убилъ недавній вѣтеръ; путь для оленей не особенно затруднительный; санки легки; погода стоитъ тихая, хотя и щиплетъ морозомъ. Но утромъ, когда разсвѣтало и мы уже были подъ самыми горами, которыя, словно бѣлыя стѣны какія, стояли передъ нами, выглядывая изъ-за уродливаго послѣдняго лѣса лиственницъ, мой ямщикъ мнѣ сообщилъ, оглядывая горы, что тамъ погода и врядъ ли мы пробьемся туда съ нашими кошевочками, такъ какъ вѣтеръ противный. Олени, отфыркиваясь отъ мороза, тоже, казалось, говорили объ этомъ, протягивая морду къ горамъ. Но дѣлать было нечего, перевалъ передъ нами, и мы, собравшись съ силами, укупорившись, какъ слѣдуетъ, словно корабль передъ штормомъ, трогаемся и тихонько начинаемъ подниматься на хребетъ Урала.

Вершины бѣлыхъ горъ, которыя освѣтило восходомъ красное солнце, курятся. Въ воздухѣ, чѣмъ ближе мы подвигаемся къ

перевалу, хребту, больше и больше замѣтна снѣжная пыль. Наша собака бѣлый, мохнатый Тасо, то-и-дѣло валяется на снѣгу, ерзая по нему спиною отъ электричества. Воздухъ разрѣженъ, щиплетъ ноздри; олени задыхаются и идутъ шагомъ, то отпыхивая цѣлые столбы пара изъ раскрытыхъ пастей, то съ шумомъ отфыркиваясь, словно что ихъ душитъ. Я иду сзади санокъ и смотрю на нашъ караванъ въ этихъ снѣжныхъ горахъ, весь покрытый снѣгомъ, весь заиндивѣвшій, начиная съ оленей и ихъ вѣтвистыхъ роговъ и кончая бѣлыми совиками, костюмами моихъ проводниковъ, которые скорѣе похожи въ нихъ на бѣлыхъ медвѣдей. Цѣлое облако пара движется вмѣстѣ съ ними,—пара, который выдыхаетъ человѣкъ и животныя, который давитъ атмосфера воздуха сверху и тотчасъ же превращаетъ въ кристаллы, которые падаютъ иглами на насъ, сзади на дорогу.

Пока тихо, но тамъ уже недалеко что-то шумитъ, воетъ, словно завѣсой какой темной закрывая просвѣтъ между двухъ горъ, мимо которыхъ мы двигаемся. Вотъ эта завѣса ближе, ближе, вотъ вихрь несется на насъ, вотъ другой—и мы вдругъ все теряемъ изъ вида; вершины горъ, самый путь, все скрывается въ бѣлой снѣжной пыли, и мы въ какомъ-то круговоротѣ вихрей идемъ, едва сдерживая дыханіе, придерживаясь за нарты, чтобы не быть сбитыми съ ногъ, ослѣпленные снѣгомъ, сбитые съ толку вихрями, чувствуя, какъ они рвутъ одежду, поднимаютъ полы, толкаютъ насъ сзади, упираютъ въ грудь, захватываютъ дыханіе, пушатъ снѣгомъ рѣсницы и свистятъ въ ушахъ. Происходитъ что-то ужасное, чего я не ждалъ еще за минуту; вѣра въ свои силы теряется; мы сбиваемся въ кучу; олени отказываются идти, мы уже способны бѣжать назадъ, какъ мнѣ приходитъ на умъ вынуть бутылку коньяку и подкрѣпиться.

Чудный напитокъ,—мы черезъ минуту уже смѣемся, какъ насъ треплетъ буранъ, мы уже словно обстрѣляны вихрями и, павши на санки, такъ храбро наобумъ двигаемся впередъ, что будь тамъ пропасть, тысяча одно препятствіе того страшнѣе, мы не остановились бы ни на минуту въ раздумьѣ.

И что же? Чрезъ полчаса, всего какихъ-нибудь чрезъ полчаса послѣ ужасной встрепки, гдѣ, казалось, всѣ вѣтры старались обработать намъ бока совиковъ, гдѣ, казалось, весь снѣгъ Урала старался намъ встать на дорогѣ,—мы переваливаемъ хребетъ и спускаемся въ первый лиственный лѣсокъ, уже будучи за водораздѣломъ рѣкъ, по ту сторону хребта, переѣхавъ изъ ужасной Азіи въ Европу.

Я никогда въ жизни не пивалъ такого вкуснаго чаю, какой, я помню, пилъ въ этомъ лиственничномъ лѣсу, подъ какой-то вѣтвистой лиственницей, которая насъ пріютила послѣ этой встрепки на перевалѣ. Пылающій костеръ, яма подъ самымъ корнемъ, словно нарочно вырытая для насъ вѣтромъ подъ деревомъ, лыжи — вмѣсто стола, кипящій чайникъ, вогулка около него въ своемъ бѣломъ мохнатомъ костюмѣ, мерзлые пироги изъ моксуновъ, полбутылки коньяку,—казались чѣмъ-то волшебнымъ при этой обстановкѣ, среди горъ, которыя смотрѣли на насъ изъ-за лѣса своими курящимися вершинами.

Но этотъ часъ былъ послѣднимъ часомъ нашего блаженства и благополучія, словно какой злой духъ подсмотрѣлъ наше счастье, и только что мы двинулись дальше въ путь, давъ отдыхъ оленямъ, какъ тутъ же стало ясно, чему мы подвергаемся.

Съ каждымъ шагомъ, спускаясь внизъ съ горъ Урала, мы видимъ, какъ увеличивается толща снѣга: верста—и онъ уже въ три аршина, двѣ — онъ уже въ пять, три — отъ нашихъ оленей уже видны только кончики роговъ, четыре — мы уже въ такомъ пухломъ снѣгу, что олени отказываются идти и ложатся на снѣгъ, заявляя этимъ, что имъ не подъ силу двигаться дальше.

Ямщикъ въ ужасѣ. Приходится отпрягать тройку, чтобы вести ее простой, торить дорогу впереди. Вотъ онъ на лыжахъ, съ палкой, ощупывая слѣдъ, ведетъ по немъ оленей; они скачутъ, проламывая снѣгъ, за ними двигаются санки съ другими оленями, мы на лыжахъ съ вогулкой сзади и, вмѣсто быстрой, захватывающей духъ ѣзды, нашъ караванъ движется со скоростью двухъ верстъ въ часъ, имѣя впереди еще 50 верстъ такого пути, по которому, какъ говорится, далеко не ускачешь.

Въ цѣлый день мы едва-едва дѣлаемъ пятнадцать верстъ, къ вечеру устаемъ, какъ собаки; ноги ломитъ отъ лыжъ, одежда вся въ снѣгу, и мы несказанно рады, наконецъ, остановкѣ въ еловомъ лѣсу, гдѣ можно согрѣться и напиться горячаго чаю.

Олени спущены и ушли въ лѣсъ обгладывать черный висячій мохъ; санки однѣ оставались на дорогѣ, которая зіяетъ темной бороздой въ сумеркахъ, костеръ разведенъ въ сторонѣ подъ громадной елью; сухіе сучья трещатъ, цѣлый столбъ пламени и искръ поднимается въ тихомъ морозномъ воздухѣ, и мои проводники, бродя при этомъ неровномъ освѣщеніи подъ опущенными вѣтками ели въ своихъ мохнатыхъ костюмахъ, кажутся

мнѣ со стороны какими-то чудовищами этого темнаго, уродливаго, страшнаго лѣса.

Проходитъ часъ, другой за чаемъ, разговоръ не вяжется послѣ тяжелаго дня; завтрашній день ничего не сулитъ отраднаго, кромѣ того, что было сегодня; путь назадъ страшенъ, путь впередъ еще темнѣе своей неизвѣстностью, и мы, тяжело вздыхая, ложимся спать, каждый куда ему вздумается: я на упругія вѣтки ели у костра, который своими искрами обѣщаетъ сжечь мою доху, вогулъ въ снѣгъ, бросившись въ его пухъ съ размаха съ санокъ, жена его—подъ наваленныя санки, предварительно попросивъ мужа зарыть ее поглубже въ снѣгъ и утоптать, особенно чтобы не замерзли ея ноги. И скоро мнѣ кажется, что я одинъ въ этомъ темномъ лѣсу, среди елей, съ потухающимъ костромъ, брошенный на произволъ судьбы, безъ мысли о прошломъ, безъ надежды на будущее. Морозъ, темное звѣздное небо, обстановка лѣса—нагоняютъ на меня настоящую тоску, и я тороплюсь закрыть глаза и отдаться хоть какимъ-нибудь болѣе отраднымъ мыслямъ, чѣмъ эта дѣйствительность. Но ихъ нѣтъ, въ головѣ пусто, на сердцѣ хотя бы лучъ чего отраднаго, и я засыпаю, вздрагивая отъ холода, какимъ-то тревожнымъ, нервнымъ сномъ.

Ужасный холодъ ночью, чай на разсвѣтѣ дня, опять тяжелый путь на лыжахъ по рыхлому, пушистому снѣгу; опять весь день для пятнадцати верстъ, и снова остановка въ еловомъ темномъ лѣсу на ночь.

Но эта ночь уже мнѣ кажется знакомой, я привыкаю къ лѣсу и дикой обстановкѣ около костра; стволъ развѣсистой ели мнѣ кажется уже роскошью, костеръ — благодатью неба, лыжи вмѣсто стола — удобствомъ для чая и ужина, промерзшіе рыбные пироги — лакомствомъ, потому что еще день, и мы пробьемся, несомнѣнно пробьемся къ Печорѣ, увидимъ дома, жительство и будемъ среди русскихъ.

Но мой ямщикъ сегодня что-то ходитъ въ раздумьѣ, онъ не ложится спать сегодня въ снѣгъ, его жена тоже; они вытаяли для себя на эту ночь глубокую яму въ снѣгу, натаскали туда вѣтокъ ели, нагрѣли тамъ воздухъ пламенемъ костра и, закрывшись сверху цѣлымъ ворохомъ елей, ушли туда, словно въ логовище звѣри.

Но я имъ не завидую, мнѣ хорошо въ теплой дохѣ у костра. На сегодняшнюю ночь мой ямщикъ нарубилъ достаточно лѣсу, чтобы можно было обогрѣться; чай еще не выпитъ, коньякъ есть,

и я рѣшаюсь въ удовольствіе помечтать въ этотъ вечеръ подъ стволомъ ели, у костра, прислушиваясь къ тому, какъ потрескиваетъ морозъ въ вѣткахъ лѣса.

Сегодня Рождественская ночь, родился Спаситель, и я съ удовольствіемъ отдаюсь воспоминаніямъ, переношусь въ священный Виѳлеемъ, въ пещеру храма, къ яслямъ...

На темномъ небѣ, которое я вижу сквозь темныя вѣтви елей и вершинъ, тихо мерцаютъ ясныя звѣзды, въ лѣсу мертвая, тор-

Ѣзда на оленяхъ.

жественная тишина, искры костра одна за другой вмѣстѣ съ дымомъ поднимаются къ темной вершинѣ ели и тамъ стухаютъ, описывая круглыя линіи; костеръ тихо горитъ въ морозномъ воздухѣ ночи, словно нарочно протягивая ночь, полную воспоминаній дѣтства и юношества.

Мысль начинаетъ блуждать, какъ эти свѣтлыя искры; передъ глазами встаютъ знакомыя лица, освѣщенный храмъ, свѣтъ свѣчей и запахъ ладана; въ трескѣ сучковъ костра слышатся голоса славильщиковъ, деревенскихъ ребятишекъ; что-то отрадное, теплое вливается вмѣстѣ съ этими думами въ душу, и я не по-

мню, какъ засыпаю у ствола ели передъ костромъ, въ дорогихъ воспоминаніяхъ этой ночи.

Какъ вдругъ я слышу слабый голосъ ребенка и просыпаюсь. Костеръ погасъ. Кругомъ тихо и мрачно. Однѣ звѣзды горятъ надъ головой въ просвѣтѣ черныхъ деревьевъ. Я поднимаюсь, развожу огонь и снова сажусь и отдаюсь воспоминаніямъ ночи; по мѣрѣ того, какъ меня согрѣваетъ костеръ, усыпляетъ слабый трескъ и попискиваніе вѣтокъ, я снова незамѣтно засыпаю.

Но вотъ кто-то меня будитъ. Я раскрываю глаза и вижу передъ собой наклонившуюся фигуру вогула.

— Что тебѣ?

— Дай водки...

— Ты замерзъ?

— Бабѣ подать надо.

— Баба замерзаетъ?—вскакиваю я съ мѣста въ испугѣ.

— Нѣтъ, «человѣкъ родился», — говоритъ онъ и смотритъ на меня какимъ-то загадочнымъ, счастливымъ взглядомъ. И вдругъ я чувствую, что что-то отрадное, священное, теплое вливается въ душу, словно ангелъ, пролетая мимо въ эту ночь, осѣнилъ насъ крыломъ, словно какое чудо совершилось надъ нами, и я, повторяя про себя: «человѣкъ родился, человѣкъ родился», тороплюсь отыскать бутылку коньяку, наливаю стаканчикъ влаги и даю ему, даю, чтобы онъ скорѣе несъ туда, гдѣ только что совершилась великая тайна. И лѣсъ, и звѣзды, и эта тихая ночь кажутся мнѣ совсѣмъ другими, я готовъ молиться и плакать.

Родился человѣкъ, думаю я, и никакъ не могу постигнуть этой тайны, какъ никогда не могъ я постигнуть другой — рожденія въ эту ночь Спасителя. Это что-то выше человѣческаго разума, это что-то выше нашей бѣдной обстановки жизни со всѣми ея радостями, которыя стушевываются передъ тайнами міра.

Но вотъ передо мной снова изъ темноты ночи появляется фигура вогула; онъ что-то бережно несетъ въ своихъ рукахъ, подноситъ къ свѣту и говоритъ: «пырычъ» (парень). Я вглядываюсь, и дѣйствительно вижу въ его рукахъ голенькаго ребенка, краснаго, скорчившагося, который только крякаетъ отъ охватившаго его холода и потомъ жара. Отецъ неумѣлой рукой начинаетъ его натирать передъ пламенемъ огня снѣгомъ, потомъ кладетъ его, какъ няня, на колѣни своего мохнатаго костюма,

вытаскиваетъ ножъ, перевязываетъ жилой пупочекъ и, отрѣзавъ лишнее, бросаетъ въ сторону.

Потомъ вогулъ передаетъ мнѣ на минуту подержать это красное, скорчившееся тѣло; я прячу его поскорѣе въ мѣхъ дохи; онъ убѣгаетъ къ санкамъ и скоро возвращается съ шкуркой молодого оленя, нагрѣвъ которую, проситъ меня опустить туда «пырыча».

Я опускаю его туда, какъ въ мѣшокъ; онъ скрывается тамъ въ мягкой шерсти, и отецъ несетъ его такъ, въ шкуркѣ, къ матери въ снѣжную яму, чтобы положить къ ея груди.

И я снова остаюсь одинъ предъ пылающимъ костромъ, темной елью, звѣзднымъ небомъ, въ тишинѣ морознаго воздуха, но эта обстановка уже мнѣ чѣмъ-то дорога, знакома, что-то хранитъ въ себѣ,—то, съ чѣмъ жалко разстаться, покинуть...

И я долго сижу такъ, прижавшись къ стволу ели, думая о томъ, что совершилось въ эту ночь въ этой снѣжной ямѣ, что совершилось нѣсколько вѣковъ назадъ тамъ — въ ясляхъ, въ далекомъ Виѳлеемѣ.

На другой день мы, какъ ни въ чемъ не бывало, тронулись дальше на лыжахъ. Молодая женщина, казалось мнѣ, только чему-то улыбалась, двигаясь плавными движеніями по снѣгу на лыжахъ. Порой она отставала отъ насъ, садилась на снѣгъ, возилась съ чѣмъ-то, и, оборачиваясь, я видѣлъ только ея склонившуюся фигуру да виляющаго хвостомъ Тасо, который словно радовался, видя молодого хозяина въ пушистой шкуркѣ.

Къ вечеру мы выбрались изъ лѣсовъ на Печору и прибыли въ деревушку, всю занесенную снѣгомъ.

Тамъ былъ праздникъ въ полномъ разгарѣ: женщины были разряжены въ лучшія яркія платья, въ каждомъ окнѣ свѣтился веселый огонекъ, въ каждой избѣ видно было движеніе, и бѣдная маленькая деревушка этой пустынной страны словно вспыхивала, горѣла какимъ счастьемъ.

Но счастливѣе всѣхъ, какъ всюду въ этотъ день праздника, были, кажется, ребятишки: они цѣлой ватагой перебѣгали изъ избы въ избу съ полными руками воробьевъ, галокъ и голубей: они собирали сколько угодно въ этотъ день ихъ замерзшими въ деревнѣ, гдѣ бѣдная птица на лету замерзала и падала наземь отъ страшнаго холода; одни изъ нихъ почакивали ими другъ о друга, смѣясь, какъ птица превратилась въ камень, но другіе,

болѣе сердобольные, бережно укладывали ее на лавки и дожидались, часами дожидались, не смѣя отойти, какъ тѣ, оттаивая, начинали подергиваться всѣмъ тѣломъ, потомъ вздыхать, потомъ раскрывать глаза, приподниматься и бѣгать, летать,—летать по всѣмъ направленіямъ комнаты, ровно не желая вырваться на свободу отъ этихъ добрыхъ людей, которые ихъ подобрали мертвыми на улицѣ родной деревни.

И я, помню, долго смотрѣлъ, любовался на этотъ опытъ пробужденія къ жизни маленькихъ воробьевъ, думая о той тайнѣ, въ которой заключается жизнь.

СЕРЕБРЯНАЯ БАБА.

Когда я путешествовалъ у вогулъ, жилъ въ Оронтуръ-паулѣ въ вершинѣ рѣки Конды, въ мою маленькую невзрачную юрточку часто заходилъ одинъ слѣпой вогулъ, по имени Савва.

Услышитъ, что я сижу одинъ въ юртѣ, кликнетъ маленькую дѣвочку, возьметъ свой костыль, и та поведетъ его ко мнѣ въ юрту. Подойдетъ старикъ Савва къ юртѣ, пріотворитъ дверцы, просунетъ сѣдую лысую голову и спроситъ, можно ли зайти. Я никогда не отказывалъ ему въ своемъ гостепріимствѣ. Скажешь: «Зайди, зайди, дѣдушка»; онъ затащится, пыхтя, въ избу, поздоровается, сядетъ на голый полъ и протянетъ свои старыя босыя ноги.

Сѣдой, съ парой маленькихъ косъ, какъ у нашихъ старыхъ понамарей въ былое время, съ открытымъ добрымъ лицомъ, приподнятымъ къ свѣту, съ крупными морщинами на немъ, въ бѣлой рубахѣ, съ берестяной табакеркой въ рукѣ, въ полосатыхъ штанахъ, съ маленькой сѣденькой бородкой, безъ усовъ, съ протяжной ровной рѣчью, на полу моей комнаты, онъ представлялъ такого типичнаго, оригинальнаго старика-вогула, что такъ и просился на желатинъ фотографической пластинки. Онъ былъ бѣдный: его старая юрта давно уже одиноко стояла на берегу озера, посѣщаемая только зайцами да ребятами; его вотчина—громадная вотчина съ непроходимыми лѣсами, громадными озерами, рѣчками и угодьями для рыбной ловли и звѣря, давно уже ждала его смерти, чтобы стать выморочной—и давно уже его не кор-

мила, такъ что онъ уже нѣсколько десятковъ лѣтъ какъ состоялъ на рукахъ общества, вмѣстѣ съ своей старухой, живя порознь тамъ, гдѣ укажетъ имъ сердобольное общество, въ какой-нибудь семьѣ богатаго вогула. И мнѣ не разъ приходилось поэтому видать, какъ бредетъ черезъ озеро Оронъ-туръ по льду съ костылемъ его старуха, идя въ наши юрты попровѣдать своего старика, или какъ отправлялся онъ опять къ ней въ сопровожденіи своей маленькой, такой же бѣдной, какъ и онъ, всей въ рямкахъ, черненькой внучки—маленькой вогулочки.

Я любилъ этого слѣпого старика за его радушіе и простоту и особенно всегда былъ радъ его посѣщеніямъ,—такой они всегда оставляли значительный слѣдъ въ моихъ дневникахъ.

Онъ же любилъ заходить ко мнѣ, вѣроятно, потому, что я обязательно каждый разъ не забывалъ давать ему маленькую пачку нюхательнаго табаку, который былъ въ ихъ лѣсахъ настоящей рѣдкостью.

Зайдетъ ко мнѣ въ юрту Савва, запру я двери опять на крючокъ, какъ я имѣлъ обыкновеніе дѣлать, когда занимался, во избѣжаніе частыхъ посѣщеній лакомыхъ до моихъ конфетъ ребятишекъ, которые таскали мнѣ съ берега разные черепки доисторическаго человѣка,—сяду за столъ, возьму карандашъ и начну разспрашивать старика Савву, какъ прежде жили вогулы, какъ прежде они воевали съ русскими и самоѣдами въ этихъ лѣсахъ.

Старикъ Савва прекрасно зналъ про старое время и, кромѣ того, что видѣлъ самъ своими глазами въ жизни въ своихъ лѣсахъ, онъ обладалъ еще такой замѣчательной для его старости памятью, что изъ слова въ слово передавалъ интересную былину про старое время и зналъ ихъ такое количество, что мнѣ по горло было съ ними работы.

Зналъ ли онъ, что я записываю всѣ его слова карандашомъ на бумагѣ, я не знаю; я стѣснялся говорить самъ ему объ этомъ, другіе, благодаря запертымъ дверямъ, этого не могли видѣть и ему передать, но я полагаю, что онъ не только не зналъ, что я дѣлаю, сидя у стола и шелестя бумагой, но даже и не имѣлъ понятія о томъ, какъ пишутъ.

Это было крайне выгодно для меня; онъ не стѣснялся въ своихъ повѣствованіяхъ и порой, увлекшись, даже передавалъ мнѣ такія вещи о своихъ богахъ, что я полагалъ, что онъ забывалъ, кому онъ разсказывалъ это своей ровной рѣчью, вѣроятно, думая, что передъ нимъ сидитъ свой братъ вогулъ.

Другой разъ, проговорившись, очнувшись, старикъ было спохватывался, что сказалъ лишнее постороннему человѣку, и начиналъ просить меня, чтобы я какъ не сказалъ этого вогуламъ, которые и такъ подозрительно посматривали на наши бесѣды; но я говорилъ ему, что буду молчать, скоро совсѣмъ покину ихъ юрты, и онъ живо успокаивался и продолжалъ свою ровную рѣчь, от-

Свайныя постройки вогуловъ.

даваясь вполнѣ воспоминаніямъ того, что онъ когда-то зналъ и видѣлъ въ своей жизни.

И сколько таинственнаго я узналъ отъ этого старика про жизнь и вѣрованія вогуловъ, сколько я записалъ съ его словъ былинъ и сказокъ, сколько узналъ секретнаго про ихъ боговъ, которые спрятаны въ ихъ лѣсахъ и ждутъ себѣ кровавыхъ жертвъ отъ человѣка.

Разъ даже, благодаря его указаніямъ, я самъ тихонько сходилъ съ моимъ спутникомъ на сосѣдній мысъ озера Оронъ-туръ посмотрѣть одно мѣсто жертвоприношеній; въ другой разъ—по его словамъ—мнѣ тихонько доставилъ одинъ его родственникъ за полтину цѣлаго стараго идола съ рѣки Конды, который былъ

такъ уже старъ, что ему вотъ уже полстолѣтія никто не хотѣлъ приносить жертвы.

Съ этимъ идоломъ въ видѣ цѣлаго полѣна, съ изображеніемъ глазъ и громаднаго носа, который весь уже обуглился отъ времени, чуть мы даже не навлекли на себя со старикомъ опалу, но, къ счастью, я успѣлъ защитить старика, сказавъ, что я нашелъ его на берегу рѣки Конды, гуляя разъ вечеромъ, и принесъ въ свою юрту.

Это обстоятельство такъ повліяло на старика, что онъ смѣло довѣрялъ мнѣ самыя тайныя вещи про вѣрованія и разъ мы цѣлый день просидѣли съ нимъ, запертые въ юртѣ, къ общему удивленію вогулъ, которые рѣшительно недоумѣвали, что мы дѣлаемъ, сидя весь день запершись въ юртѣ.

Между тѣмъ въ этотъ счастливый день моего дневника мы разговаривали со старикомъ о «серебряной бабѣ».

Слушая его разсказъ про разныхъ боговъ, какъ ихъ зовутъ, гдѣ они скрыты, кто ихъ караулитъ, чѣмъ они всѣ замѣчательны, мнѣ какъ-то пришло въ голову спросить старика, не знаетъ ли онъ что про знаменитую «золотую бабу», которую еще во времена Стефана Великопермскаго, когда крестились пермяки и зыряне, перенесли язычники за Уральскій хребетъ, чтобы скрыть отъ христіанства.

— Знаю, знаю, слыхалъ, — отвѣтилъ мнѣ старикъ Савва и сталъ разсказывать мнѣ все, что онъ зналъ про «золотую бабу».

— Она не здѣсь, но мы ее знаемъ. Она тогда же черезъ наши лѣса была перенесена вѣрными людьми на Обь; гдѣ она теперь, у остяковъ ли гдѣ въ Казымѣ, у самоѣдовъ ли гдѣ въ Тазу, я точно не знаю, но съ той поры, какъ она здѣсь была, у насъ остался съ нея слитокъ — «серебряная баба», которая и до сихъ поръ хранится у одного вогула въ самой вершинѣ нашей рѣки.

Это меня страшно заинтересовало, и я сталъ разспрашивать старика про «серебряную бабу».

— Гдѣ она хранится, дѣдушка?

— Она въ Ямнель-паулѣ; юрты есть такія, еще выше насъ по рѣкѣ, въ самой вершинѣ Конды. Прежде тамъ было еще когда-то нѣсколько домиковъ; жилъ одинъ-другой вогулъ, но всѣ

Юрта вогула.

уже давно вымерли. Теперь тамъ всего только одна старая юрточка, и живетъ въ ней давно уже послѣдній вогулъ-старикъ. Умретъ онъ, перестанетъ и горѣть огонь въ чувалѣ этихъ юртъ, кончится и родъ ямнеловъ.

— Далеко она отъ Оронтуръ-пауля?

— Далеко—недалеко; прямо лѣсами въ одинъ день можно на лыжахъ перебѣжать, да лѣтомъ попасть въ нее только трудно; нужно рѣкой ѣхать да озерами, и поѣзжай такъ, развѣ-развѣ на третій день туда попадешь, если не заблудишься!

— Какъ же этотъ вогулъ ѣздитъ къ вамъ?

— Онъ вовсе и не ѣздитъ, никогда и мы, почитай, къ нему не ѣздимъ, развѣ-развѣ когда промышленникъ какой за лосями весной погонится да забѣжитъ въ его юрту, или за бобромъ отправится въ его рѣчку, а то годами мы совсѣмъ и не знаемъ, какъ онъ тамъ и живетъ, живъ ли.

— Какъ же онъ живетъ тамъ, не видаючи человѣка?

— Какъ живетъ? Такъ и живетъ, какъ прежде жили вогулы. Живетъ себѣ, ловитъ звѣря и птицу, питается и одѣвается, муки, хлѣба ему не нужно, чай онъ нашъ не пьетъ, подати мы за него заносимъ, въ общество служить не зовемъ, знаемъ, что человѣкъ онъ нужный—«серебряную бабу» нашу хранитъ; такъ и живетъ.

— Ты видѣлъ ее, дѣдушка?

— Не разъ, не два видѣлъ на своемъ вѣку... отвѣтилъ Савва.

— Какая же она?

— Серебряная...

— На кого же походитъ? какъ сдѣлана?

— На бабу походитъ, бабой и сдѣлана...

— Одѣта?

— Нѣтъ, голая... Голая баба—и только... Сидитъ. Носъ есть, глаза, губы, все есть, все сдѣлано, какъ быть бабѣ...

— Большая?

— Нѣтъ, маленькая, всего съ четверть, но тяжелая такая, литая; по «золотой бабѣ» ее и лили въ старое время: положили ту въ песокъ съ глиной, закопали въ землю, растопили серебра ковшъ и вылили, и обдѣлали, и вотъ она и живетъ...

— Гдѣ же она у этого ямнельскаго вогула хранится?

— Въ юртѣ хранится, въ переднемъ углу. Какъ зайдешь къ нему въ юрту, у него въ переднемъ углу полочка небольшая сдѣлана, занавѣсочкой закрыта, за ней въ ящикѣ старомъ она и сидитъ. Какъ откроетъ ящикъ — и увидишь ее на собольей шкуркѣ. Сидитъ у стѣнки, голая, и смотритъ.

— Показываетъ онъ всѣмъ ее?

— Нѣтъ, что ты, какъ можно казать ее всѣмъ; русскому не покажетъ ни за какія деньги, да русскій тамъ сроду и не бывалъ, онъ только до нашихъ юртъ и то съ трудомъ доѣзжаетъ; даже вогулу другому и то показать нельзя.

— Отчего же?

— Всякіе нынѣ и вогулы стали; другой только и караулитъ, какъ бы бога какого обокрасть; сколько боговъ у насъ уже въ лѣсахъ пропало, и серебро съ ними, и вещи старинныя, и шкурки дорогія...

— Отчего же вогулы обкрадываютъ боговъ?

— Отчего? Извѣрились въ нихъ. Другого бога ни во что не ставятъ, ругаютъ еще, что не помогаетъ; есть, вонъ, другіе: сдѣлаетъ себѣ бога, поставитъ въ юрту, одѣнетъ его, начнетъ кормить и мясомъ, и саломъ, и почками; станетъ просить его, когда пойдетъ на охоту, чтобы онъ звѣря ему нагналъ, соболя; пойдетъ въ лѣсъ, ходитъ, ходитъ недѣлю: ни ему звѣря, ни ему птицы какой; разсердится, пріѣдетъ въ юрту, выпоретъ вицей своего бога и опять посадитъ въ уголъ. Случается, послѣ этого богъ его послушаетъ, случается—нѣтъ. Смотритъ, смотритъ вогулъ на него, видитъ—пользы нѣтъ: вытащитъ изъ передняго угла и броситъ въ воду—плыви, куда хочешь, если добромъ не живешь въ юртѣ... Вотъ какъ съ ними иной нашъ братъ расправляется,—какъ же теперь не найдутся такіе люди, которые совсѣмъ не вѣрятъ въ боговъ и только обворовываютъ ихъ? Вотъ почему мы и скрываемъ такихъ боговъ даже отъ своего же брата вогула.

— Но другихъ же пускаетъ этотъ ямнельскій вогулъ посмотрѣть серебряную бабу?

— Рѣдкихъ пускаетъ, рѣдкимъ показываетъ—открываетъ занавѣску тѣмъ, которыхъ только хорошо знаетъ, а другіе хотя и приходятъ къ нему нарочно съ дарами для «серебряной бабы», чтобы попросить ее о чемъ-нибудь, такъ такъ, помолятся на занавѣску, приложатъ шкурку, серебро старинное и уйдутъ.

— Нельзя всякому показывать эту бабу,—послѣ маленькаго раздумья, снова заговорилъ старикъ Савва.—Разъ что было...

— Что?

— Украли эту бабу.

— Вогулы?

— Семка нашъ, изъ сосѣднихъ юртъ, что пониже...

— Какъ?

— Просто: зашелъ туда лѣсами, будто за бобрами или соболемъ, подкараулилъ, какъ старикъ вышелъ въ лѣсъ изъ юрты, пробрался въ юрту, сломалъ ящикъ и унесъ бабу...

— Неужели, дѣдушка?

— Вѣрно. Унесъ и попу нашему сатыгинскому продалъ.

— Можетъ быть, тотъ нарочно посылалъ его за ней.

— Кто ихъ тамъ знаетъ, только мы слышимъ—«серебряная баба» пропала; старикъ самъ прибѣжалъ къ намъ ночью на лыжахъ. Подняли народъ на лыжи, пошли слѣдить и нашли ста-

рую лыжницу: прямо къ Семковой юртѣ и привела лѣсомъ. «Ты укралъ», спрашиваемъ, «серебряную бабу?»—«Я», говоритъ, не отпирается.—«Гдѣ она?»—«У попа, въ Сатыгѣ». Ну, не безъ того было, что поколотили его старики...

— Какъ же вы ее достали отъ священника?

— Выкупили.

— Какъ?

— Выкупили. Стали просить, дали ему десять лучшихъ соболей—онъ и отдалъ. Только тарелку серебряную, старинную, что была приложена серебряной бабѣ въ старину, да деньги серебряныя, старые рубли, не отдалъ.

— Что же вы Сенькѣ сдѣлали?

— Что сдѣлаешь ему? Поколотили—и только.

— И съ тѣхъ поръ «серебряная баба» опять въ Ямнеляхъ?

— Опять. Только теперь старикъ ужъ не разстается съ ней и никого къ себѣ въ юрту даже спать не пускаетъ—боится...

— Какъ же онъ на охоту ходитъ?

— Съ собою и въ лѣсъ ее носитъ.

— Съ ящикомъ?

— Нѣтъ. Онъ ее завертываетъ въ шелковый старый платокъ вмѣстѣ съ старыми серебряными рублями: на одну сторону кладетъ четыре рубля, а на другую—три, завертываетъ ее съ ними платкомъ, кладетъ въ небольшой мѣшечекъ изъ молодого лосинаго уха и носитъ этотъ мѣшокъ на спинѣ, когда охотится на звѣря, вмѣстѣ съ натрусками и рожками для пороха и пуль... и спитъ съ нимъ въ лѣсу, и ходитъ...

— Чѣмъ же эта «серебряная баба» замѣчательна?

— Она помогаетъ сильно бабамъ: у насъ ребятъ мало, народъ вымираетъ, вотъ къ ней за ребятами и ходятъ мужики, и жертвуютъ... И промысламъ тоже помогаетъ.

— Что же ей приносятъ?

— Больше шелковые платки, потомъ серебро она любитъ и шкурки дорогія...

— Куда же все это послѣ идетъ?

— На нее идетъ; серебро кладутъ въ ящикъ, шкурки стелютъ подъ нее, платками ее закрываютъ, окутываютъ.

— И она помогаетъ?

— Сильно помогаетъ: старикъ ямнельскій каждую весну по 20, по 30 лосей убиваетъ однихъ, соболей сколько промышляетъ, лучше всѣхъ насъ онъ промышляетъ. Проситъ онъ ее—бабу.

— Куда же онъ съ соболями?

— Жертвуетъ ей; когда намъ отдаетъ за сѣтки и мережи, за порохъ и ружье, за разную провизію.

— Самъ никуда уже не выходитъ?

— Никуда, онъ весь вѣкъ прожилъ въ лѣсу, не видаючи ничего на свѣтѣ, такъ и умретъ.

— Прежде,—началъ онъ снова,—всѣ вогулы такъ жили: живутъ себѣ въ лѣсу, одинокіе, ни они къ кому, ни другой кто къ нимъ; только и видались, когда сбѣгутся въ лѣсу за звѣремъ, или одинъ зайдетъ въ погонѣ за лосемъ къ другому въ вотчину и забѣжитъ въ юрту на ночь или отъ погоды. И хорошо было: другъ другу жить не мѣшали, ссоръ не было, народъ былъ лучше, всякій ѣстъ свой кусокъ мяса, всякій ловитъ въ своей рѣкѣ и въ своемъ озерѣ, и только съѣзжались когда, то развѣ рѣдко-рѣдко для общественныхъ дѣлъ, да и то, бывало, съѣдутся разъ лѣтъ въ десять. Весь вѣкъ вогулъ, бывало, живетъ въ лѣсу со звѣремъ и птицами; раздолье, вездѣ было всего много, жить было легко, а теперь и звѣря, и рыбы въ лѣсу и рѣкѣ уменьшилось.

— Отчего же?

— Человѣкъ перемѣнился, боговъ забылъ. Вотъ та же «серебряная баба», развѣ она такъ жила бы теперь—безъ добрыхъ людей и безъ приклада? А теперь развѣ-развѣ кто въ десять лѣтъ когда нарочно къ ней пріѣдетъ изъ дальнихъ юртъ, да что приложитъ, а прежде что было?

— Что?

— Какъ на праздникъ къ ней собирался народъ, наѣдетъ въ Ямнель-пауль сколько народа, наведутъ оленей, навезутъ ей серебра, парчи, шелку, соболей, чернобурыхъ лисицъ, нашьютъ бабы ей одежды разной, изукрасятъ ее всякими дорогими вещами, поставятъ передъ ней серебряныя тарелочки съ кровью и мясомъ и кланяются, просятъ... Цѣлую недѣлю шумятъ въ Ямнелѣ — настоящій праздникъ. И она помогала промышленникамъ, посылала и соболя, и лосей, и бобра, и бѣлку. Бобра сколько, сказывали старики, около нея по урману, по маленькимъ рѣчкамъ жило — пропасть: палками били, бабы малицы бобровыми шкурами обшивали, а нынѣ и бѣлой собачьей шкурки у другой нѣтъ на подолъ, для прикрасы. Плохо сталъ жить народъ, боговъ своихъ бросилъ, и они его покинули.

И старикъ Савва задумался, поникъ головой.

— Что же съ этой «серебряной бабой» будетъ впослѣдствіи?

— Что будетъ? Умретъ ямнельскій старикъ, и держать ее некому будетъ: нѣтъ у насъ надежнаго человѣка, нѣтъ и надежнаго угла для нея въ нашихъ урманахъ.

— Отчего же?

— Вымеръ вогулъ, мало его стало, а какой остался, такъ тотъ не только ее хранить, готовъ продать ее или передѣлать на вещи ради жадности. Вотъ, посмотри, кто-нибудь ее опять украдетъ и продастъ русскому попу или купцу; купцы давно уже до нея добираются, знаютъ про нее, слыхали; и когда-нибудь да добьются ея съ нашимъ пьянствомъ. Поди, напой виномъ того же опять Семку, и онъ непремѣнно ее тебѣ скараулитъ и принесетъ. Отчаянный народъ нынѣ, горе...

Но мысль подкупить виномъ Семку, котораго я хорошо зналъ, какъ мнѣ ни хотѣлось посмотрѣть серебряную бабу, мнѣ не понравилась. Я страшно былъ заинтересованъ этимъ идоломъ, мнѣ хотѣлось его видѣть, хотя сфотографировать, и я рѣшился самъ лучше попросить, добравшись до ямнельскихъ юртъ, этого старика, который вѣчно носитъ ее за спиной въ лосиномъ ухѣ, чтобы онъ показалъ ее мнѣ добровольно.

И, отпуская въ тотъ вечеръ старика Савву, я глубоко задумался о томъ, какъ это сдѣлать, и рѣшилъ самъ побывать въ Ямнелѣ.

Но обстоятельства такъ сложились, что побывать мнѣ самому на Ямнелѣ рѣшительно не удалось: наступила весна, пришлось съ вогулами идти на бобровыя рѣчки доставать для зоологическаго конгресса бобра, который былъ такой же рѣдкостью этого края, какъ и «серебряная баба», и я вмѣсто себя послалъ въ Ямнель-пауль своего молодого спутника, которому поручилъ повидать серебряную бабу.

Мой спутникъ ѣздилъ цѣлую недѣлю на легкомъ челнокѣ и рѣкой Кондой, и озерами, и даже прямо лѣсами, такъ какъ разливы въ этихъ мѣстахъ заливаютъ не только луга, берега, но и лѣса на десятки верстъ, благодаря низменному мѣсту, и во время весны прибрежные лѣса Конды стоятъ на сажень въ водѣ; мнѣ самому не разъ приходилось ѣздить цѣлыя станціи на лодкахъ по тѣмъ дорогамъ, по которымъ я проѣзжалъ зимой прямо лѣсомъ. Мой спутникъ вдоволь насмотрѣлся на дикую природу, видѣлъ озера и рѣки, видѣлъ потопленные лѣса, видѣлъ цѣлые мосты черезъ рѣки и рѣчки изъ снесеннаго лѣса,

бродилъ по урманамъ, видѣлъ свѣжіе слѣды медвѣдей и лосей, охотился. Даже осмотрѣлъ бобровыя жилища, но совсѣмъ не видалъ старика ямнельскихъ юртъ, который на время половодья, оказывается, переселяется куда-то дальше въ лѣса урмана, такъ какъ его юрточку топитъ водой въ половодье.

Дѣйствительно, мой спутникъ нашелъ его жилище, окруженное водой разлива: бѣдная юрта была вся въ водѣ, и онъ прямо заѣхалъ въ челнокѣ въ ея сѣни, чтобы сдѣлать визитъ божеству.

Въ юртѣ не оказалось ничего замѣчательнаго, кромѣ пыли и грязи; въ сыромъ чувалѣ онъ съ трудомъ развелъ огонь, чтобы напиться чаю и переночевать, и оставилъ эту юрточку на другой день съ такой охотой, такъ она показалась ему негостепріимной, съ какой, пожалуй, ему еще не случалось бѣжать отъ гостепріимства въ этихъ лѣсахъ.

Спустя немного времени мнѣ совсѣмъ привелось покинуть этотъ край, и гдѣ теперь «серебряная баба», живъ ли старикъ ямнельскихъ юртъ — я не знаю. Но, будучи послѣ того не разъ на понизовьяхъ Оби, видаючи и разспрашивая казымскихъ остяковъ, выѣзжающихъ лѣтомъ на Обь для рыбной ловли, разспрашивая и самоѣдовъ далекаго Я-мала, я, какъ мнѣ ни хотѣлось, ничего почти не могъ узнать положительнаго о существованіи «золотой бабы», про которую неопредѣленно мнѣ сказалъ слѣпой старикъ Савва, что она унесена была въ Казымъ или на понизовье Оби къ рѣкѣ Тазу.

Существуетъ ли гдѣ еще этотъ историческій памятникъ язычества пермяковъ и зырянъ Печорскаго края, такимъ образомъ, неизвѣстно, но было бы крайне любопытно достать въ наши этнографическіе музеи хотя этотъ слитокъ съ нея, серебряную бабу,—которую теперь уже не такъ легко, какъ видитъ читатель, пріобрѣсти тѣмъ или другимъ способомъ для музея,—вмѣсто того, чтобы она была украдена и перелита какимъ-нибудь заѣзжимъ торгашомъ изъ русскихъ, которому будетъ дорого въ ней не то, что она слитокъ, кошія съ знаменитой «золотой бабы», что она сама по себѣ цѣнность, какъ старое божество вогуловъ, а то, сколько въ ней онъ найдетъ серебра, цѣннаго металла.

И я думаю, что наши миссіонеры въ этомъ отношеніи легко бы оказали намъ въ этомъ услугу, выманивъ эту драгоцѣнность кондинскихъ вогуловъ въ свои руки изъ рукъ извѣрившихся и не дорожащихъ уже ею вогуловъ.

БАТЯ.

Не помню хорошо, между какими станціями это было, когда я сплавлялся по рѣкѣ Оби на дальній Сѣверъ, но помню хорошо, что это было далеко сѣвернѣе уже городка Березова, и что я ѣхалъ на небольшой лодочкѣ-каючкѣ, какія тамъ предоставляются для проѣзда всякаго пассажира лѣтомъ вмѣсто обычныхъ оленьихъ санокъ зимой.

Какъ сейчасъ вотъ вижу этотъ небольшой, пузатый, смоленый каючокъ: на срединѣ его что-то похожее на собачью конурочку для помѣщенія пассажира и его багажа, надъ конурой толстая невысокая мачта, на кормѣ—въ вѣчной малицѣ съ весломъ въ рукѣ остякъ-кормщикъ, и въ носу передъ пассажирской каюткой полуголые, въ однѣхъ рубахахъ, остяки и остячки съ растрепанными головами, съ косами, съ грязными красными шнурками въ волосахъ и съ мозолистыми, черными руками, которыми они быстро, быстро, почти безостановочно гребутъ короткими веслами, цѣлые десятки верстъ не отдыхая. Такъ какъ наверху совсѣмъ негдѣ сидѣть, кромѣ какъ на покатой крышкѣ каютки, отчего можно легко перевернуть при случаѣ самую лодочку, выдуманную, вѣроятно, еще во времена Ермака, то я лежу въ конурѣ подъ тесовымъ навѣсомъ съ разнообразными надписями досужихъ пассажировъ и гляжу, гляжу все на однѣ и тѣ же ноги, грязныя, босыя, маленькія ноги моихъ гребцовъ, которыя уперлись пальцами въ стѣнки моей каюты, напряглись отъ усилія и то сгибаются, то разгибаются мѣрно при каждомъ взмахѣ веселъ. Этихъ ногъ

я видѣлъ уже на этомъ пути сотни, налюбовался ими вдоволь, потому что, кромѣ ихъ, мнѣ ничего больше не видать. Главное, что мнѣ хотѣлось видѣть, кромѣ этихъ ногъ, — природу, рѣку, окружающую меня панораму,—я не могъ видѣть и потому лежалъ и смотрѣлъ только на эти ноги и думалъ только о нихъ, смотрѣлъ отъ станціи до станціи, смотрѣлъ сотни верстъ пути,-выходя изъ этой конуры только тогда, когда приставала къ берегу наша лодка. Положеніе совсѣмъ неудобное для путешественника, не говоря уже о скукѣ. Поэтому можетъ представить себѣ читатель охватывавшее меня любопытство, когда вдругъ я замѣчалъ, что ноги переставали разгибаться, весла падали на воду, и мои гребцы поворачивались куда-нибудь въ сторону и смотрѣли то, что я не могъ совсѣмъ видѣть, и начинали говорить между собой на непонятномъ мнѣ нарѣчіи. «Что такое?» кричишь имъ тогда, стараясь разгадать поскорѣе, что они такое видятъ, и потомъ ждешь, когда они подыщутъ русскія подходящія слова, чтобы передать мнѣ по-русски то, что они видятъ, чѣмъ занято теперь ихъ вниманіе.

Такъ точно случилось и тогда, въ то памятное утро, когда судьба столкнула меня ненадолго съ вогульскимъ «батей», священникомъ.

— Что такое? кричу я своимъ гребцамъ, видя, что они вдругъ о чемъ-то заговорили, побросавъ весла на воду.

Отвѣчаютъ:

— Батя.

— Какой батя? недоумѣваю я, о чемъ они мнѣ хотятъ сказать.

— Вогульскій батя, попъ...

Все, что угодно, но я этого не ожидалъ; у меня даже мысли не было, что я могу на этой рѣкѣ встрѣтить священника, и я, недоумѣвая окончательно, откуда онъ могъ попасть, спрашиваю остяковъ:

— Ѣдетъ?

— Нѣтъ, стоитъ...

— На берегу?

— Нѣтъ, на баркѣ...

— Купеческой?

— Нѣтъ, должно быть, своя, отвѣчаетъ побойчѣе кормщикъ. И я окончательно не могу понять, откуда заплылъ сюда на своей баркѣ батюшка, и что онъ тутъ дѣлаетъ, когда кругомъ на десятки верстъ нѣтъ даже русскихъ селеній. И, желая окончательно

разрѣшить этотъ вопросъ, надѣваю свою шляпу, становлюсь на корточки и выползаю на четверенькахъ изъ каютки, чтобы посмотрѣть своими глазами, что тамъ такое, передъ чѣмъ, казалось, даже встали въ недоумѣніе сами остяки. Вылѣзаю, поднимаюсь, прикрываю рукой глаза, облитые теперь яркимъ освѣщеніемъ, всматриваюсь туда, куда глядятъ остяки, и дѣйствительно вижу недалеко у берега небольшую барочку съ высокой смоленой мачтой и бѣлымъ флажкомъ и еще колокольчиками на вершинѣ, которая стоитъ у самаго обрывистаго лѣсного берега Оби, такъ и обрисовавшись чернымъ пятномъ на его зелени.

— Гребите къ ней, говорю остякамъ, и они, обрадованные, вѣроятно, перспективой остановки, берутся за весла и начинаютъ быстро, быстро грести, вскидывая серебристыя капли.

— Правь ближе, говорю кормщику.

Онъ налегаетъ на свое весло, и нашъ каючокъ почти прямо направляется на таинственную барочку, на которой. видно, забѣгали люди.

— Приставать? спрашиваетъ меня одинъ остякъ.

— Нѣтъ, отвѣчаю: — проѣдемъ мимо, только посмотрѣть, и онъ кричитъ что-то по-своему кормщику, и тотъ снова направляетъ нашу лодку такъ, чтобы она только прошла вдоль самаго борта.

Барочка вырастаетъ съ каждой минутой на глазахъ: вотъ ясно виденъ ея высокій носъ съ навѣшеннымъ бѣльемъ на веревочкѣ; вотъ бѣлый котъ сидитъ у самой мачты; вотъ сѣть, развѣшенная вдоль борта; вотъ самая каютка съ маленькимъ окномъ на кормѣ, и вотъ кто-то снова выглянулъ изъ трюма и спрятался, какъ будто голова женщины, и, я вижу, на палубу изъ каютки выходитъ въ бѣленькомъ подрясничкѣ священникъ и заботливо поправляетъ свои распущенные волосы, идетъ къ самому борту и становится, чтобы, въ свою очередь, посмотрѣть, кто ѣдетъ.

Наша лодка ровняется; я снимаю шляпу; мои гребцы весело кричатъ: «Пайся, пайся, батя», и я вижу, какъ всѣ они встаютъ со своихъ мѣстъ и отвѣшиваютъ ему низкій поклонъ, словно по командѣ.

Священникъ съ достоинствомъ кланяется намъ въ отвѣтъ, и до меня доносится пріятный звучный его голосъ:

— Добрый путь! добрый путь!.. Заверните, если не торопитесь... Милости просимъ... Хотя на минутку.

Я благодарю его, теряюсь на минуту отъ такого оборота дѣла и, не устоявъ въ соблазнѣ разгадать свое сомнѣніе, говорю кормщику, чтобы онъ повернулъ туда лодку.

И черезъ какую-нибудь минуту мы причаливаемъ къ смоленому борту, выбираемся на палубу одинъ за другимъ, и я подхожу подъ благословеніе къ старичку-священнику въ бѣломъ

Поминки вогуловъ.

лѣтнемъ подрясничкѣ, словно чудомъ какимъ очутившемуся такъ далеко отъ русскихъ селеній на этомъ пустоплесѣ, и рекомендуюсь.

— Очень радъ видѣть... много наслышался, отвѣчаетъ онъ, и я спрашиваю, какому случаю я обязанъ видѣть его на этой барочкѣ въ такомъ отдаленномъ мѣстѣ.

— Рыбачу, скромно отвѣтилъ онъ и сталъ принимать на благословеніе моихъ гребцовъ, которые торопливо подходили къ нему со сложенными руками у сердца, брали благословеніе и, громко, неумѣло чмокнувъ его въ бѣлую, пухлую, благословляю-

щую руку, весело отходили отъ него въ сторону, даже нисколько не стѣсняясь своего убогаго костюма.

— Ваши прихожане? спрашиваю батюшку.

— Нѣтъ, это мнѣ чужіе, я изъ другой рѣки, верстъ такъ 500 отсюда будетъ...

— И нарочно для рыбной ловли?

— Да, отвѣчаетъ батюшка.

— Вы, значитъ, большой любитель рыболовства? говорю я.

— Нѣтъ, какъ вамъ сказать? Скорѣе по необходимости, чѣмъ по призванію взялся за дѣло нашихъ святыхъ апостоловъ... Милости просимъ въ мою каютку. Матушка! крикнулъ онъ куда-то въ сторону трюма,—подай-ко намъ съ путешественникомъ поскорѣе самоварчикъ!—и онъ пропустилъ меня впередъ къ дверямъ каютки, и я вошелъ въ маленькую, всего шага въ три каютку, которая мило, мягко такъ освѣщалась маленькимъ окошечкомъ, въ которое смотрѣлся зеленый лѣсъ и обрывъ берега.

— Какъ хорошо у васъ тутъ, говорю я и смотрю на чистенькую кроватку съ сѣренькимъ байковымъ одѣялишкомъ, на кожаныя туфельки подлѣ нея, на розовые половички, на столикъ подъ бѣлой скатереткой въ переднемъ углу, въ которомъ тихо теплится маленькая, синяя лампадочка, бросая слабые лучи на старинный образъ Николая Чудотворца и рядомъ на портретъ о. Іоанна Кронштадтскаго. Въ каюткѣ все прибрано; даже маленькая полочка съ какими-то книжками, и та прикрыта ситцевой занавѣской, и если осталось что, говорящее о томъ, что тутъ вотъ сейчасъ еще былъ ея хозяинъ, то только слегка примятая кровать возлѣ столика и развернутый нумеръ «Церковныхъ Вѣдомостей» съ положенными рядомъ очками и маленькой серебряной табакерочкой.

— Читаете?—сказалъ я.

— Какъ же, воскликнулъ весело батюшка, — читаемъ, хотя поздненько доходятъ до насъ столичныя вѣсти. Вотъ тутъ у меня и свѣтская газетка имѣется; можетъ, изволите знать «Свѣтъ» г. Комарова... Хотя и не подобало бы нашему брату читать свѣтское, какъ говоритъ о. благочинный, но грѣшный человѣкъ, выписываю... Только вѣдь вотъ этимъ и держимся еще въ такихъ мѣстахъ: все же узнаешь, что творится на свѣтѣ. Вы не повѣрите, какая радость, когда получишь и такую газетку. Не знаешь, за что взяться сначала, такъ обрадуешься. И хотя и ворчитъ матушка, что я даромъ бросаю деньги, трачу ихъ на пустяки,

но молчу. Гдѣ понять старухѣ, что это пища духовная. Зато и читаешь съ наслажденіемъ и не только читаешь, перечитываешь, но даже бережешь каждый печатный клочокъ... Сколько спору бываетъ съ матушкой, какъ она вздумаетъ печь пироги. Выбираешь, выбираешь порой, что ей дать на жертву, еще просмотришь и только тогда дашь, и то чувствуешь, словно сдѣлалъ какое преступленіе противъ печатнаго дѣла.

И онъ добродушно засмѣялся, засмѣялся, сразу обнаруживая добродушнаго, милаго человѣка.

Я посмотрѣлъ выложенные послѣдніе нумера «Свѣта», которые вышли чуть не полтора мѣсяца тому назадъ въ Петербургѣ и уже порыжѣли отъ сырости, и вздумалъ было уже спросить его, какъ онъ сюда попалъ такъ далеко отъ своего прихода; но мнѣ показалось это сразу сдѣлать неудобно, и мы завели съ нимъ какъ-то вдругъ совсѣмъ посторонній разговоръ о политикѣ и новостяхъ свѣта, до которыхъ онъ неожиданно оказался страстнымъ охотникомъ.

Наше духовенство часто имѣетъ пристрастіе къ политикѣ, чего мы и не подозрѣваемъ, предоставляя ему для чтенія болѣе всего духовные журналы и проповѣди.

И не прошло и минуты, какъ у насъ съ батюшкой зашелъ уже горячій споръ о «коварномъ Альбіонѣ», который только что тогда грозился насъ разгромить. Батюшка оказался страстнымъ «политиканомъ», зналъ всѣ происки англичанъ чуть ли не лучше самого Гладстона и вдругъ выложилъ передо мной столько такихъ тонкихъ взглядовъ на современную политику «Англіи», что я передъ нимъ даже готовъ былъ уже спасовать... И не знаю, что бы было у насъ въ концѣ этого спора, если бы меня не выручилъ голосъ его матушки, которая вдругъ его позвала «на пару словъ» за двери.

Это было какъ разъ во время. Я было уже хотѣлъ сдаваться на капитуляцію и, помню, даже обрадовался такому обороту дѣла, чтобы собрать въ своей головѣ мысли и вывернуться отъ такого горячаго противника. Я догадывался, что матушка не даромъ позвала батюшку за двери, слышалъ, что у нихъ тамъ происходитъ уже разговоръ совсѣмъ не въ томъ духѣ, какъ былъ со мною за минуту, и догадывался, что «пара словъ» заключалась не въ чемъ иномъ, какъ только въ томъ, что матушка озабочена угощеніемъ, вѣроятно, не имѣя многаго, что можно было мнѣ предложить.

Я былъ правъ: дѣйствительно, черезъ недолгое время батюшка воротился съ какой-то озабоченной физіономіей, которая прояснилась только тогда, когда въ каютку вошла его молоденькая, голубоглазая дочка и поставила передъ нами маленькій подносикъ, на которомъ скромно стоялъ бѣлый хрустальный графинчикъ и прелестная желтая икра моксуна рядомъ на маленькой тарелочкѣ. Вслѣдъ за этимъ въ нашу каютку вошла и сама матушка—строгая старушка, съ которой я въ данный моментъ былъ болѣе чѣмъ радъ познакомиться, помня еще за минуту ея услугу. Она поговорила минутку съ нами, извинилась, что у нихъ нѣтъ ничего лучшаго угостить дорожнаго человѣка, и, посидѣвъ съ минутку и спросивъ, есть ли, живы ли мои родители, и гдѣ и какъ они живутъ, скромно удалилась, предоставивъ намъ продолжать прерванный разговоръ и пообѣщавъ намъ скоро послать и самый самоварчикъ.

Но прерванный разговоръ послѣ чудной икры моксуна рѣшительно уже не давался; политика словно была сдунута краткимъ пребываніемъ матушки, и какъ мы съ батюшкой ни начинали его, но нить разговора была уже потеряна, и я навелъ разговоръ на то, что меня болѣе въ данную минуту интересовало.

— Васъ интересуетъ то, какъ я здѣсь очутился? сказалъ мнѣ батюшка:— извольте, разскажу, это стоитъ того, чтобы вамъ знать, какъ путешественнику, какъ мы живемъ въ такихъ пустыняхъ. Не подобаетъ нашему брату говорить много о себѣ, но здѣсь я вижу другую причину. Только извините, прежде, чѣмъ я скажу, какъ я сталъ рыболовомъ, я вамъ долженъ многое сказать, какъ я вообще попалъ въ этотъ край, и что меня заставило взяться за это дѣло. Попалъ я въ этотъ край уже лѣтъ десять и попалъ такъ, какъ вообще попадаетъ наша братія на плохіе приходы — по гнѣву, достойному гнѣву архипастырей... Не ропщу, видитъ Богъ, только говорю правду... Попалъ съ семьей, съ старушкой-матерью, почти ничего не имѣя про черный день, хотя и жилъ ранѣе на добромъ, черноземномъ приходѣ. Матушка только ахнула, когда увидала наше село... Что? Сами изволили видѣть, какое наше мѣсто? Храмъ, пара домиковъ для причта, домика два русскихъ, и кругомъ съ десятокъ въ лѣсу юртъ дикарей—и только... Однако, я со смиреніемъ принялъ и это испытаніе, чувствуя, что глубоко виновенъ передъ

владыкой. Не мнѣ недостойному бы браться за великое дѣло просвѣщенія дикарей, но приказано, посланъ—служу... Великое запустѣніе я встрѣтилъ и въ храмѣ, и въ домѣ: священника не было года два. Кто поѣдетъ добровольно въ такое мѣсто? Однако, я не палъ духомъ: очистилъ храмъ, прибралъ убогую квартирку въ церковномъ домикѣ и, когда пришла первая суббота, послалъ трапезника - вогула благовѣстить къ вечернѣ. Повѣрите, слезы выступили у меня изъ глазъ, какъ я услыхалъ первый жиденькій звукъ колокола, какъ онъ жалобно раскатился по лѣсу, послѣ того благовѣста, какъ звонили въ старомъ мѣстѣ... Позвонилъ такъ съ полчаса трапезникъ на колокольнѣ, посмотрѣлъ я въ окошечко: хоть бы душа какая откликнулась въ юртахъ, словно не прихожане, а лѣсъ кругомъ стоитъ; позвалъ семейку помолиться Богу и пошелъ служить первую службу.

«Отслужилъ. Думаю: можетъ, завтра на утро на литургію придутъ «оглашенные». «Оглашенными» я ихъ называю: недостойны они еще называться истинными христіанами. Поужинали съ семьей; посидѣли вечеръ на заваленкѣ у воротецъ, потолковали, заплела мнѣ дочка косу, и пошелъ я въ горенку читать правило, какое полагается намъ передъ литургіей. Только опустился я на колѣна, читаю, молюсь передъ образомъ со свѣчкой, какъ вдругъ слышу—что-то гудитъ... Гудитъ и гудитъ. Страшно такъ гудитъ и все громче и громче, словно вотъ когда на зарѣ въ гарнизонѣ, въ городѣ барабанятъ... Читаю, грѣшный, а самъ прислушиваюсь, и страхъ какой-то на меня нашелъ, даже молиться не могу—вздрагиваю, какъ нанесетъ на меня вѣтромъ... Не вытерпѣлъ, поднялся съ колѣней, пошелъ было къ окну послушать, что такое, а позади меня стоитъ матушка и блѣдная такая, что я даже испугался. «Что такое, мать?» спрашиваю. «Отецъ», говоритъ, «вѣдь дикари-то шаманятъ на праздникъ... укроти ихъ... слышать не могу ихняго барабана... Катя даже расплакалась отъ страху...» Взялъ я шапку, кликнулъ съ собой трапезника изъ церкви, пошелъ, откуда изъ лѣсу барабанъ слышно... Извините на минутку, — вдругъ прервалъ онъ свое повѣствованіе, заслышавъ, какъ за дверью послышался робкій голосокъ его дочери Кати, которая просила отворить ей дверь.

Дверь отворилась, и Катя, прехорошенькая дѣвушка въ розовенькомъ платьицѣ и съ голубой лентой въ косѣ, внесла намъ, вся розовая отъ румянца, въ каютку чистенькій, старенькій самоварчикъ, который такъ и бросалъ ей въ лицо горячія струи пара.

Прошла минута, другая за приготовленіемъ чая; Катя намъ принесла варенья изъ морошки и кренделей; батюшка, пользуясь перерывомъ, пригласилъ меня еще отвѣдать желтой чудной икры моксуна, которая стала уже какъ-то вянуть, и, выпроводивъ дочку и сказавъ, чтобы намъ не мѣшали болѣше разговаривать, что онъ самъ разольетъ чай, приперъ снова двери и сталъ продолжать прерванное повѣствованіе.

— Ну, перекрестился я, сказалъ трапезнику, чтобы онъ провелъ меня къ той юртѣ, гдѣ барабанятъ, и пошелъ за нимъ по узенькой тропиночкѣ въ лѣсъ, откуда свѣтилось два-три огонечка. Проходимъ юрту, проходимъ другую — никого. Вижу, въ юртѣ шаманятъ, освѣщена, въ окошечко видать, что полна народу; въ чувалѣ огонь такъ и пышитъ, и передъ нимъ на срединѣ юрты самый шаманъ, мой прихожанинъ, съ чернымъ барабаномъ и колотитъ по немъ палочкой и что-то припѣваетъ. Кругомъ его, видно при свѣтѣ, сидятъ на нарахъ дикари, халаты распахнуты, волосы распущены, лица все темныя, головы повѣсили и всѣ сидятъ молча... Не вытерпѣлъ я: загорѣлось у меня въ сердцѣ, отворилъ я двери у юрты, шагнулъ туда и говорю: «Миръ вамъ, братіе»! Дикари остолбенѣли. Шаманъ пересталъ бить. Смотрятъ на меня такіе страшные, и никто не говоритъ ни слова... «Что вы дѣлаете, крещеные люди?» спрашиваю, — «кому молитесь? кого зовете? Не возлѣ ли васъ храмъ?..» И пошелъ и пошелъ...

«Откуда сталъ проповѣдникъ!.. Только поднимается передо мной одинъ старикъ, лохматый такой, косы распущены по плечамъ, глаза сверкаютъ, и говоритъ: «Молчи, батя, не мѣшай намъ и мы тебѣ мѣшать не будемъ...» — «Какъ такъ», — спрашиваю, — «не мѣшай, развѣ на попущеніе послалъ меня сюда владыка?» Куда, говоритъ даже не даетъ. «Мѣшать будешь, надѣлять тебя не будемъ. Что ѣсть будешь? что ѣсть будешь? что ѣсть будешь?» вдругъ закричали остальные вогулы, и я было отступилъ даже къ порогу... Шумъ поднялся страшный: кто грозитъ голодомъ, кто—холодомъ, кто говоритъ, что я здѣсь совсѣмъ пропаду, погину... Подождалъ я, когда они прокричались, и говорю имъ: напрасно, добрые люди, пугаете, что не будете надѣлять. Богъ меня и такъ не оставитъ, а долгъ мой превыше всего земного; развѣ птицы небесныя... и пошелъ и пошелъ имъ ораторствовать; никогда не думалъ я, что я такой проповѣдникъ... И вѣдь что?—спросилъ онъ меня вдругъ среди этого разговора.

— Что?

— Убѣдилъ вѣдь: слушали они меня, слушали, Богъ ли имъ на душу положилъ, или такъ, только вижу я: они смирнѣе и смирнѣе; видятъ — я правъ; видятъ — я не струсилъ; видятъ — я не сдаюсь, и стали со мной соглашаться, что шаманить имъ здѣсь, дѣйствительно, не полагается... Долго я имъ говорилъ, долго я ихъ убѣждалъ, даже матушка посылала сына попровѣдать: ужъ не убили ли меня дикари,—и кончилось это тѣмъ, что они не

Поѣздка вогульскаго священника по приходу.

только дали мнѣ слово не барабанить, но даже и самый барабанъ отдали...

«Иду домой такой веселый съ трофеемъ; несетъ за мной барабанъ трапезникъ, и подхожу это къ своимъ воротцамъ. А матушка моя уже тамъ ждетъ, не дождется. «Смотри-ка, мать», говорю ей, «какую музыку я отобралъ...» Она какъ взглянула на него, да такъ и присѣла отъ страху... Куда! Даже на крыльцо его не пустила занести, даже въ ограду. «Куда ты», говоритъ, «погань еще такую тащишь? Еще дѣтей напугать ею хочешь?» Перепугала

такъ меня, чуть меня самого съ трапезникомъ не выгнала изъ ограды... Однако, я зашелъ въ домъ; барабанъ мы спрятали около дома въ кустахъ, и какъ разсвѣтало, поднялся я читать правило, такъ пошелъ, взялъ его и бросилъ его въ воду. Неси, рѣка, куда хочешь.

— Пожалуйте стаканчикъ чайку съ вареньемъ, — бросился батюшка, прервавъ этотъ разсказъ и схватившись за позабытый на столѣ чайникъ.

Онъ аккуратно налилъ пару стаканчиковъ, поставилъ одинъ передо мной, другой къ своему прибору, и я попросилъ его снова начать свое повѣствованіе.

— Ну, на другой день во время литургіи кой-кто, дѣйствительно, приходилъ въ храмъ Божій изъ «оглашенныхъ»; даже матушка говоритъ, что одинъ даже поставилъ свѣчу передъ образомъ... Только ни молиться они, бѣдные, не знаютъ какъ по настоящему, ни держать себя въ храмѣ, словно вотъ чужіе какіе, иностранные. Даже жалко на нихъ смотрѣть, разговариваютъ, ходятъ изъ угла въ уголъ, повертываются къ алтарю спиной, за всѣмъ слѣдятъ съ любопытствомъ, и какъ вышелъ причетникъ апостолъ сказывать, такъ даже въ ротъ ему заглядываютъ и въ книгу... Страшно ужъ они любопытны. Одинъ даже въ алтарь чуть ко мнѣ не забрался: такъ его разобрало любопытство, что я тамъ дѣлаю, стоя передъ престоломъ.

«Ну, помолился я передъ Господомъ Богомъ за нихъ хорошенько, попросилъ Его подкрѣпить меня терпѣніемъ и началъ съ тѣхъ поръ просвѣщать ихъ понемногу. Когда въ храмѣ поговоришь имъ самымъ простымъ языкомъ, что нужно ходить въ церковь; когда въ юрту зайдешь, утѣшишь ихъ въ бѣдномъ житьѣ; когда зазовешь на квартиру ихъ посовѣстить, что они не ладно дѣлаютъ, что въ храмъ Божій не ходятъ. Да только матушка моя больно уже обижалась сначала, что отъ нихъ запахъ такой я приношу въ домъ, что даже дохнуть дома невозможно... И удивительное дѣло, какъ отъ нихъ разитъ, бѣдныхъ. Повѣрьте — побудешь только минуту, когда зайдешь къ нимъ въ юрточку, а уже матушка слышитъ. «Ты опять, отецъ, къ остякамъ ходилъ въ юрту»? — спрашиваетъ. Не совсѣмъ она долюбливаетъ ихъ почему-то; вѣроятно, ее больно они напугали въ первую субботу, закончилъ батюшка и засмѣялся.

— Ты это что, про меня разсказываешь? вдругъ отворила дверцы каюты и появилась на порогѣ матушка.

— Про тебя, смѣется батюшка,—разсказываю путешественнику, какая ты трусиха...

— Да ужъ ты всѣмъ про это разскажешь; ты разскажи-ка, какъ они т бя чѣмъ надѣляютъ, сколько ты получаешь въ годъ здѣсь содер канія и разбогатѣлъ ли ты на этомъ приходѣ.

И матушка, вдругъ словно подтолкнутая чѣмъ, начала мнѣ сама разсказывать, что они получаютъ отъ своихъ прихожанъ, какъ они бѣдно живутъ, какъ давно уже все продали и прожили, что было у нихъ раньше запасено, и какъ они вынуждены были чуть не на колѣняхъ просить духовное начальство, чтобы оно приняло ихъ единственнаго сына на казенный коштъ въ училище, такъ какъ они даже не имѣли денегъ для того, чтобы его отправить въ городъ. И не будь милости проѣзжаго купца, добраго человѣка, имъ бы и до настоящаго времени не собраться его отправить въ городъ, такъ какъ онъ лежитъ отъ нихъ чуть не за полторы тысячи верстъ. И передо мной, подъ вліяніемъ искреннихъ, простыхъ словъ этой матушки, которая даже вспыхнула румянцемъ при этомъ разсказѣ, такъ онъ ее взволновалъ, раскрылась вдругъ такая картина убожества ихъ жизни, которую я бы никогда даже не подозрѣвалъ при видѣ этихъ на видъ довольныхъ своей судьбой людей, при видѣ всего окружающаго, которое только говорило о принятой, врожденной привычкѣ въ чистотѣ и порядку...

— Охъ, мать! хотѣлъ было немного сгладить это сильное впечатлѣніе батюшка,—что объ этомъ говорить, вѣдь живемъ же, слава Создателю, пьемъ, ѣдимъ, одѣты...—было началъ онъ, но матушка горячо прервала его рѣчь и снова заговорила.

— Да, живемъ, не скажу я, какъ мы живемъ, но только ужъ не твоимъ приходомъ, а только милостію Божіею. Посмотрѣла бы я, чѣмъ бы ты сталъ жить, что бы ты сталъ дѣлать, если бы не занялся самъ рыболовствомъ; только вотъ оно насъ еще и держитъ, а то такъ бы опустились, что страшно бы и увидать постороннему человѣку; развѣ о. Николай....—начала было матушка.

— Не говори ты мнѣ про о. Николая, онъ человѣкъ разслабленный, нездоровый... поди-ка, мать, лучше свари намъ «ушку»,—прервалъ ее батюшка, и мы снова остались одни и могли продолжать начатый разговоръ, который страшно меня уже заинтересовалъ собою.

— Помолился я Господу Богу, говорю вамъ, началъ снова батюшка,—и началъ съ той поры свое трудное дѣло. Не легкое

дѣло это просвѣщеніе дикарей: тяжело человѣку темному говорить о вѣрѣ, душа его заперта, какъ крѣпкая дверь; придешь въ юрту—тамъ грязь, вонь, пахнетъ гнилою рыбою, иногда лежатъ больные... Помогъ бы имъ, бѣднымъ, да нечѣмъ, хотя и учили насъ въ семинаріи въ былое время медицинѣ; другой разъ видишь—лечитъ шаманъ, станешь говорить: «неладно дѣлаете»; говорятъ: «вылечи—тебѣ будемъ вѣрить... помоги»... А чѣмъ помочь, когда въ домѣ одна мята у матушки, да и ту она хранитъ какъ Богъ вѣсть какую драгоцѣнность. Хуже того, какъ въ другой разъ придешь поучить, а въ юртѣ дикари еще съ утра ничего не ѣдали, да и къ вечеру поужинать нечего. Частенько это случается въ нашемъ приходѣ: дикарь живетъ, какъ птица небесная, ѣстъ, что есть, нѣтъ—сидитъ, пока не добудетъ; то, смотришь, рыба перестала передъ погодой ловиться, то звѣрь ушелъ въ другую сторону, перекочевалъ, и такъ частенько ѣдятъ Богъ только вѣсть какія кушанья изъ бѣлокъ и старыхъ костей щукъ и налимовъ, которыя только собакамъ и могутъ служить пищею, а тутъ еще другой годъ и голодовка. Придешь въ такое время—до проповѣди ли? Посмотришь на нихъ, какіе они сидятъ невеселые, посѣтуешь, что лѣнятся, и пошлешь имъ коврижку. Думаешь, можетъ, она расположитъ сердце ихъ къ своему пастырю. Но и это напрасно: дикарь не цѣнитъ милостыни: по его понятію, что у тебя есть—дѣлись; съѣстъ и даже не помянетъ и на тебя же порой еще осердится, что послалъ ему мало. Богачами насъ, русскихъ, зовутъ они, а себя бѣдными, несчастными: «помогать вы намъ, говорятъ, должны, кормить», а у самихъ такія вотчины, что впору вашему имѣнью, на десятки верстъ кругомъ угодья рыболовныя, и звѣриный промыселъ, и шишка, и лѣсъ. Русскій бы человѣкъ царствовалъ тутъ, не жилъ, а они чуть съ голода не помираютъ: опустятъ руки и сидятъ; посылаешь въ лѣсъ промышлять бѣлку—не идутъ, боятся, говорятъ: «шайтанъ пугаетъ, долженъ я ему отдать долгъ сначала, а потомъ идти въ его лѣсъ промышлять». И вѣдь такъ боятся нечистаго, что даже, случается, человѣкъ скорѣе задавится, лишитъ себя жизни, чѣмъ пойдетъ въ лѣсъ, если у него не исполнено обѣщаніе своему покровителю охоты принести тамъ какого-нибудь оленя въ жертву или такъ подарить ему, бросить куда подъ корни дерева нѣсколько серебряныхъ монетъ. И тутъ уже какъ его ни убѣждай, что ему ни говори, что все это пустое, онъ ни за что тебѣ не повѣритъ и только смѣется. «Поди-ка», говоритъ, «батя, самъ, какъ онъ пуж-

нетъ тебя изъ лѣсу», и разсказываютъ такія чудеса, что, право, самъ съ ними начинаешь вѣрить, что и въ самомъ дѣлѣ нечистый живетъ въ лѣсу и слѣдитъ, притѣсняетъ человѣка.

«Вѣры какъ-то нѣтъ у этого дикаря въ самого себя, теряется онъ передъ каждою случайностью: тресни въ лѣсу дерево,—онъ уже убѣжденъ, что это шайтанъ; ударь молнія въ дерево и расщепи его,—онъ увѣренъ, что это нарочно даетъ о своемъ гнѣвѣ понятіе ему нечистый; случись что-нибудь съ ружьемъ, дай

Священникъ у вогуловъ въ юртахъ.

оно осѣчку, лопни струна лука,—онъ уже бѣжитъ вонъ изъ лѣса въ ужасѣ и разсказываетъ всѣмъ, что его преслѣдуетъ нечистая сила, и такъ разсказываетъ, что не повѣрить ему нельзя, потому видишь, по лицу его видишь, что онъ самъ убѣжденъ, что это такъ и было, и даже ужасъ на васъ наведетъ своимъ таинственнымъ повѣствованіемъ,—вотъ какъ. И поди, убѣди его, что это пустое: онъ замотаетъ головой и убѣжитъ прочь.

«И какая впечатлительность у этого дикаря, просто удивительное дѣло; словно онъ весь сотканъ изъ однихъ нервовъ, и

то, что не поразитъ нашего мужика и даже не заставитъ задуматься, передъ тѣмъ онъ даже вздрогнетъ, остановится, затрясется...

«И убѣдить еще его ходить въ храмъ Божій можно, но отучить отъ суевѣрій—это уже дѣло совсѣмъ тяжелое: онѣ укоренились въ немъ крѣпко, они связали все его существованіе, перепутали понятія, и распутаетъ ихъ только одно время, долгое время и образованіе.

«И вотъ, такъ сталъ я жить въ этомъ приходѣ и учить понемногу своихъ прихожанъ добру и православію, и хорошо бы все это было, если бы у меня подъ руками были хотя какія-нибудь средства для благотворительности или помощи больнымъ; но куда, гдѣ ее вызоветъ нашъ братъ въ такомъ мѣстѣ? Это у васъ, въ Петербургѣ, не знаютъ, куда кинуть деньги, и устраиваютъ всякія благотворительныя общества, а здѣсь кто поможетъ дикарю и нашему брату, его бѣдному пастырю, когда даже о насъ не замолитъ никогда добраго слова ваша литература... А между тѣмъ, сколько бы добра можно здѣсь посѣять при средствахъ, сколько бы помощи можно было оказать истинно погибающему нашему «меньшему брату». Только на этомъ еще и можно кой-что сдѣлать въ такомъ краѣ, а между тѣмъ намъ приходится самимъ чуть не искать благотворительности у дикаря, выѣзжая въ приходъ за сборами.

«Вы бы посмотрѣли, что это за «руга» наша бѣдная у дикарей. Пріѣдешь въ юрты,—голо, дикарь на половину въ лѣсу или куда уѣхалъ къ русскимъ клянчить въ долгъ себѣ хлѣба, зайдешь въ юрту, попросишь надѣлить,—только ахаютъ отъ сочувствія и видишь, надѣлили бы, да у самихъ ничего нѣтъ, и если вынесетъ кто мерзлыхъ налимовъ тебѣ десятокъ въ подолѣ и высыплетъ передъ тобою на снѣгъ, и скажетъ: «На, батя, ѣшь, вотъ тебѣ налимы», такъ бѣжалъ бы отъ этой сцены, такъ она тяжела для нашего брата. Можетъ, онъ послѣднее отдаетъ, и у него сварить нечего? И вотъ, подумалъ я, подумалъ съ матушкой, поговорилъ съ добрыми людьми, какъ бы это обойтись безъ такой милостыни, и рѣшилъ устроить себѣ рыболовный каючокъ, оснастить его какъ слѣдуетъ, взять у рыбаковъ неводъ и сѣтки, и, когда вскроется рѣка, и всѣ мои прихожане уѣдутъ на Обь промышлять рыбу, и самому туда отправиться на промыселъ, гдѣ они кочуютъ, чтобы запастися, чѣмъ дастъ Богъ, на долгую зиму. Что наше жалованье въ такомъ краю? На него не проживешь

и полгода. И вотъ, я рѣшилъ самъ добывать себѣ насущный хлѣбъ рыболовствомъ. Сдѣлалъ я себѣ каючокъ, оснастилъ его, запасся сѣтками, и весной, только что это тронулась рѣка и разлилась, переселился, какъ на дачу, со всѣмо семействомъ, сюда, поднялъ парусокъ и отправился вмѣстѣ со своими прихожанами на промыселъ. И хорошо это такъ: самъ стоишь на рулѣ, поешь тропари и каноны, правишь, матушка съ дочкой правитъ парусомъ, флажокъ тихонько шелеститъ, рѣка какъ словно зеркало, солнышко такъ и пригрѣваетъ, и смотришь, какъ по всей рѣкѣ плывутъ твои прихожане, кто въ простой лодочкѣ, кто въ маленькомъ каючкѣ изъ бересты, и рады всѣ, поютъ, что вырвались снова изъ голоднаго, постылаго мѣста на вольный свѣтъ, гдѣ хотя будутъ сыты. И такъ это хорошо, словно въ самомъ дѣлѣ ѣдешь куда въ свѣтлое мѣсто, а не въ пустыню, словно въ самомъ дѣлѣ позади тебя уже навсегда остался и этотъ темный молчаливый лѣсъ, и вѣчныя эти голодовки, и вѣчная нужда, бѣдность. Повѣрите, даже плачешь, когда, стоя на рулѣ, такъ тебя радуетъ это приволье и свобода.

«Ну, поплылъ я; плывемъ сутки, другія, третьи, четвертыя. Несетъ насъ рѣка и несетъ: и мимо лѣса, и мимо юрточекъ, и мимо рыбалокъ; пустыненъ край, рѣдко въ немъ увидишь живого человѣка, но все же и онъ имѣетъ свою красоту, и какъ-то пріятно смотрѣть на его дѣвственность, еще не тронутую рукой человѣка. Когда ночь придетъ, остановимся у бережка, разведемъ костеръ... Сколько радости у дочки на незнакомомъ берегу! Но коротка здѣсь весенняя ночка: не успѣетъ сварить матушка котелокъ, какъ уже снова свѣтаетъ, и еще ночью плыть того пріятнѣе по рѣкѣ: птица Божія такъ и играетъ, и шумитъ, въ лѣсу спозаранокъ пѣсни, а на воздухѣ столько пернатыхъ гусей-утокъ, что только и свистятъ надъ тобой крылышками, перелетая съ болота на болото... И хотя бы мѣсяцъ—такъ плыть не соскучился бы никогда, наблюдая эту природу...

«Ну, около города мы прибрались и принарядились: нельзя, можетъ, вдругъ благочинный выйдетъ на берегъ. Вотъ и городъ. Знаете, небольшой, но все же сердце какъ-то и передъ тѣмъ падаетъ: что, какъ взглянутъ на мое путешествіе косо? Однако, ничего, обошлось: о. благочинный только посмѣялся, что я отправился на рыболовство. «Что же», говоритъ, «доброе дѣло, отецъ, выдумалъ: чѣмъ сидѣть въ лѣсу цѣлое лѣто, лучше покочевать со своими прихожанами; можетъ, тамъ какая треба...»

«Ну, погостилъ я въ городѣ на барочкѣ дня два, запасся всѣмъ необходимымъ; взялъ у знакомаго дьякона газетъ и отправился на самую Обь въ дорогу. Только и застань насъ на Оби буря... Господи, что поднялось. Волны скачутъ, корабликъ нашъ скрипитъ, парусокъ едва держится, въ снастяхъ воетъ, и матушка ни жива, ни мертва стоитъ, держится за веревку. Думаю, въ конецъ прибьетъ насъ буря; однако, кой-какъ улепетнули за островочекъ, да тамъ четверо сутокъ и отстаивались въ кустахъ. Ну, буря, я вамъ скажу. Передумалъ я тогда много; понялъ, почему молится православная церковь «за плавающихъ»; и удивительное дѣло: только что она прошла, только что стихла погода, выглянуло солнышко, какъ снова, какъ ничего не бывало, даже отвага проявляется, словно тебя вотъ только что въ моряки настоящіе произвели и еще орденомъ наградили. Ну, такъ мы и добрались до мѣста, гдѣ мои прихожане промышляютъ. Облюбовалъ я у вотчинниковъ недорогой, рыболовный песочекъ и сталъ промышлять.

«И слава Создателю! далъ довольно на мою бѣдность рыбки, и такъ довольно, что не только въ городѣ запасся я разной хозяйской провизіей на зиму, отправилъ сынка въ духовное училище, но даже, не хвастаюсь, даже помогъ и самимъ прихожанамъ немного, когда у нихъ случился зимой недостатокъ. Матушка, такъ та свѣтъ даже словно увидала, какъ рыба пошла въ неводъ. Ну, тоже заправилась кой-чѣмъ и она для кухни, не все купцамъ за безцѣнокъ отдавать: и моксунчиковъ насолила, и сырочковъ, и кишки сельдяной заправила на зиму, и даже осетриковъ, далъ Богъ, засолила. Зимой, когда о. благочинный пріѣзжалъ съ ревизіей, такихъ пироговъ ему напекли въ дорогу, что, поди, такъ еще теперь поминаетъ, какъ его угостили...

«И вотъ съ тѣхъ поръ словно совсѣмъ пошло у меня другое дѣло съ прихожанами: видятъ—въ самомъ дѣлѣ человѣкъ могущій, и сразу ко мнѣ перемѣнились: большое они уваженіе чувствуютъ къ богатому человѣку, самостоятельному; по ихнему понятію, это такая сила, что и Богъ знаетъ, что человѣкъ можетъ съ ними сдѣлать. Разумѣется, какое у меня богатство, только слава Богу, хотя сытъ съ семейкой, но все же, подите, уваженіе какое ко мнѣ почувствовали. И вотъ я съ той поры сталъ ихъ учить уже лучше.

— И съ успѣхомъ? спросилъ я.

—Куда!—воскликнулъ батюшка.—Возможно ли намъ даже мечтать объ успѣхѣ: народъ дикъ, русскаго языка почти не знаетъ,

Вогульское село.

а намъ гдѣ возможно изучить его языкъ въ короткое время. Нужны года и года для этого и при томъ не такую старую голову, какъ наша...

«Вы не повѣрите, сколько у меня хлопотъ было сначала съ этимъ ихъ незнаніемъ русскаго языка: нельзя допроситься, бывало, человѣка даже, какъ его зовутъ: Петромъ или Ѳедоромъ. «Петь», «Ѳедь», бормочетъ, понять никакъ невозможно; готовъ

къ писарю съ жалобой, что я его будто бы обвиняю въ убійствѣ. Спасибо, дьячокъ дверь приперъ, а то бы и остальные убѣгли. Боже мой, какой шумъ подняли. Едва уговорили.

«Что дѣлать? Подумалъ я, подумалъ: подозвалъ ихъ всѣхъ къ амвону, велѣлъ имъ пасть въ землю; пали они передо мной, лежатъ; прикрылъ я ихъ епитрахилью и прочиталъ отпустительную молитву. Какъ сейчасъ помню, слезы изъ глазъ бѣгутъ, а я читаю надъ ними молитву. Прочиталъ надъ ними молитву, велѣлъ встать на ноги; встали они, и вижу—стали веселѣе; видятъ, я не донесу начальству, а только молюсь. Попросилъ ихъ помолиться усерднѣе передъ Господомъ Богомъ, не принимать пищи до утра, не курить, паче того не пить вина, вымыться, причесаться завтра утромъ и прійти въ церковь пораньше къ принятію Святыхъ Тайнъ и отпустилъ съ миромъ.

«На другой день, дѣйствительно, пришли такіе чистенькіе, смиренные, что даже я удивился: настоящіе рабы Божьи, въ чистыхъ рубахахъ; нѣкоторые даже купили для этого нарочно новенькія рубашки у русскаго купца, другимъ дали кой-кто изъ сердобольныхъ, волосы расчесаны и распущены по плечамъ, и руки, какъ слѣдуетъ, у сердца. Даже сердце обрадовалось, глядя на нихъ, и уже по церкви не ходили. Сталъ принимать къ причастію; смотрю, не дичатся, подходятъ со смиреніемъ, какъ подобаетъ и истинному христіанину; но только согрѣшилъ грѣшный, не замѣтилъ, причастилъ другихъ по два раза... Спасибо, дьячокъ догадался, сказалъ, что другіе подходятъ въ другой разъ. Видите ли, имъ запивать теплотой понравилось и по другой просфорѣ получить захотѣлось...

«И вотъ такъ всегда, каждый постъ, и сколько ихъ ни учишь, сколько имъ ни толкуешь—все понимаютъ и дѣлаютъ по-своему: и по образамъ любятъ ходить со свѣчками, и обязательно на колокольню сбѣгаютъ побрякать въ колокола, и съ трапезникомъ поссорятся, и дьячку поглядятъ въ ротъ... Учить ихъ? Куда, даже думать не хотятъ объ обученіи. Лаской станешь обходиться,—норовятъ обязательно надуть. Строгостью—начинаютъ дичиться и страшно обижаются. Великая тьма еще царитъ въ ихъ трущобахъ!» воскликнулъ батюшка, задумался и замолкъ какъ-то сразу.

Задумался и я, смотря въ маленькое чистое окошечко на яркую, молодую зелень обрыва съ опущенными тяжелыми еловыми вѣтками, съ падающей, наклонившеюся вершиной, со сло-

маннымъ старымъ стволомъ и глухой, густой сплошной порослью, куда не проложено даже еще тропы, кромѣ одного звѣря. И при видѣ этой картины обрыва, при видѣ этого маленькаго клочка этой глухой тайги, мнѣ словно стали еще понятнѣе послѣднія слова священника, въ которыхъ звучало столько правды.

Послѣ этого разговоръ какъ-то уже не клеился, словно въ нашу бесѣду легло что тяжелое, и скоро я попрощался съ добрымъ, разговорчивымъ батюшкой, простился съ матушкой, дочкой ихъ Катей; они вышли меня проводить, и я снова уже въ своемъ каючкѣ, съ своими мыслями плыву дальше по этой необозримой Оби. И батюшка, и его рыболовный каючокъ, и добрая матушка-старушка, и Катя въ розовенькомъ платьицѣ, появившаяся въ послѣднюю минуту на борту смоленаго каюка, и разсказъ батюшки, и вся эта минутная встрѣча, казалось, тоже плывутъ куда-то дальше, дальше, въ вѣчность, въ исторію, какъ и мы двигаемся все впередъ и впередъ. Да, все плыветъ и двигается впередъ, все отходитъ въ исторію,—и былое время, и эти дикари когда-нибудь будутъ иными, быть можетъ, лучшими, и батюшка ихъ не будетъ добывать себѣ самъ рыбу. То, что видишь теперь, черезъ десять лѣтъ будетъ уже въ другомъ видѣ: жизнь и дикарей имѣетъ свои періоды и перемѣны, и намъ, путешественникамъ, только удается временемъ класть на исторію ихъ штрихи, которымъ, быть можетъ, даже не повѣрятъ другіе черезъ какихъ-нибудь десять-пятнадцать лѣтъ.

Что за бѣда? Зато какъ хороши, свѣжи эти встрѣчи, зато какія онѣ будятъ въ насъ воспоминанія.

ЧЕРЕЗЪ ДЕСЯТЬ ЛѢТЪ.

Недавно, возвращаясь съ сѣвера, поднимаясь съ рѣки Оби, мнѣ привелось снова заѣхать въ рѣку Сѣверную Сосьву и побывать у вогуловъ.

Я давно знаю эту рѣку и ея вогуловъ. Я былъ въ ней еще въ 1883 году и живо помню, какъ я, пробираясь тогда на Сѣверный Уралъ, поднимался по ней въ маленькой долбленой лодочкѣ съ парой гребцовъ-вогуловъ. Для меня тогда все въ ней было ново: и дикая лѣсная рѣка съ молчаливымъ темнымъ лѣсомъ, и рѣдкіе берестяные шалаши, и спрятавшіяся въ лѣсу юрты, откуда къ намъ на берегъ выбѣгали вмѣстѣ съ собаками толпы вогуловъ, съ удивленіемъ разсматривая насъ, откуда мы пріѣхали, и чудные виды снѣжныхъ горъ Урала, и самая жизнь вогуловъ. И казалось, что уже Богъ знаетъ гдѣ далеко мы отъ Россіи, настолько дико все это казалось, настолько все это окружающее было чуждо тому, что я привыкъ видѣть даже въ тайгахъ Сибири.

Мнѣ очень жаль было тогда вогуловъ. Бѣдные, въ жалкихъ одеждахъ, сквозь которыя такъ и проглядывало на свѣтъ темное смуглое тѣло, со всклоченными волосами, растрепанными косами, полуслѣпые отъ вѣчнаго дыма, истощенные отъ вѣчнаго голода и житья подъ открытымъ сѣвернымъ небомъ, съ испугомъ, заботой на добромъ, открытомъ лицѣ, запуганные мѣстнымъ начальствомъ, обобранные нашими купцами, казаками, торговцами, загнанные какими-то историческими передвиженіями татарскихъ ордъ въ эти негостепріимные лѣса, но сами гостепріимные, просто-

душные, ласковые къ чужому, незнакомому человѣку, они казались мнѣ такими жалкими, такими несчастными, что я готовъ былъ для нихъ сдѣлать Богъ знаетъ что, чтобы они стали людьми, а не пасынками природы.

Я не могъ тогда долго привыкнуть равнодушно смотрѣть на ихъ полуголыя фигуры, хотя ихъ улыбки, глаза и говорили мнѣ поминутно, что это еще не Богъ знаетъ какое для нихъ лишеніе; я не могъ выносить, когда они торчали передо мной со всклоченными, растрепанными косами, въ которыхъ рука, казалось, уже инстинктивно отыскивала паразитовъ; я отворачивался отъ нихъ, когда они садились за ѣду и пожирали съ кровью задавленное животное; я убѣгалъ отъ нихъ въ лѣсъ, когда они дико кричали своимъ богамъ, а тѣ, сдѣланные изъ шкуръ, тряпокъ, дерева, сидѣли передъ ними въ темныхъ углахъ ихъ жилищъ и безучастно смотрѣли на нихъ оловянными, свинцовыми глазами съ противно вымазаннымъ саломъ ртомъ и ужасомъ во всей своей фигурѣ.

Эти дикари нашихъ лѣсовъ поражали меня. Я каждый день, поднимаясь все выше и выше по ихъ лѣсной и многоводной рѣкѣ, словно нарочно встрѣчалъ что-нибудь новое, поражающее, дѣйствующее на мои нервы, и хотя бы что-нибудь отрадное, кромѣ видовъ природы, хотя бы что-нибудь веселое въ этой бѣдной жизни дикаря. Даже музыка ихъ, пѣсня и тѣ нагоняли на меня одну тоску, пробуждая только одно участіе къ бѣдной участи этого дикаго человѣка.

Но они не жаловались ни на эти безконечные лѣса, гдѣ они блудятъ, ни на эту рѣку, которая уноситъ столько ихъ силъ своими половодьями, ни на этотъ климатъ Сѣвера, ни на свою вѣчную нужду и голодовки. Все это они выносили, ко всему этому они уже привыкли вѣками, хотя ихъ черты, говоръ, обычаи и говорили о томъ, что ихъ родина гдѣ-то на югѣ, а не въ этихъ лѣсахъ, куда ихъ загнали великія переселенія народовъ еще въ историческія, старыя времена. Они жаловались только на русскихъ казаковъ и купцовъ, они жаловались только на свое ближайшее начальство, они жаловались только на то, что у нихъ отнята самостоятельность и свобода, и жаловались такъ горько, такъ искренно, такъ справедливо, что я, даже рискуя собственной безопасностью, рѣшился вырвать ихъ изъ рукъ купцовъ и вѣчныхъ долговъ и стать въ защиту ихъ отъ ихъ начальства.

Но это слишкомъ дорого мнѣ досталось: меня не разъ подкупали тѣхъ же вогуловъ застрѣлить и отравить мѣстные [illegible]

на меня сыпались доносы мѣстному губернатору со стороны мѣстнаго начальства, въ меня даже стрѣляли... Но я не ушелъ изъ этого края до тѣхъ поръ, пока не сдѣлалъ добраго для вогуловъ.

Мнѣ посчастливилось, иначе я едва ли бы могъ у нихъ сдѣлать многое, потому что борьба въ такихъ краяхъ съ русскими была бы въ концѣ-концовъ все-таки для меня невыносимой. Я открылъ путь съ ихъ рѣки на Печору; мнѣ посчастливилось тогда соединить чрезъ ихъ рѣку Обскій бассейнъ съ Печорскимъ и сдѣлать такое счастливое, какъ я полагалъ тогда, для вогуловъ открытіе, которое разъ навсегда вырывало ихъ изъ рукъ мѣстнаго купечества и ограничивало мѣстное начальство въ томъ, въ чемъ не могли его ограничить ни страхъ отвѣтственности, ни наши законы, ни гласъ справедливости и правды. Я страшно тогда вѣрилъ въ свѣтлую будущность своего открытія и полагалъ, что пароходство, движеніе, новые люди, которые нахлынутъ въ этотъ край благодаря открытію пути между такими двумя громадными водными бассейнами, чрезъ которые открывался даже путь къ европейскимъ рынкамъ изъ Сибири, не только вырвутъ бѣдныхъ дикарей изъ рукъ эксплоатаціи, но и спасутъ, образуютъ, просвѣтятъ ихъ... И когда это открытіе, этотъ путь пріѣхалъ туда взять для эксплоатаціи извѣстный меценатъ Сибири, А. М. Сибиряковъ, я былъ такъ радъ этому, что покинулъ край уже въ полной увѣренности, что этотъ человѣкъ съ его громадными средствами и образованіемъ докончитъ то дѣло, которое я началъ, чтобы поддержать и спасти этихъ несчастныхъ пасынковъ природы.

Еще при мнѣ, въ бытность мою тамъ, туда пріѣхали новые люди; по рѣкѣ вогуловъ зашумѣлъ пароходъ; потянулись баржи съ товарами на Печору и въ Лондонъ; появилось все то, что, казалось, только несло для этого забытаго въ лѣсахъ края одно благополучіе и счастье.

Я покинулъ этой край въ 1886 году и съ тѣхъ поръ о немъ только мелькомъ слышалъ и читалъ изъ газетъ и лестныхъ отзывовъ о дѣятельности тамъ г. Сибирякова.

Читатель пойметъ хорошо теперь мое любопытство, когда я снова заѣхалъ нынѣ въ эту рѣку, чтобы увидать тѣхъ вогуловъ, которыхъ я зналъ почти въ первобытномъ ихъ состояніи. Для насъ, путешественниковъ, это великое счастье. Десять лѣтъ небольшой періодъ въ жизни народовъ, но въ такихъ мѣстахъ, при такихъ

обстоятельствахъ—это цѣлый переворотъ, потому что въ этотъ край нахлынулъ народъ, новая торговля, промышленность, и то, что было прежде недоступно для дикаря, стало обычнымъ, то, что было дорого,—дешевымъ, недорогимъ.

Я съ понятнымъ нетерпѣніемъ ѣхалъ въ эту рѣку вогуловъ, думая, что я ихъ не узнаю.

И дѣйствительно, я не узналъ этихъ добрыхъ дикарей, которые когда-то такъ радушно встрѣчали меня, выбѣгая изъ

Могила крещенаго вогула.

своихъ берестяныхъ шалашей, такъ радушно угощали меня сырой рыбой, такъ ласково смотрѣли на меня, такъ любовно заботились обо мнѣ, когда я садился въ ихъ утлый долбленый челнокъ и пускался по ихъ многоводной рѣкѣ въ дорогу.

Та же знакомая рѣка съ темнымъ лѣсомъ по ея берегамъ, тѣ же виды, картины ея плесовъ съ чудными снѣжными туманными пятнами на горахъ Урала, тѣ же увалы, лѣса съ урманами, тѣ же берестяные шалаши по берегамъ рѣчекъ, по обрывамъ самой рѣки, тѣ же юрты, старые домики, спрятавшіеся въ чащѣ лѣса, тотъ же веселый лай бѣлыхъ собакъ-лаекъ, но—со-

всѣмъ другой народъ, другіе жители, хотя на нихъ почти та же растрепанная старая одежда, хотя ихъ косы такъ же развѣваетъ и теперь вольный вѣтеръ на берегу рѣки, какъ ранѣе. Вотъ они вышли на берегъ, на лай собакъ, которыя имъ возвѣстили, что кто-то пріѣхалъ и присталъ къ ихъ берегу. Они стоятъ, какъ и прежде, толпой, въ ожиданіи, кто выйдетъ изъ лодки.

Но хоть бы одинъ изъ нихъ бросился намъ помочь установить лодку у берега, хотя бы одинъ человѣкъ, какъ прежде, помогъ намъ выйти на берегъ, прибѣжалъ бы съ привѣтомъ, услугой, доброй, раскрытой душой, какъ прежде.

Я выхожу и привѣтствую ихъ:

— «Пайся, пайся...» Но они отвѣчаютъ глухо, какъ-то принужденно, видимо, меня не узнавая. Я не хочу имъ говорить, кто я, я даже радъ этому, чтобы на первый разъ заглянуть въ ихъ жизнь постороннимъ для нихъ человѣкомъ, но меня выдаютъ ямщики, и толпа вогуловъ, моихъ хорошихъ знакомыхъ, вдругъ оживаетъ, но какъ-то неловко, будто виноватая, будто сожалѣя, что ее застали такъ врасплохъ старые знакомые люди.

Ко мнѣ подходятъ мои старые знакомые и протягиваютъ руки, но молодежь, женщины—ни съ мѣста, когда прежде они всѣ бросались къ пріѣзжему человѣку, отъ души радуясь его пріѣзду, жали ему руки и даже цѣловали ихъ, если это былъ чиновникъ, батюшка или просто хорошій, добрый знакомый русскій.

Прежде васъ окружала толпа, заглядывая вамъ въ глаза, разспрашивая васъ, куда вы ѣдете, зачѣмъ, нисколько не стѣсняясь вашимъ присутствіемъ, какъ дѣти, но теперь она уже сторонится васъ, бѣжитъ, не довѣряетъ вашему привѣту, словно напуганная кѣмъ въ эти десять-двѣнадцать лѣтъ новыхъ людей, новаго времени, вліянія, обычаевъ и отношеній...

Я иду за ними въ ихъ шалаши, заглядываю въ каждый, какъ прежде, но нигдѣ уже нѣтъ того привѣта, какой я находилъ повсюду тогда, какой я читалъ въ каждомъ взглядѣ хозяйки, въ каждомъ ея застѣнчивомъ движеніи, заставая ее врасплохъ среди ея обихода.

Вогулки, добрыя, радушныя вогулки, которыя вамъ тащили тотчасъ же, какъ вы только заходили гостемъ въ ихъ шалашъ, рыбы, сушенаго мяса, предлагали чай, стали какими-то недовѣрчивыми, сердитыми; дѣвушки прямо прятались, когда прежде онѣ смѣло кокетничали съ вами; даже дѣти, тѣ рѣзвыя дѣти, которыя постоянно, бывало, вертятся около вашихъ ногъ, засма-

тривая вамъ въ лицо своими пытливыми черными глазенками, и тѣ стали какими-то дичками, сурово посматривая на васъ, заложивъ пальцы въ ротъ, словно что-то обдумывая для васъ невеселое. И только лайки однѣ, бѣлыя рѣзвыя собачки, на которыхъ, видимо, не повліяла наша цивилизація, попрежнему терлись еще около ногъ, то обнюхивая меня, то ласкаясь, подставляя мохнатую, пушистую шею.

Я рѣшительно въ первый разъ не понималъ, откуда такая перемѣна въ характерѣ моихъ старыхъ знакомыхъ вогуловъ; я былъ страшно удивленъ, увидѣвъ въ ихъ шалашахъ ту же бѣдность, какую я видѣлъ десять-четырнадцать лѣтъ тому назадъ, ту же сухую рыбу, которую они тогда ѣли, ту же рваную, грязную, немытую одежду на ихъ смуглыхъ плечахъ, которую они тогда носили, тѣ же растрепанные волосы на головѣ, гдѣ по-старому искала что-то нервно рука и грязные пальцы... Даже шайтаны съ оловянными глазами, барабаны на полкахъ ихъ юртъ, въ которые они бьютъ передъ костромъ своего бѣднаго жилища, сзывая боговъ, даже тѣ не убрала съ мѣста наша цивилизація за эти десять лѣтъ, и тѣ по-старому сидятъ въ ящикахъ, въ углахъ, съ оловянными глазами и намазаннымъ саломъ ртомъ, безучастно смотря, что происходитъ годами передъ ними. Но послѣ, поднимаясь по рѣкѣ вверхъ, день ото дня все ближе и ближе всматриваясь въ ихъ жизнь, я понялъ, гдѣ этому причина.

Въ однѣхъ юртахъ, выше по рѣкѣ, въ самое глухое время, когда туда не заѣзжаетъ ни одинъ русскій торговый человѣкъ съ водкою, я встрѣтилъ цѣлый пауль въ такомъ безобразномъ пьяномъ видѣ, что казалось — туда съ неба свалилась цѣлая бочка водки. Мужчины, женщины, дѣвушки, даже дѣти и тѣ были пьяны; на берегу, куда я вышелъ, чтобы перемѣнить ямщиковъ-гребцовъ, меня обступила пьяная толпа: кто ругался, не зная самъ зачѣмъ, кто лѣзъ цѣловаться, едва видя пріѣзжаго человѣка, кто, шатаясь, еще стоялъ на берегу, едва сдерживая свое пьяное тѣло, и толпа кричала, выла дикими голосами вмѣстѣ съ собаками, и этотъ дикій гулъ такъ и раздавался по лѣсу и водѣ, которые, казалось, замерли, будучи свидѣтелями вмѣстѣ со мной тому, чего они никогда не видали въ старое время.

Я никогда ничего подобнаго не видалъ въ старое время въ этихъ лѣсахъ, что я пережилъ въ этихъ юртахъ въ какіе-нибудь два часа времени.

Гулъ, гамъ, драки, ссоры, тасканіе за волосы, крикъ и плачъ покинутыхъ матерями дѣтей, вой собакъ, открытыя двери юртъ, выбитыя стекла, валяющійся на травѣ народъ, женщины, ползающія по берегу на четверенькахъ, безстыдство дѣвушекъ, грубыя шутки парней, развратъ, русская ругань въ устахъ даже женщинъ и площадная брань мужиковъ, все это такъ поразило меня, что я долго не могъ придти въ себя, даже послѣ того, какъ я оставилъ эти злополучныя юрты.

— Откуда же вы,—спрашиваю ямщиковъ,—достали столько водки? Купецъ, что ли, проѣхалъ?

— Нѣтъ,—говорятъ,—мы сами достали, теперь сами наши торгуютъ и достаютъ водку изъ города.

Я не сталъ больше разспрашивать; дѣло было ясно: они сами теперь дѣлаютъ то, чему ихъ научили понемногу, въ видахъ своихъ барышей, русскіе. И, оказывается, вогулы пьютъ теперь водку не только уже, какъ прежде, изрѣдка, когда тайно, крадучись завозили ее зыряне, а пьютъ уже всегда, когда захотятъ, когда вздумаютъ и отрядятъ для этого человѣка въ городъ или воспользуются проходомъ почты, проѣздомъ десятника изъ волости, чтобы достать себѣ спирту и водки. Нѣкоторые изъ нихъ, побогаче, даже сами занимаются ввозомъ и продажей теперь спирта, и имъ въ этомъ отношеніи уже не нужны ни услуги зырянъ, ни русскихъ, какъ въ старое, при мнѣ, время. И они дѣлаютъ это уже открыто, не боясь ни розги страшнаго въ прежнее время засѣдателя, ни своего духовнаго отца, котораго они такъ уважали прежде, ни просто посторонняго русскаго человѣка.

И пьянство все глубже и глубже входитъ въ ихъ уже и безъ того расшатанную жизнь, унося ихъ послѣднія силы.

На другой день я засталъ въ другихъ юртахъ цѣлое сборище вогуловъ. Эти были трезвые, и не только трезвые, но даже въ такихъ праздничныхъ костюмахъ, что я на первый разъ удивился такой парадной встрѣчѣ. Мужчины въ суконныхъ яркихъ красокъ халатахъ, молодежь въ расшитыхъ гарусомъ рубашкахъ, женщины во всемъ блескѣ своихъ оригинальныхъ нарядовъ съ

бусами и мѣдными украшеніями, кое-кто даже франтилъ русской суконной фуражкой съ лакированнымъ козырькомъ, и среди толпы были даже такіе франты, у которыхъ, вмѣсто прежней одежды изъ налимьей кожи, была на плечахъ русская курточка, жилетъ и даже у нѣкоторыхъ—это уже прогрессъ среди вогуловъ—были

Вогульскій храмъ.

обрѣзаны въ кружокъ волосы, хотя большинство еще сохраняло длинныя косы, обмотанныя въ красные шерстяные шнурки. Рубашки на всѣхъ были ситцевыя, и во всей толпѣ, человѣкъ въ пятьдесятъ, я даже слѣда не нашелъ прежней исподней одежды, которую они искусно сами дѣлали изъ крапивнаго волокна и расшивали довольно красиво разными узорами изъ шерсти и нитокъ.

Я замѣтилъ эту перемѣну; вогулъ сталъ франтить, стремиться походить одеждой на русскаго крестьянина,—это хорошо; но дѣло, для котораго они собрались въ это утро, совсѣмъ далеко было отъ прогресса, и когда я спросилъ ихъ: «что это они такъ разодѣлись», они, нисколько не стѣсняясь меня, отвѣтили, что они сегодня будутъ приносить въ жертву пару оленей своему богу.

Я не вѣрилъ своимъ ушамъ. Еще всего двѣнадцать лѣтъ назадъ, живя среди нихъ цѣлые три года, я едва съ трудомъ могъ уговорить нѣкоторыхъ изъ нихъ, чтобы они мнѣ показали своихъ боговъ и позволили присутствовать на ихъ жертвоприношеніяхъ. Помню, это мнѣ стоило большихъ хлопотъ и угощеній. Я никакъ не могъ нигдѣ уловить ихъ тогда, чтобы замѣтить, что они отправляются на такой праздникъ; они скрывались даже отъ меня, не говоря уже о томъ, что они все это дѣлали въ великомъ секретѣ отъ начальства и «батюшки», а теперь такъ открыто, ясно говорили объ этомъ даже съ приглашеніемъ насъ, проѣзжихъ людей, на свой праздникъ. Это меня поразило.

— Какъ,—спрашиваю,—вы зовете насъ съ вами ѣхать къ вашему шайтану?

— Зовемъ,—смѣются они,—поѣдемъ, посмотри, чего намъ, вѣдь ты насъ не осудишь?

— Какъ же вы раньше боялись звать русскихъ? Помните, какъ вы меня все обманывали?

— То тогда, а теперь другое, намъ что теперь бояться русскихъ, для насъ хоть самъ засѣдатель будь, развѣ онъ намъ запретитъ? Вѣдь мы ничего худого не дѣлаемъ, что молимся своему шайтану?

— Какъ, да вѣдь вы крещеные?

— Крещеные.

— Да развѣ можно шаманить, если вы крестились?

— Да вѣдь вы тоже крещеные, да шаманите съ нами.

— Когда, какъ?—спрашиваю.

— Нѣтъ, не ты, мы не про тебя это говоримъ, про русскихъ.

— Да развѣ они шаманятъ?

— Нѣтъ, шаманить не шаманятъ, а ходятъ съ нами, бываютъ, которые даже вмѣстѣ съ нами пируютъ. Да чего говорить, вотъ и оленей намъ продалъ вашъ же братъ, русскій. Чего намъ васъ бояться, всѣ знаютъ, что мы шаманить ѣдемъ, шаманимъ, и пусть.

Противъ такой откровенности я ничего не могъ уже сказать. Дѣло было ясно,—русскіе свыклись съ шаманствомъ и, пожалуй, ему даже сочувствуютъ, потому что оно выгодно для нихъ, потому что вогулы берутъ у нихъ для этого оленей, быковъ, коровъ, лошадей и, нуждаясь постоянно въ деньгахъ, бѣдствуя, для этого дѣла всегда находятъ средства и даже такія, какія трудно у нихъ предполагать. И заплатить за быка сорокъ, тридцать рублей, за лошадь шестьдесятъ, когда такъ ихъ можно купить за половинную цѣну, они не пожалѣютъ для этой цѣли, и русскіе хорошо это знаютъ и охотно продаютъ на жертвы животныхъ, хотя знаютъ, что ихъ будутъ мучить передъ тѣмъ, какъ заколоть, что бѣдное животное не иначе пропадетъ, какъ истекая кровью, въ страшныхъ, варварскихъ мученіяхъ, задыхаясь.

Мнѣ долго не хотѣлось сначала этому вѣрить, но послѣ, въ селѣ, разговаривая съ ихъ «батюшкой», я узналъ еще больше. Онъ горько жаловался мнѣ, что, дѣйствительно, вогулы стали нынѣ явными идолопоклонниками и не только уже приносятъ жертвы своимъ богамъ въ сторонѣ, но были уже случаи, когда онъ былъ принужденъ обращаться къ начальству, чтобы имъ запретить хоть это дѣлать въ селѣ, вблизи храма, когда дымъ и крикъ животныхъ разносился по селу, когда дикіе крики ихъ, вопли, бой барабана смущали даже привыкшаго ко всему русскаго православнаго человѣка. И теперь, хотя они еще и продолжаютъ приносить жертвы въ селѣ, но уже болѣе скрытно, не такъ явно, словно бравируя передъ христіанствомъ, не такъ явно, безстыдно призывая своихъ боговъ въ виду храма, на глазахъ своего пастыря.

Я былъ нѣсколько разъ въ праздники въ ихъ храмѣ, но мало уже встрѣтилъ тамъ вогуловъ. Они плохо, лѣниво, неохотно посѣщаютъ свой храмъ, въ праздникъ, въ посты ихъ нынѣ собирается самая малость; прежде они слушались и шли, прежде я даже замѣчалъ среди нихъ такую вѣру, которой можно было позавидовать, но нынѣ я ничего подобнаго уже не видалъ, и это подтверждаетъ и само духовенство края.

Пароходство, наплывъ русскихъ, зырянъ, бойкая торговля, масса новаго для вогула, соблазнъ—вызвали въ дикарѣ только жажду къ жизни, а не къ дѣятельности. Ситецъ вмѣсто своего холста изъ волокна крапивы, сукно вмѣсто налимьей кожи, оленины, разнообразныхъ шкуръ; сапоги, бродни вмѣсто оленьихъ

пимовъ и сапогъ изъ той же оленьей шкуры; чай, вино, бѣлый хлѣбъ, когда прежде они обходились почти вовсе безъ хлѣба, употребляя мясо и рыбу, все это потребовало отъ дикаря средствъ и средствъ. Бѣдный край, безсиліе не могли дать этого; дикарь бросился на легкую наживу: обмѣнъ того, что для него самого нужно, необходимо; поднявшіяся цѣны на его продукты отъ прилива лишняго десятка-двухъ торгашей окончательно сбили его съ толку, и онъ оставилъ свою семью голодомъ, безъ одежды, но зато съ водкой, весельемъ и развратомъ. И такъ какъ водный путь, пароходство, собственно говоря, не дали имъ работы, а только одну возможность купить, обмѣнить, продать свой промыселъ, то они только нанесли имъ одинъ убытокъ экономическій, а не пользу, познакомивъ съ тѣмъ, чего они не знали или прежде требовали мало, благодаря отсутствію соблазна необходимости. Широкій кредитъ, открытый торговлей Сибирякова, ихъ окончательно соблазнилъ, и теперь уже они сами не въ состояніи отвыкнуть отъ того, къ чему привыкли, что стало ихъ потребностью жизни, а средствъ все меньше и меньше, между тѣмъ какъ долги вырастаютъ въ громадныя для нихъ цифры. Мнѣ разсказывали, что вогулы одной рѣки Сосьвы уже должны г. Сибирякову не одинъ десятокъ тысячъ рублей, когда все ихъ имущество вмѣстѣ взятое не стоитъ и десяти тысячъ, когда они всѣ, вмѣстѣ взятые, не въ состояніи заплатить своими промыслами и пяти тысячъ въ годъ безъ ущерба для собственнаго своего существованія и хозяйства.

Къ чему такіе долги сдѣлала фирма Сибирякова?—спроситъ меня читатель. На это я и самъ едва ли могу отвѣтить. Объяснить это желаніемъ помочь вогуламъ со стороны такого богатаго мецената трудно, потому что онъ коммерческій человѣкъ, а филантропія съ коммерціей стоятъ на разныхъ дорогахъ; объяснить это желаніемъ вывести изъ края конкуренцію другихъ торговыхъ людей было бы нежелательно, обидно, хотя нѣкоторыя данныя и говорятъ въ пользу послѣдняго предположенія

Сами же вогулы это понимаютъ совсѣмъ иначе: они смотрятъ на г. Сибирякова, какъ на богатаго человѣка; богатый человѣкъ, по ихъ понятію, долженъ кормить ихъ и одѣвать въ долгъ, и они просятъ у него всего этого ежегодно, когда онъ проѣзжаетъ, и, видимо, просятъ такъ, что онъ не въ силахъ имъ отказать, хотя это прямо идетъ въ разрѣзъ съ его коммерческими взглядами. И такъ какъ вогулы не платятъ и десятой части своихъ долговъ, то

онъ волей-неволей долженъ поднять цѣны на свои товары, тѣмъ болѣе, что этому некому препятствовать, потому что конкуренціи въ краѣ нѣтъ, она выжита, торговля сосредоточена въ однѣхъ его рукахъ, и вогулъ все равно будетъ брать и дорогой товаръ за отсутствіемъ другой торговли.

Цѣны, дѣйствительно, подняты такъ, какъ я и не ожидалъ, даже больше того, что, бывало, меня такъ возмущало прежде въ рукахъ мелкихъ мѣстныхъ березовскихъ торгашей. Достаточно сказать, что тамъ мука г. Сибирякова нынѣ продается по 70—80 копеекъ за пудъ, когда она рядомъ, въ городѣ Березовѣ, всего въ нѣсколькихъ стахъ верстахъ воднаго пути, даже на той же рѣкѣ Сосьвѣ, продается по 40—50 к. Подобная же дороговизна и во всемъ другомъ, что привозятъ пароходы Сибирякова.

Такая дороговизна, разумѣется, еще больше губить вогуловъ: того, что они достаютъ изъ своихъ рѣкъ, озеръ, того, что они добываютъ въ своихъ лѣсахъ, не хватаетъ для уплаты обмѣна, и дикарь долженъ или пускаться на какія-нибудь хитрости, или задолживаться съ тѣмъ, чтобы никогда не уплатить, или же уже оставаться безъ того, къ чему онъ уже имѣетъ теперь привычку и пристрастіе. И я нисколько не удивился тому, что мнѣ говорили въ этомъ краѣ, что вогулы стали изъ честныхъ должниковъ теперь явными мошенниками, что ихъ обмѣнъ уже сталъ знать плутовство, что они уже и воры, что ихъ юрты уже нынѣ запираются на замки, когда прежде онѣ оставались безъ своихъ хозяевъ все лѣто незапертыми, и что даже и замки, и тѣ не удерживаютъ любителей легкой наживы, и что воровство въ краѣ стало такимъ же обыкновеннымъ дѣломъ, какъ мошенничество и пьянство.

Теперь уже вогулъ не помогаетъ вогулу въ нуждѣ, а обираетъ его; теперь уже состоятельные изъ нихъ обобраны должниками; теперь уже сами ихъ шайтаны, у которыхъ прежде сосредоточивались большія суммы серебра и цѣнныхъ мѣховъ, которыми они заимствовались, обкрадены самими же вогулами, и старики ихъ, говоря объ этомъ мнѣ, только безнадежно машутъ на новое поколѣніе рукой и покачиваютъ головами, сожалѣя еще такъ свѣжее прошлое.

Все испортила легкая нажива, все испортилъ старое, доброе наплывъ новыхъ людей и товаровъ, жадность купцовъ къ легкой наживѣ, торговля, водка, развратъ; новая жизнь не дала дѣя-

тельности, а только усилила потребность, вызвала страсти, и эти страсти дикаря его губятъ и отнимаютъ у него послѣднее, что есть въ природѣ.

И мои радужныя надежды, что водный путь дастъ моимъ вогуламъ заработокъ, прекрасный сбытъ ихъ товаровъ, что промыселъ вырветъ ихъ изъ рукъ нужды и кулаковъ, внесетъ въ ихъ жизнь лучшее, что они просвѣтятся отъ вліянія русскихъ пришельцевъ, обновятъ, улучшатъ свою жизнь, обрусѣютъ, познакомятся съ осѣдлой жизнью, перейдутъ къ ней, смотря на русскихъ, будутъ христіанами,—только были, читатель, пустыми, напрасными мечтами. Жизнь, обстоятельства, дѣйствительность этого ничего не дали для дикарей, и, словно нарочно, результаты получились совсѣмъ противоположные.

Даже хлѣбъ, хлѣбъ, первая насущная потребность вогула, который такъ былъ дорогъ въ прежнее время, что вогулы при мнѣ сидѣли каждую весну голодомъ, даже онъ сталъ дороже теперь, несмотря на водный путь, на то, что мимо нихъ его двигаютъ на Печору, за границу десятки и сотни тысячъ пудовъ, несмотря на его дешевизну въ Сибири, дешевизну его доставки, сталъ для нихъ дороже, чѣмъ тогда и теперь для другихъ по Оби, для другихъ жителей того же Березовскаго края.

Но это уже дѣло коммерціи, и князь Голицынъ, архангельскій губернаторъ, говоря о новомъ предпріятіи г. Сибирякова въ 1889 году на Печорѣ, оказывается, былъ совершенно правъ, относясь къ нему такъ осторожно при обсужденіи мѣстныхъ нуждъ своей губерніи, что написалъ въ своемъ «Обозрѣніи Архангельской губерніи» такія слова, которыя, помню, меня тогда обидѣли за г. Сибирякова, что «Сибиряковъ человѣкъ коммерческій, да и самая торговля не филантропическая затѣя; легко можетъ случиться, что, вытѣснивъ окончательно чердынцевъ, все населеніе края окажется всецѣло въ полной зависимости отъ Сибирякова или же его приказчиковъ...»

Онъ былъ правъ. Печора, говорятъ, въ такихъ же условіяхъ относительно торговли, какъ и эта страна вогуловъ, но тамъ громадная разница сравнительно съ р. Сосьвой. Тамъ русское населеніе, которое можетъ работать, найдетъ средства, не такъ поддастся стремленію къ легкой наживѣ посредствомъ развращенія дикаря, а здѣсь дикарь безъ заработка, кромѣ своего родного лѣса, который его кормитъ, безъ защиты, безъ средствъ для борьбы со страстями и пороками, дикарь безъ воли, безъ силъ,

нищій, который невольно долженъ становиться плутомъ, мошенникомъ, чтобы имѣть то, къ чему его пріучили: чтобы пить чай, носить ситецъ, пить водку, держать табакъ и прочее, и для него новыя условія жизни, весь этотъ наплывъ русскихъ, вся эта новая торговля, самый водный путь—только—страшно сказать—средства затянуть ему послѣднюю петлю, стереть его поскорѣй съ лица земли, какъ ненужное, старое племя.

Еще одна новость была для меня въ этомъ несчастномъ краѣ.

Въ каждыхъ юртахъ, въ каждомъ случаѣ, когда я встрѣчалъ передъ собой толпу вогуловъ въ этотъ разъ, мнѣ бросалось въ глаза, что среди нея есть что-то новое, словно ей чуждое. Я не могъ сначала уловить, объяснить этого и только послѣ догадался. Среди вогуловъ появились русскіе лица, глаза, манеры, волосы, все то, что насъ такъ рѣзко отличаетъ отъ ихъ расы. Это была для меня новость, и только ею я могъ объяснить, почему такъ смущались при видѣ меня женщины и торопливо скрывались дѣвушки, словно убѣгая отъ русскаго человѣка.

Это, вѣроятно, то обрусѣніе и есть, котораго я такъ жадно искалъ черезъ десять лѣтъ въ вогулѣ отъ сосѣдства русскихъ.

Да, это обрусѣніе, но какъ оно жалко. Мнѣ ничего не было невыносимѣе, тяжелѣе въ этомъ краѣ видѣть, какъ русскую кровь, лицо, глаза, русые волосы въ грязной одеждѣ, мнѣ ничего не было тяжелѣе видѣть, какъ русскую плоть, какъ ее ѣли, немилосердно ѣли паразиты, и я убѣгалъ, уходилъ прочь отъ этихъ несчастныхъ, гналъ ихъ изъ моей памяти, чтобы не видѣть того сложившагося уже подъ вліяніемъ чуждой обстановки страдальческаго выраженія, которое словно просило ихъ вырвать изъ этой страшной среды кровнаго русскаго человѣка!

Вотъ вамъ, читатель, результаты того, что я встрѣтилъ на этой рѣкѣ черезъ 10 лѣтъ. Скажите, виноватъ я, что я желалъ этимъ дикарямъ только одного добра; скажите, виноватъ я, что я увлекался, предвидя совсѣмъ не то, что принесетъ мое открытіе пути черезъ этотъ край изъ Сибири въ Европу?

Что же теперь дѣлать? Опять бороться? Опять выступать въ защиту дикаря?

Кажется, что да; только теперь надо его защищать отъ цивилизаціи, какъ это ни грустно и горько.

ИЗЪ ЖИЗНИ ВОГУЛОВЪ.

(Вогульскій театръ).

У вогуловъ тоже есть и представленія, и свои любители-актеры.

Но такъ какъ вогулъ гораздо меньше, чѣмъ мы, занимается личностью, страстями ея, волненіями, ея жизнью, а больше всего жизнью окружающей его, знакомой, любимой природы, съ звѣрями, птицами, въ которой дѣйствительно больше прелести и очаровательности, чѣмъ въ людяхъ, то онъ представляетъ только ее, характеръ звѣрей, ихъ уловки, хитрости, страхъ, ужасъ, борьбу и смерть, смерть болѣе геройскую, болѣе хватающую за сердце, чѣмъ даже у людей...

Почему онъ не представляетъ человѣка, его жизнь, я не могу сказать. Быть можетъ, потому, что человѣкъ для него не интересенъ, такъ какъ вогулъ не выдѣляется изъ бездны себѣ подобныхъ; быть можетъ, потому, что онъ одинаково въ ней и справедливъ, и честенъ, одинаково, какъ другіе вогулы, простъ и наивенъ, одинаково, какъ другіе, любитъ, страдаетъ, ненавидитъ, живетъ, потому что у него нѣтъ героевъ, потому что жизнь его ровна, и если что даетъ ей интересъ, то только природа: ее онъ знаетъ и любитъ, и о ней поетъ въ своихъ импровизаціяхъ каждый разъ, когда онъ остается съ ней лицомъ къ лицу.

Съ другой стороны, быть можетъ, онъ поступаетъ такъ потому, что онъ еще дитя и, какъ они, тоже любитъ только звѣрей, природу и ея обстановку.

Но каждый разъ, когда мнѣ приходилось видѣть ихъ представленія, живя, путешествуя среди нихъ, они меня такъ трогали, такъ наглядно представляли жизнь природы воображенію при самой жалкой сценической обстановкѣ, что я, повѣрьте, выносилъ такія впечатлѣнія изъ нихъ, какъ послѣ любого представленія нашихъ сценъ... И, любуясь ими, мнѣ каждый разъ приходило на мысль, почему мы не устраиваемъ для дѣтей такихъ сценъ, гдѣ бы фигурировали, положимъ, только одни звѣри и птицы, одна только природа.

Я разскажу вамъ, читатель, про одно такое представленіе вогуловъ, которое я видѣлъ въ бѣдныхъ юртахъ на рѣкѣ Кондѣ четыре года тому назадъ.

Это было какъ разъ въ первый день Пасхи.

Такіе дни всего тяжелѣе встрѣчать вдали отъ родныхъ, почему мы съ спутникомъ были очень рады, когда въ нашу маленькую юрточку въ лѣсу, гдѣ мы жили, набралось много вогуловъ, почти всѣ жители Оронтуръ-пауля, въ которомъ, впрочемъ, во всемъ-то было только четыре дома.

Они, разумѣется, пришли насъ поздравить, такъ какъ еще ночью слышали, какъ мы, встрѣчая праздникъ, стрѣляли изъ штуцеровъ, эхо отъ которыхъ гудѣло, отдаваясь на тысячи ладовъ въ сосновомъ безконечномъ лѣсу за озеромъ.

Мы были имъ рады и особенно нѣкоторымъ изъ нихъ, которые чаще другихъ заходили къ намъ въ юрту, то сообщая новости про пролетъ птицъ, то разсказывая про свою немудрую, но интересную жизнь.

Между ними самыми интересными нашими собесѣдниками были мой проводникъ, молодой, ловкій вогулъ, и слѣпой старикъ-музыкантъ, нашъ постоянный разсказчикъ былинъ, сказокъ и жизни вогуловъ. Это были самые желанные наши гости во всякое время. И стоило только имъ показаться у насъ въ юртѣ, какъ ставился самоваръ, вынималась бутылка водки, все лакомое, и запирались двери на крючокъ, чтобы кто-нибудь не пришелъ и не помѣшалъ нашимъ разговорамъ и записямъ.

Молодой вогулъ еще стѣснялся и боялся бумаги, но слѣпой старикъ — тотъ не видѣлъ ея и, разсказывая, былъ настолько спокоенъ, такъ оригиналенъ, что порой мы не знали: записывать ли то, что онъ говоритъ, или снимать съ него фотографію, когда онъ сидѣлъ передъ нами на полу, разставивъ босыя ноги и приподнявъ свою лысую, сѣдую голову къ свѣту окна, съ за-

крытыми глазами, погрузившись весь въ воспоминанія и разсказъ.

Мы угостили ихъ чаемъ и водкой; наши гости развязали языки и распахнули души; въ юртѣ стало весело и оживленно; послышались крикливые голоса; завязались разговоры; старикъ-музыкантъ впалъ въ музыкальное настроеніе и замурлыкалъ пѣсню, но всего этого было мало; настроеніе требовало чего-то новаго, сильнаго, захватывающаго, и вогулы рѣшили дать намъ представленіе въ нашей юртѣ.

Это вызвало всеобщій восторгъ, а дѣти и женщины даже готовы были выразить свою радость криками и визгомъ, если бы только немного не стѣснялись нашимъ присутствіемъ.

Тотчасъ же со всѣхъ ногъ ребятишки бросились по юртамъ собирать атрибуты представленія и черезъ минуту-двѣ въ юрту уже натащили и вывороченныя шубы, и охотничій костюмъ, и стрѣлы, и ружья, и лыжи, и громадный вогульскій лукъ съ натянутой тетивой.

Ребятишки наперерывъ предлагали свои услуги разыгрывать роль оленей; нашъ проводникъ, оказавшійся актеромъ, взялъ себѣ роль стрѣлка и охотника, старикъ — музыканта, и черезъ какіе-нибудь полчаса роли были уже разобраны; объявлено было, что будутъ играть охоту на оленей; сцену очистили отъ сидящихъ; публика помѣстилась по стѣнамъ и кроватямъ; ребятишки забились на плечи взрослымъ—и представленіе началось.

Пара ребятъ-подростковъ, одѣтые въ вывороченныя оленьи шубы, одинъ больше, другой меньше, изображали собой оленей, самку съ дѣтенышемъ. Нашъ проводникъ, одѣтый въ полный охотничій костюмъ съ запекшейся кровью на немъ, въ охотничьихъ пимахъ съ лыжами, въ старой шапкѣ, которая придавала ему такъ много оригинальнаго, въ позѣ страстнаго охотника былъ такъ хорошъ, что его выходъ на сцену изъ другой комнатки былъ встрѣченъ шумомъ одобреній. Но онъ ихъ не замѣчаетъ, онъ уже въ лѣсу, одинъ среди торжественной, дикой природы, съ озабоченнымъ, но восторженнымъ лицомъ, весь какъ-то съежившись, притихнувъ, весь уже отдавшійся тому впечатлѣнію, которое нагоняетъ на васъ лѣсъ, когда вы въ немъ одни, когда онъ уже захватилъ все ваше существо своей мертвой тишиной и таинственностью. Онъ не говоритъ, онъ не дѣлаетъ жестовъ, но вы это видите на его выразительномъ те-

перь, широкоскуломъ, смугломъ лицѣ, въ его глазахъ, во всѣхъ его движеніяхъ, въ томъ, какъ онъ склонился и пробирается по лѣсу, отстраняя порой сучья деревъ, проглядывая между ихъ стволами, прислушиваясь къ шуму вершинъ, поправляя постоянно свой лукъ, который у него за спиной съ колчаномъ, привязаннымъ у поясницы. Публика не сводитъ съ него глазъ и молчитъ, затихла. Она не смѣетъ проронить ни одного его

Вогульская молодежь.

характернаго, что-то подсказывающаго ей, движенія и жеста и только порой выражаетъ вслухъ свои мысли, угадывая то, что творится въ его душѣ, что онъ ищетъ, какъ онъ идетъ, зачѣмъ онъ смотритъ вверхъ, гдѣ шумятъ однѣ вершины сосенъ...

Эта картина была чудесна. Она сразу завладѣла нашимъ вниманіемъ, и мы уже больше ничѣмъ не отвлекались. Старикъ наигрывалъ какую-то грустную мелодію изъ своего репертуара. У него въ рукахъ былъ его музыкальный инструментъ — «лебедь»; отъ шеи его, сдѣланной искусно изъ дерева, были протянуты мѣдныя струны къ сложеннымъ крыльямъ. «Лебедь» былъ сдѣланъ грубо, но онъ былъ пустой; металлическіе звуки

этого несложнаго инструмента давали звуки нашихъ старинныхъ гуслей и какъ нельзя болѣе передавали въ мелодіи не то гулъ вершинъ, не то тотъ тихій, ропщущій въ лѣсу вѣтеръ, которымъ мы такъ любимъ заслушиваться, бывая въ лѣсу.

Актеръ обходитъ нѣсколько разъ нашу сцену. Ему тѣсно въ ней, неудобно, но это для него ничего, онъ далъ уже воображенію толчокъ, и зрители не сводятъ съ него глазъ, ихъ фантазія дорисовываетъ лѣсъ, его обстановку, то, что намъ не могутъ дать наши декораціи...

Но вотъ онъ наклоняется и всматривается въ снѣгъ и видитъ слѣдъ звѣря. Вся его фигура оживаетъ и дышитъ одной страстью. Онъ нашелъ слѣдъ оленя, онъ въ восторгѣ, онъ ощупываетъ его, онъ старается узнать, когда тутъ пробѣжалъ звѣрь, и задумывается. На его лицѣ мы видимъ думы, расчеты. Онъ слѣдитъ слѣдъ по самымъ ничтожнѣйшимъ признакамъ: по обломленной вѣткѣ, по сбитой корѣ ствола, по твердости примятаго снѣга, и, рѣшивъ, что звѣрь недалеко, онъ живо скидываетъ съ себя лукъ, поправляетъ одежду и быстро-быстро пускается въ путь, катясь на лыжахъ уже безъ всякой осторожности, безъ всякаго страха тишины лѣсовъ и обитающихъ въ нихъ шайтановъ... Теперь онъ весь одно движеніе и страсть, теперь онъ забываетъ все на свѣтѣ, и мы только видимъ его скользящую фигуру, которая, почти стоя на одномъ мѣстѣ, однако такъ наглядно, хорошо, ловко даетъ намъ понятіе, какъ онъ бѣжитъ, отклоняется отъ вѣтвей деревьевъ, скользитъ между ними, выслѣживая слѣдъ, что намъ это понятно безъ словъ...

Зрители замираютъ. Музыка сама собой теряется и замираетъ послѣднимъ аккордомъ. На сцену выходитъ изъ другой комнаты пара оленей — ребятишки на четверенькахъ. У одного, играющаго роль самки, приставлены рога, у другого, поменьше, дѣтеныша,—маленькіе черные рожки. Они пасутся, мирно пасутся, не подозрѣвая опасности. Мать достаетъ копытомъ изъподъ толстаго снѣга бѣлый мохъ и порой прислушивается; дѣтенышъ, со свойственной ему безпечностью, бродитъ и играетъ около, и, при взглядѣ на нихъ, въ зрителѣ невольно пробуждается жалость къ этимъ животнымъ, миловидность которыхъ совсѣмъ не вяжется съ костюмомъ актеровъ. Въ публикѣ раздаются возгласы сожалѣнія и вздохи женщинъ. Мужчины, болѣе выносливые для сценъ, объясняютъ шопотомъ, что дѣлаютъ

звѣри, и уже сами невольно начинаютъ играть роль охотника съ пробудившейся страстью. Проходитъ нѣсколько томительныхъ минутъ ожиданія. Охотникъ убѣждается, что звѣрь близко, принимаетъ мѣры осторожности, осматриваетъ кончикъ стрѣлы и тетиву лука. Его глаза горятъ, онъ хочетъ крови. Еще нѣсколько шаговъ осторожныхъ подкрадываній, и онъ замѣчаетъ звѣря... Публика ахаетъ и жмется... какъ вдругъ у него загорѣлся глазъ и задрожали руки отъ страсти. Проходитъ минута

Жертва шайтану вогула.

раздумья. Онъ пробуетъ, бросая снѣгъ, откуда вѣетъ вѣтеръ, соображаетъ, какъ подойти изъ-за вѣтра, обходитъ звѣря, ползетъ. Самка, до сихъ поръ не замѣчающая опасности, становится безпокойной и къ чему-то прислушивается, поднявъ голову съ рогами. Дѣтеныш перестаетъ играть и прижимается въ испугѣ, чувствуя бѣду, къ боку матери. Что-то тревожное пробѣгаетъ, словно въ лѣсу, и на сценѣ, и на лицахъ зрителей...

Еще одна-двѣ минуты — и стрѣла запоетъ въ воздухѣ. Охотникъ уже поднимаетъ лукъ. Какъ вдругъ въ комнатѣ мы слышимъ тревожный трескъ знакомой всѣмъ маленькой лѣсной сѣренькой птички, трескъ, настолько похожій, настолько естественный, что

даже мы вздрогнули отъ него, припомнивъ такія же тихія, таинственныя минуты въ лѣсу, когда невѣдомо откуда надъ вами появляется эта птичка и начинаетъ назойливо, пискливо трещать, преслѣдуя васъ шагъ за шагомъ.

Я взглянулъ, — это пищалъ въ руку, выдѣлывая что-то языкомъ, старый вогулъ, играющій роль невидимой птички.

Стрѣлокъ вздрогнулъ и опустилъ лукъ. Олени тревожно подняли головы по направленію къ нему и затихли всекунду. Потомъ, убѣдившись въ опасности, о которой предупреждала ихъ птичка — покровительница звѣрей и ненавистница людей, нарушающихъ покой лѣсовъ и природы, — они лихо вскинули на спины свои рога и ускакали изъ вида въ другую комнату.

Стрѣлокъ остался одинъ съ опущеннымъ лукомъ въ досадѣ, а надъ нимъ все потрескивала, но уже болѣе спокойная за участь оленей, птичка. Онъ, казалось, не зналъ, что дѣлать... На его лицѣ выраженіе досады и страха... Вогулы шепчутъ, что это ему устроили шайтаны такой сюрпризъ. Онъ задумывается. Потомъ подходитъ къ дереву и вырѣзываетъ на немъ подобіе фигуры человѣка съ громаднымъ носомъ, надъ которымъ прыскаютъ отъ смѣха ребятишки и женщины. Это онъ устраиваетъ изображеніе шайтана, чтобы ему поклониться. Потомъ онъ выдергиваетъ изъ одежды щепоть шерсти и прикрѣпляетъ ее, какъ единственную свою жертву, къ стволу дерева подъ изображеніемъ. Птичка умолкаетъ. Въ лѣсу наступаетъ тишина. Охотникъ веселѣе, и снова отправляется въ лѣсъ по слѣдамъ звѣрей на лыжахъ, бѣгая мимо насъ по комнатѣ. Теперь онъ чему-то радъ, теперь у него что-то другое въ мысляхъ; онъ весело окидываетъ взоромъ окружающій лѣсъ, его лицо разгорѣлось, и порой, когда онъ наклоняется и осматриваетъ слѣдъ оленей, оно такъ сіяетъ надеждой, что зрители снова падаютъ духомъ, предчувствуя бѣду для бѣдныхъ животныхъ, не зная еще, чѣмъ хочетъ взять охотникъ.

Но дѣло скоро объясняется просто: олени пошли тише, дѣтенышъ устаетъ, снѣгъ глубокъ для него, чтобы бѣжать долго. На сценѣ снова появляются изъ другой комнаты олени; дѣтенышъ едва дышитъ, мать его въ тревогѣ, и они безпомощно останавливаются среди комнаты, уже предчувствуя, что за ними крадется охотникъ. Вдругъ самка вздрагиваетъ и дѣлаетъ два шага. Публика замираетъ. Она услышала охотника, который неосторожно ступилъ на вѣтку, но она не можетъ бѣжать и

почему его тамъ можно чаще встрѣтить, вотъ почему онъ больше рыболовъ, чѣмъ охотникъ; но рыба не можетъ ему дать многое, она можетъ его только обезпечить пищей, не дать ему умереть съ голоду. Она могла бы его сдѣлать даже совсѣмъ, какъ въ прежнее время, обезпеченнымъ, но тутъ есть много причинъ, которыя даже при избыткѣ рыбы оставляютъ его голодомъ, въ вѣчной нищетѣ, безсильнымъ противъ природы, съ

Глухой лѣсъ у рѣки Конды.

пустымъ желудкомъ, слабымъ, жалкимъ пасынкомъ этой природы...

И мнѣ кажется, стань я на его мѣсто, будь я вогуломъ, живи я въ его грязной, бѣдной, темной, съ однимъ ледянымъ, брюшиннымъ окошечкомъ въ лѣсъ юрточкѣ, ходи я вѣчно по этому мертвому лѣсу, мерзни я вѣчно на водѣ въ долбленомъ челнокѣ, таскайся по ловушкамъ, подбирая протухлыхъ тетерей, вари я съ глазами ободранныхъ бѣлокъ въ котлѣ, ѣшь я только рыбу и мясо и слушай только вой лѣса, право, кажется, я тоже былъ бы такимъ вялымъ, безжизненнымъ, съ задавленной чѣмъ-то душой, словно неудачей, съ опущенными руками, безъ силъ, безъ порывовъ, безъ всего того, что двигаетъ человѣка,

По улицѣ бродили, что-то разыскивая, олени, перебѣгали тощія собаки, вынюхивая подъ каждымъ угломъ, шли къ волости, размахивая руками, два вогула съ женщиной позади, у которой былъ на рукахъ завернутъ въ шкуру ребенокъ, и на заплотѣ сидѣла ворона, словно тоже созерцавшая, какъ и я, жизнь улицы этого вогульскаго центра.

И это село, маленькое, затерянное въ непроходимой тайгѣ, раскинувшейся на тысячу верстъ, было центромъ жизни, администраціи всего вогульскаго края, одинъ конецъ котораго уперся въ Уралъ, другой въ рѣку Обь, а два другіе затерялись гдѣ-то въ лѣсахъ и болотахъ безъ границъ, слившись съ другимъ подобнымъ краемъ этого Сѣвера, гдѣ живутъ, какъ и здѣсь, такіе же дикари-инородцы.

Въ этомъ центрѣ сидитъ писарь, сидитъ вѣчно-пьяный старшина-вогулъ, лежитъ хлѣбъ на случай голода, порохъ, свинецъ на случай нужды промышленника, и живетъ «батюшка» на случай требы и еще фельдшеръ, котораго рѣдко когда видали дикари въ своихъ юртахъ.

Это была администрація, а жизнь, самая жизнь съ ея безысходной нуждой для этого забытаго Богомъ края заключалась въ тѣхъ трехъ-двухъ домахъ съ крашеными крышами, въ которые больше всего тащился въ нуждѣ бѣднякъ-вогулъ, неся туда свой промыселъ: бѣлку, рыбу, соболя, рябца; гдѣ совершались, невидимо ни для кого и какъ, обмѣны, записывался долгъ, нанимались вогулы въ работу и выходили невеселые, съ понурой головой, заворачивая оленей съ какимъ-нибудь мѣшкомъ муки, фунтомъ пороху и чаю, направляясь въ свою непроходимую тайгу, въ родной пауль... И эти дома больше значили, чѣмъ волость, храмъ, магазинъ, фельдшеръ, потому что безъ нихъ нельзя было дохнуть, нельзя было вырваться на свободу, продать что-либо на сторону, наняться къ кому-нибудь другому въ работу и даже, порой, быть свободнымъ у себя въ своемъ промыслѣ...

И все это дѣлалъ мѣдный грошъ, какимъ-то чудомъ превратившійся въ рубли, затѣмъ въ сотни и тысячи.

Днемъ меня посѣтили торговцы, жалуясь, что жить совсѣмъ стало тяжело въ краѣ, что вогулъ совсѣмъ облѣнился, начальство разыгрываетъ роль добродѣтели; послѣ нихъ пришелъ озабоченный писарь, тревожно поджидающій гостя изъ города съ выставленными уже давно винами и закусками для засѣдателя;

потомъ забѣжалъ беззаботный дьячокъ съ косичкой, какого еще можно найти въ такихъ только краяхъ отъ стараго времени; потомъ заглянулъ на минутку фельдшеръ, заботливо справившись, нѣтъ ли въ моемъ краю оспы,—и день прошелъ.

Вечеромъ я пошелъ сдѣлать визитъ батюшкѣ.

Одинокій, сѣденькій старичокъ-священникъ живетъ въ небольшомъ казенномъ домѣ: въ комнатахъ пусто, холодно, неуютно, то недостаетъ стула, то не хватаетъ стола, всюду убожество, но все это выкупаетъ постоянная веселость батюшки, его доброе, смѣющееся лицо, беззаботный видъ, словно онъ живетъ тутъ только на короткое время, словно его не касается ничто ни въ этомъ краю, ни въ этой инородческой жизни.

Онъ живетъ совсѣмъ одинъ, и не будь тутъ подъ бокомъ духовной сироты, вдовы-просвирни, для него некому бы было истопить печь, некому бы было приготовить ухи, согрѣть самоваръ.

Да и едва ли все это для него особенно что-нибудь значило, потому что онъ питался только одной закуской, а согрѣвался рюмочкой, хотя и ту порой было съ трудомъ достать въ этомъ глухомъ краю...

А онъ любитъ эту рюмочку, хотя въ то же время и жалуется на нее, что она загубила его. И, выпивши, въ немъ вдругъ просыпается сознаніе загубленной жизни, потраченнаго даромъ времени, силъ, здоровья, и воспоминанія одно за другимъ встаютъ передъ нимъ, и онъ, не стѣсняясь, передаетъ ихъ, словно обрадовавшись, свѣжему человѣку, который его слушаетъ, съ кѣмъ можно отвести хотя немного душу... И сколько горькихъ истинъ выливается тогда изъ его души о бѣдной участи необезпеченнаго духовенства, сколько жалости о жалкой его роли въ просвѣщеніи дикарей, просвѣщать которыхъ посылаютъ, напримѣръ, его, бѣднаго, одинокаго, нищаго, забытаго старика, чтобы онъ взялъ на себя великое дѣло любви, какъ подвижникъ, чтобы онъ влилъ въ душу дикаря лучъ надежды, сознаніе своего бытія, понятіе о Богѣ, когда его самого лишили всего, даже права, надежды когда-нибудь выбраться изъ этого забытаго края, чтобы покойно умереть на родинѣ...

А между тѣмъ еще недавно онъ былъ другимъ совсѣмъ человѣкомъ.

Онъ жилъ въ хорошемъ, хлѣбномъ селѣ родной епархіи, у него была семья, жена, дѣти, хозяйство, но затѣмъ Богъ прогнѣвался, наступилъ черный годъ, дѣти умерли, жена послѣдовала за ними, хозяйство пошатнулось, и, чтобы не видѣть больше стараго мѣста, свѣжихъ могилъ, онъ перевелся въ другое. Потомъ затосковалъ, хотѣлъ было идти въ монашествующую братію, былъ уже въ монастырѣ, но тамъ нашли сомнѣнія; потомъ поступалъ въ миссіонеры, но тамъ не вынесъ тяжести труда; затѣмъ снова попалъ въ родную епархію на мѣсто; опустился, запилъ, долго терпѣли, но разъ, ходя съ Богоматерью, согрѣшилъ, христосуясь съ молодой бабой; прихожане зашумѣли, онъ поругался съ ними и кончилъ тѣмъ, что сталъ продолжать служить молебны не въ избахъ, а у оконъ, посылая туда только псаломщика обирать яйца...

Разумѣется, на него донесли, и не успѣлъ онъ проспаться съ похмелья послѣ Пасхи, какъ новый архіерей потребовалъ его къ себѣ въ городъ.

— Дѣваться,—говоритъ батюшка,—было некуда. Продалъ я ссыпную рожь, захватилъ выручку за Пасху и поѣхалъ въ городъ; можетъ быть, думаю, какъ и откуплюсь отъ консисторіи... Пріѣхалъ въ городъ, остановился у знакомой вдовы и отправился наперво посовѣтоваться къ знакомому дьякону, — однокурсниками въ бурсѣ были. Разсказалъ ему по душѣ, какъ было дѣло на Пасхѣ, тотъ только головой покачалъ. Однако выпили вмѣстѣ изрядно... На другой день почистилъ я люстриновую ряску, помазалъ голову елеемъ, помолился и пошелъ къ архіерейскому дому.

«Пришелъ я, — говоритъ батюшка, — въ ограду — никого не видно. Посовался около архіерейскаго крыльца, даже души не слыхать, совсѣмъ монастырь. Перекрестился, поднялся на лѣстницу, даже духъ замеръ, однако храбрости хватило, откашлялся и потянулъ за зеленый шнурокъ... Слышу: зинь-зинь-зинь, брякнулъ тихонько колокольчикъ, у меня даже ноги подкосились... Но, слышу, никто не отворяетъ. Постоялъ я еще минутъ пять, отдохнулъ, набрался храбрости и потянулъ еще... Слышу, кто-то подходитъ, отворяетъ съ крючка, я снялъ поскорѣе шляпу, высунулась ко мнѣ старческая голова въ шапочкѣ и спрашиваетъ: «Кого, отецъ, надо?»

«— Преосвященнаго владыку, — говорю ему, — отецъ, нужно видѣть по дѣлу...»

«— Проходите» — говоритъ онъ мнѣ, самъ посторонился, пропустилъ меня, смотритъ, а у самого полотенце черезъ плечо перекинуто, цвѣты поливаетъ...

«— Ты, батько, откуда будешь?» — спрашиваетъ.

«— Я—говорю — изъ Замараевки, отче».

«— Переводу просить пріѣхалъ?»

«— Какое, — ему говорю, — переводу, надо и съ этого мѣста не прогнали...»

«— А что, развѣ согрѣшилъ малость?» — спрашиваетъ, а самъ такъ смѣется тихонько...

«— Согрѣшилъ,—говорю ему,—отецъ». Вижу, что старецъ — Божій простякъ, и разсказалъ ему все по порядку, какъ съ бабой христосовался на Пасхѣ, какъ молебны служилъ подъ окнами; слушаетъ онъ меня, губы ужалъ, головой покачиваетъ, сокрушается...

«— Ну, — говоритъ, — будетъ тебѣ отъ архіерея мойка за это, только не робѣй, правду говори, правду онъ любитъ, и хотя вспылитъ порой, но добрый, авось и проститъ...»

«— Вотъ посиди здѣсь, одумайся, что говорить, а я какъ услышу, что онъ встаетъ,—теперь онъ почиваетъ послѣ обѣдни,— такъ я ему и доложу, что попъ изъ Замараевки пріѣхалъ». Я ему за это чуть въ ноги не повалился, такъ онъ меня обнадежилъ. Ну, думаю, если проститъ, если дѣло кончится только монастыремъ, то вотъ тебѣ святая Пятница—больше вина капли въ ротъ не возьму... И больно понравился мнѣ этотъ старецъ Божій, ходитъ отъ цвѣточка къ цвѣточку, поливаетъ, гдѣ листочекъ отстригнетъ, гдѣ цвѣточекъ выправитъ, а самъ все меня выспрашиваетъ. Я ему все разсказалъ: какъ и сосѣдніе попы живутъ, какъ и благочинный нашего брата тамъ перебираетъ, какъ и другое чиноначаліе въ гости завертываетъ, и вздумай я ему трешницу дать, больно уже мнѣ онъ поглянулся...»

«— Что ты, — говоритъ, — выдумалъ, да развѣ пристало монаху взятки принимать?» Обидѣлся даже... А я къ нему присталъ, примите молъ, іерей, на память, за меня помолитесь, когда преосвященному замолвите доброе слово, все равно въ консисторію не столько свалю, если дѣло завяжется и слѣдствіе назначатъ... Такъ и не могъ упросить».

«— А что,—спрашиваетъ потомъ меня, — сильно архіерея боишься?»

«— Страсть,—говорю ему,—боюсь, пронеси мимо чашу сію...»

«— А ты бы, — говоритъ, — выпить сходилъ передъ тѣмъ...»

«— Да ужъ я, — говорю ему, — отецъ, и такъ выпилъ два стаканчика полыновки и закусилъ лимончикомъ, не знаю только, не пахнетъ ли отъ меня?» спрашиваю его... Въ это время, слышу, часы пробили...

«— Постой, — говоритъ, — сейчасъ преосвященный вставать будетъ, пройди вотъ въ зало, посиди; какъ встанетъ, такъ я ему и доложу, что попъ изъ Замараевки пріѣхалъ». Прошелъ я въ зало, помолился передъ образомъ, по стѣнамъ все архіереи навѣшаны, сначала думалъ—все иконы, всюду цвѣты до потолка, чистота, не то что у нашего брата, пообдернулъ ряску и стою,— куда сѣсть, къ стулу страшно придвинуться, ну, какъ войдетъ, а я сижу, — неприлично.

«Не знаю, сколько я стоялъ, что сказать придумывалъ, изъ головы словно коломъ все вышибло, руки дрожатъ, не дай ты Господи... Вдругъ двери отворились, и весь въ орденахъ, съ тростью вылетѣлъ ко мнѣ преосвященный... Палъ я ему въ ноги, поцѣловалъ руку, поднялъ глаза, а передо мной тотъ самый Божій старецъ, что въ прихожей разговаривалъ...

«— Ахти-мнѣ! — говорю, хлопнулъ себя по бедрамъ, да такъ и присѣлъ было на мѣстѣ...

«И такъ я тогда оробѣлъ, что, не дождавшись, пока онъ ротъ разинетъ, какъ подобралъ свои полы да шасть отъ него въ прихожую... «Стой! стой!» — кричитъ онъ мнѣ... Куда стой, унеси Господи живымъ домой, думаю... «Попа держите, попа!» — кричитъ онъ, выбѣжалъ за мной въ прихожую... Гдѣ тутъ, думаю, стой, я и двери настежь оставилъ; вывернулся это я живымъ манеромъ изъ архіерейскаго двора, палъ на извозчика да валяй поскорѣе на квартиру, даже вдову перепугалъ, такъ нагрянулъ... Только тогда и опомнился, какъ полштофа выпилъ.

«Ну-съ, не успѣлъ я, огурчикъ, домой пріѣхать, какъ бумага отъ благочиннаго — приказъ сюда ѣхать, вогуловъ просвѣщать. Ну, такъ вотъ такъ и попалъ сюда, вотъ уже пять лѣтъ живу, хотя ѣсть порой нечего, да хотя спокойно, отсюда уже въ городъ не вытребуютъ на расправу... Въ жалованьѣ только расписываюсь, все къ благочинному уходитъ, не знаю, какъ онъ меня аттестуетъ передъ преосвященнымъ, а только меня не безпокоятъ, хоть и согрѣшу, грѣшный. Да отсюда и переводить-то уже некуда, развѣ въ адъ: самое послѣднее мѣсто въ епархіи.

Оленій караванъ.

Вотъ сами увидите, какъ нашего брата надѣляютъ, едва брюхо кормимъ, а приказано просвѣщать. Господи, сами-то едва подъ Богомъ ходимъ!» — закончилъ онъ, махнувъ въ сторону широкимъ рукавомъ своей старой люстриновой ряски.

III.

Прошло два дня, а начальство изъ городка, которое ожидали для сбора ясака, не являлось.

Заботливые купцы, чтобы не упустить дорогого времени, уже одинъ за другимъ уѣзжали впередъ въ Дыдымъ, гдѣ собирался уже народъ съ пушнымъ товаромъ. Батюшка тоже отправился туда со старымъ дьячкомъ, чтобы собрать ругу, и на третій день, боясь пропустить изстари назначенный срокъ ясака — Новый Годъ, стало собираться туда и мѣстное волостное начальство.

Подъ вечеръ составился цѣлый полярный караванъ; въ село нагнали изъ лѣса полсотни оленей, запрягли ихъ въ повозочки, навязали имъ на рога колокольцевъ, ленточекъ, и испуганныя, почти дикія животныя дрожали у воротъ, готовыя броситься

съ нами въ лѣсъ по первому взмаху страшнаго шеста ямщиковъ. Въ селѣ было необыкновенное движеніе, даже собаки и тѣ толпились около каравана, покрывая своимъ лаемъ шумные возгласы вогуловъ.

Наконецъ мы двинулись, въ воздухѣ мелькнули шесты, олени стремглавъ бросились подъ гору на рѣку, и дикій поѣздъ съ захватывающей духъ быстротой понесся вверхъ по рѣкѣ, представляя оригинальное зрѣлище. Вмѣсто экипажей были какія-то парусинныя повозочки, вмѣсто лошадей рогатый олень, вмѣсто кнута длинный шестъ и вмѣсто ямщика какое-то чучело въ вывороченной шкурѣ оленя, съ громадной лохматой головой съ рожками, все затянутое мѣхомъ, откуда глядѣли только носъ да черные глаза. И все это тянулось другъ за другомъ, извивалось по узкой дорожкѣ, съ гикомъ неслось сломя голову, оглашало рѣку, болота, спящій лѣсъ, поднимая облака снѣжной пыли.

Но еще оригинальнѣе была картина нашего поѣзда, когда мы проносились по лѣсу, пролетали чрезъ сосновый боръ съ темными тѣнями на снѣгу, врѣзывались въ густыя ели, гдѣ было темно, какъ ночью, — когда мелькали тѣни, стволы гигантскихъ деревъ, шумѣлъ лѣсъ, эхомъ откликались крики, падалъ снѣгъ съ тяжелыхъ вѣтвей, казалось, что вотъ-вотъ налетимъ мы на дерево, расшибемся и потонемъ въ снѣгу...

Не менѣе оригинальными были и наши минутныя остановки на болотахъ, чтобы дать вздохнуть запыхавшимся оленямъ. Весь поѣздъ сразу сбивался въ кучу, втыкались стоймя шесты, олени заворачивались къ своимъ санкамъ, и шумъ поѣзда замѣнялся тяжелымъ дыханьемъ звѣрей. Вспыхнувшая спичка освѣщала на секунду рога, повозки, паръ, шесты; проходила минута, и все снова неслось съ бѣшеной быстротой впередъ.

На станціяхъ насъ уже ждали, и только что влеталъ въ пауль поѣздъ, какъ свѣжіе ямщики становились на лыжи и убѣгали, словно скрываясь отъ нашествія непріятеля, за оленями въ лѣсъ. Казалось, даже самый пауль замиралъ отъ страха передъ такимъ нашествіемъ. Даже собаки и тѣ не смѣли теперь тявкнуть, убѣгая за юрты, и пассажиры крехтя вылѣзали изъ санокъ, вползали ругаясь въ юрты, гдѣ ребята, женщины бросались по угламъ, и они, какъ завоеватели, садились къ костру чувала, который уже горѣлъ зализывающимъ пламенемъ...

Кто вынималъ бутылку водки съ закуской, кто разспрашивалъ вогуловъ про житье, кто смѣялся надъ ними, называя

прозвищемъ, полуименемъ, какъ принято здѣсь, какъ зовутъ ихъ самихъ сами вогулы.

— А что,—спросишь у вогула,—давно проѣхалъ Василій Ивановичъ?

— Васька-то?—переспроситъ онъ, словно недоумѣвая, зачѣмъ такъ величаютъ знакомаго имъ всѣмъ подъ этимъ именемъ купца. «Давно», скажетъ, «утромъ еще проѣхалъ, теперь ужъ въ Казымѣ». И мнѣ казалось, что въ понятіи этого дикаря дѣйствительно такіе люди не заслуживаютъ лучшаго названія...

У нихъ и писарь—Ванька, и фельдшеръ—Гришка, а другіе даже имѣютъ еще и прозвища, которыми мѣтко ихъ окрестилъ смышленый и насмѣшливый наблюдательный вогулъ. Прозвали они стараго дьячка «налимьимъ хвостомъ», такъ и зовутъ, и не только они, но даже русскіе, и другого прозвища у него, бѣднаго, нѣтъ.

Въ одномъ паулѣ на другой день мы догнали одного «купца», какъ здѣсь зовутъ городскихъ и сельскихъ мѣщанъ изъ казаковъ, торгующихъ мелочью по юртамъ.

Мы его застали какъ разъ въ то время, когда онъ распинывалъ на снѣгу передъ юртой мерзлыхъ налимовъ, ругая своего должника, что онъ мало ихъ наловилъ ему за долгъ. Тотъ молча стоялъ около вмѣстѣ съ другими, жалко посмѣиваясь и почесывая въ затылкѣ.

Эти торгаши нарочно уѣзжаютъ впередъ, чтобы собрать раньше ясака лучшія шкурки соболя, собрать долги, высмотрѣть, выпросить у должниковъ, не добыли ли они чего-нибудь поцѣннѣе, чтобы скупить, хотя это и запрещено закономъ, раньше ясака.

Но тутъ всѣ свои, и рѣдко что-нибудь выходитъ между писаремъ и ими, потому что всѣ они свои люди, живутъ въ одномъ краю, всѣ они пользуются слабостью дикаря, кормятся имъ, живутъ имъ, и ссориться имъ невыгодно вовсе.

Развѣ только какая особенная черная соболья шкурка поссоритъ ихъ порой, но и то кончается первой чаркой.

Обирая товаръ, промыселъ, они мѣняютъ товары: за соболя, бѣлку купецъ надѣляетъ вогула кускомъ желтаго мыла, дешевымъ ситцемъ по тройной цѣнѣ, подмоченнымъ порохомъ, грошевыми пистонами, кремешками, везетъ и бусы для бабъ, и

мѣдныя солдатскія пуговицы для косъ, и старое избитое ружье, и гнилое сукно на азямы. И все это по дорогой цѣнѣ отдается въ долгъ, продается, мѣняется безъ спроса цѣны, записывается за должникомъ, и все это расхватываетъ отчасти нуждающійся, отчасти просто обзарившійся вогулъ, которому все кажется такъ красиво, такъ ярко, такъ необыкновенно послѣ того, какъ онъ просидитъ годъ въ лѣсу.

— Зачѣмъ же ты взялъ, голубчикъ,—спросишь у другого,— эти красные платки?

— Комарникъ надо сшить, лѣтомъ порато много комаровъ у насъ бываетъ, спать съ бабой нельзя—скажетъ тотъ.

— Да ты бы взялъ лучше простого холста, тотъ дешевле, да и прочнѣе будетъ, вѣдь это дорого? спросишь его.

— Дорого,—говоритъ онъ.

— Ну, такъ зачѣмъ же ты холста не возьмешь?

— Да вѣдь все равно это не на деньги, въ долгъ...

— Да вѣдь долгъ-отъ придется тебѣ же платить?

— Мнѣ же, — соглашается онъ, — да вѣдь изъ долговъ все равно не выйдешь до смерти; я вотъ купцу весь вѣкъ плачу, самъ не знаю за что; хоть все заплати, все равно долгъ будетъ, жалко отдавать ему промыселъ, ну, такъ вотъ на потѣху себѣ хоть красныхъ платковъ для полога наберешь, все же, думаешь, не даромъ отдалъ; возьми холста, онъ все равно въ долгъ за красный платокъ запишетъ,—объяснялъ мнѣ одинъ вогулъ, и надо было съ нимъ согласиться...

И вотъ онъ беретъ все, чего не надо, только чтобы было не жалко промысла, про который онъ забудетъ скоро, какъ и то, сколько онъ отдалъ, почемъ и за что...

На другой станціи мы догнали батюшку.

Въ то время, когда вогулы убѣжали для него ловить оленей въ лѣсъ, гдѣ они кормятся мхомъ, онъ остался въ повозочкѣ и теперь сладко спалъ на морозѣ, весь въ куржакѣ, вѣроятно, выпивши, и только по шапкѣ можно было узнать, что это нашъ злосчастный просвѣтитель дикарей.

Его сослуживецъ, бойкій дьячокъ, по прозвищу «налимій хвостъ», бодрствовалъ и теперь безпокойно перебѣгалъ отъ юрты къ юртѣ, собирая мерзлыхъ налимовъ, ругу, которыми обыкновенно въ зимнее время только для нихъ и богаты дикари.

Вѣроятно, что это обстоятельство и дало поводъ его обозвать какому-то вогулу «налимьимъ хвостомъ»...

На другой день ночью мы наконецъ пріѣхали въ Дыдымъ.

Несмотря на поздній часъ ночи, пауль представлялъ живую картину. Кой-гдѣ были разведены костры, варили уху въ громадныхъ котлахъ; вдоль цѣлаго ряда юртъ, построенныхъ въ видѣ улицы, бродили олени, бѣгали собаки, ходили обнявшись пьяные вогулы, кто-то во все горло кричалъ пѣсню, кто-то спорилъ у сѣней, кто-то, словно тѣнь, шнырялъ за угломъ юрты...

Тутъ и тамъ стояли на морозѣ привязанные къ собственнымъ санкамъ замерзшіе олени, тамъ около костра собралась толпа, тутъ, въ сторонѣ отъ дороги, надъ чѣмъ-то возятся люди, я думаю, что случилось несчастіе, мертвый, но оказалось—тутъ распластываютъ оленя и, припавши къ ребрамъ, пьютъ теплую кровь, закусывая кусками мяса, пичкая его въ ротъ и проглатывая, не разжевавши...

Руки, лицо, одежда пиршествующихъ все было въ крови, всѣ молча старались надъ оленемъ, и тутъ же изъ-подъ ихъ рукъ тащили куски голодныя собаки, получая здоровые пинки отъ хозяевъ.

Весь пауль представлялъ картину какого-то дикаго бивуака съ кострами, группами, скотомъ и, освѣщенный съ неба мѣсяцемъ, окруженный темнымъ боромъ, такъ и просился на желатинъ или холстъ художника.

Я встрѣтилъ новый годъ въ бѣдной юртѣ. Подвыпившіе по этому случаю купцы спорили и дѣлили вогуловъ: каждый изъ нихъ имѣлъ свою рѣку, свои юрты, своихъ должниковъ; веселый батюшка спорилъ съ дьячкомъ о налимахъ, упрекая его, что онъ захватилъ его часть; старшина лежалъ уже въ углу безъ движенія, встрѣтивши новый годъ еще наканунѣ, и только писарь одинъ еще стоялъ на ногахъ, ожидая, что вотъ-вотъ нагрянетъ исправникъ...

Меня положили спать куда-то на нары, тамъ страшно меня сначала покусали блохи, которыя удивительно какъ живутъ на такомъ холоду; подъ утро я было ушелъ и легъ въ повозку, но пришелъ какой-то пьяный вогулъ и, принявши меня за батюшку, сталъ слезно каяться въ грѣхахъ, говоря, что онъ далъ красный платокъ шайтану...

Только-что отпустилъ я ему грѣхи, какъ подошелъ бродячій олень и ткнулъ меня холодной мохнатой мордой прямо въ лицо... Всю ночь ревѣли пѣсни, всю ночь ругались вогулы, и взвизгивали женщины...

На утро, когда я проснулся, пауль спалъ. Среди улицы обнявшись спала счастливая пара друзей, въ сѣняхъ, въ углу корчилась отъ мороза въ малицѣ вогулка, въ нашей юртѣ храпѣли купцы, старшина, посвистывалъ носомъ писарь, и тутъ же съ ними спали, уложившись на нихъ, мохнатые псы...

Къ полдню пауль проснулся, затопились чувалы, заварились котлы, всѣ проснулись невеселые, кто съ синякомъ на лицѣ, у кого недоставало бороды или уса, кто жаловался на поясницу, кто на боль въ головѣ, но водка была запрещена, и въ полдень всѣ отправились къ сборной избѣ, гдѣ предстоялъ сборъ ясака въ Кабинетъ Государя.

У сѣней сборной избы уже стояла толпа вогуловъ, все темныя, скуластыя лица, съ бойкими черными глазами, съ длинными косами въ красныхъ шнуркахъ, въ засаленныхъ малицахъ, съ всклоченными волосами и слѣдами пирушки. Они что-то громко гудѣли, какъ на сходкѣ крестьяне, и при нашемъ появленіи разступились и вошли за нами въ избу.

Просторная, низкая юрта была освѣщена однимъ маленькимъ квадратнымъ окномъ, въ углу пылалъ, обдавая жаромъ, громадный чувалъ, въ переднемъ углу были уже разставлены иконы на полкѣ и тамъ же хлопоталъ съ книгами для молебна дьячокъ, раскладывая на столѣ, накрытомъ скатертью, свѣчи; изба наполнилась народомъ, въ передній уголъ собрались въ черныхъ тулупахъ купцы, пришелъ писарь съ громадной вязкой бумагъ, за нимъ появился уже изрядно выпившій старшина съ князькомъ вогуловъ въ необыкновенномъ халатѣ съ позументами, принесли на столъ ящикъ съ печатями для казны, и наконецъ въ дверяхъ появился и самъ батюшка, чтобы отслужить положенный молебенъ.

Вогулы толпой стали подходить къ свѣчному столу, брали бѣлыя, желтыя свѣчи, платили за нихъ старому дьячку бѣлками и ставили ихъ на полку къ ряду иконъ, которыя скоро засвѣтились, отражая въ своихъ ризахъ массу огней.

Но всѣ замѣтили, что батюшка явился сегодня не въ духѣ. Онъ ворчитъ, надѣвая старую зелененькую ризу, онъ съ сердцемъ беретъ кадило у услужливаго дьячка, но молебствіе начинается благополучно.

Говоръ утихъ, раздается пѣніе клира, мы подтягиваемъ ему, образа сіяютъ, разносится дымъ ладона, вогулы набожно крестятся, и вотъ уже апостолъ. Но тутъ что-то не такъ прочиталъ

старый дьячокъ, батюшка его строго обрѣзалъ, и мы поняли, что дѣла обострились.

«Къ коринѳянамъ посланіе, апостола Павла чтеніе...» — начинаетъ торжественно низкимъ голосомъ, видимо, не падая еще духомъ, старый дьячокъ, но батюшка молчитъ.

«Къ коринѳянамъ посланіе...» — повторяетъ онъ нотой выше, но батюшка не говоритъ свой «вонмемъ». Дьячокъ тяжело вздыхаетъ, жалѣя потерянаго заряда голоса, оглядывается

Вогулки въ зимнемъ нарядѣ.

на насъ, какъ бы ища подмоги и, крякнувъ еще рѣшительнѣе, начинаетъ: «Къ коринѳянамъ посланіе...» Но батюшка молчитъ...

— Вонмемъ, вонмемъ, — шепчетъ наконецъ онъ батюшкѣ, полагая, что тотъ задумался.

— Ну, вонмемъ, — отрѣзываетъ ему сердито батюшка, и дьячокъ торжественнымъ, низкимъ голосомъ начинаетъ: «Б-р-а-т-і-е»...

— «Б-р-а-т-і-е»,—передразниваетъ его тѣмъ же голосомъ батюшка, — б-р-а-т-і-е... Сволочь это, а не братіе, — вдругъ неожиданно разражается для насъ батюшка, — что я съ голоду, что ли, долженъ пропадать съ этой братіей, когда она мнѣ совсѣмъ

не даетъ въ ругу налимовъ... И, окончательно выйдя изъ себя, батюшка быстро стягиваетъ съ себя старую поношенную зеленькую ризу, схватываетъ шапку и со слезами на глазахъ, къ удивленію всѣхъ, убѣгаетъ вонъ изъ сборной избы...

Какой-то дуракъ было прыснулъ со смѣха въ углу, кто-то вздохнулъ, а старый дьячокъ такъ и остался съ апостоломъ въ рукахъ, смотря на разинувшихъ ротъ вогуловъ. Дѣлать было нечего, и рѣшили съ «братіи» начать сборъ ясака.

IV.

Свѣчи погашены, въ избѣ становится снова полумракъ, вмѣсто свѣчъ кладутъ на столъ бумаги, ставятъ ящикъ съ печатями, за столъ садится писарь съ озабоченнымъ видомъ, старшина-вогулъ съ опухшей физіономіей, еще два члена, по стѣнамъ на скамью сѣли въ чинномъ порядкѣ купцы и въ углу, около чувала, столпилась «братія».

Писарь всталъ и торжественнымъ голосомъ началъ читать и перечислять, что требуется въ Кабинетъ Государя, что нужно по раскладкѣ волости на содержаніе его, фельдшера, отопленіе и освѣщеніе волости, провіантскій магазинъ, на разсылокъ, гоньбу и тому подобное, включая тутъ же и повивальную бабку и оспопрививателя, существованія которыхъ я и не подозрѣвалъ, да едва ли когда ихъ видало и само податное сословіе.

— Итого, съ каждаго по семи рублей сорока съ третью копеекъ — заключаетъ онъ.

— Слышите, — поднимается старшина съ мѣста, — по семи цѣлковыхъ съ полтиной для общаго счета, — обращается онъ къ вогуламъ, которые переминаются отъ такого урока ариѳметики.

Послѣ этого объявляется, что сейчасъ начнется сборъ ясака, и чтобы всѣ приготовили деньги и то, что «припасли Государю», «желающіе, доброхоты могутъ платить шкурками; кто не имѣетъ, тотъ можетъ платить деньгами», и приступаютъ къ сбору.

— Иванъ Салбанталовъ! — кричитъ писарь по книгѣ. Въ толпѣ происходитъ движеніе.

— Иванъ Салбанталовъ! — повторяетъ писарь еще громче. Тамъ что-то толкутся.

— Ванька, Ванька, — толкаютъ тамъ кого-то въ бокъ, и на сцену выходитъ весь избитый послѣ вчерашняго перепоя

молодой вогулъ съ собачьей оборкой вдоль подола и начинаетъ отвѣшивать поклоны каждому на особицу.

— Плати ясакъ, — говоритъ строго писарь.

Вогулъ разворачиваетъ пазуху малицы, вытаскиваетъ оттуда зеленый полштофъ водки и съ поклономъ ставитъ его передъ старшиной. Я съ удивленіемъ смотрю, что будетъ. Полштофъ подхватываетъ старшина, другой вогулъ, рядомъ, суетъ ему стаканчикъ, и писарь улыбаясь объясняетъ мнѣ вполголоса въ то время, какъ пьетъ старшина за столомъ, что это «такой уже обычай», но, видя, что я удивленъ «такому обычаю», шепчется что-то со старшиной, начинаются на непонятномъ мнѣ языкѣ переговоры, и писарь объявляетъ, что если кто «по обычаю» сегодня хочетъ попотчевать свое начальство, то тѣ могутъ это сдѣлать послѣ, и требуетъ отъ Ивана Салбанталова голосомъ, не допускающимъ извиненій и разговоровъ, чтобы онъ платилъ наконецъ ясакъ.

Тотъ опять лѣзетъ въ пазуху и вытаскиваетъ оттуда мятую куницу и, встряхнувши ее, кладетъ на столъ передъ писаремъ.

Въ то время какъ писарь записываетъ карандашомъ въ книгѣ, что отъ Ивана Салбанталова получена въ Кабинетъ Его Величества куница, она начинаетъ гулять по рукамъ, переходитъ изъ рукъ старшины къ князю, отъ того къ помощнику старшины, отъ того къ купцамъ, всякій ее вытягиваетъ за хвостъ, дергаетъ ее черезъ колѣнко, нагоняетъ ей ворсъ, дуетъ въ нее, щупаетъ самымъ жестокимъ образомъ бѣднаго благороднаго звѣрька, и наконецъ объявляютъ ей цѣну въ два съ полтиной.

Куница, пройдя черезъ руки такихъ экспертовъ, наконецъ попадаетъ снова на столъ, и ее кладутъ въ ящикъ съ красными печатями.

Раскладку вогулъ платитъ деньгами, которыя тоже тщательно осматриваются, словно вогулы дѣлаютъ сами деньги.

— Кирила Тасмановъ!—кричитъ затѣмъ писарь по очереди дворовъ.

Выходитъ старикъ-вогулъ въ богатой малицѣ, съ обшитымъ краснымъ сукномъ подоломъ, раскланивается и протягиваетъ руку писарю и старшинѣ, которые его съ почтеніемъ встрѣчаютъ, Онъ долго роется въ пазухѣ, вытаскиваетъ оттуда чернаго соболя, энергично встряхиваетъ его, отъ чего летитъ шерсть и пыль прямо писарю съ старшиной въ носъ, и, взявши его за голову и хвостъ, растягиваетъ и кладетъ на столъ, любуясь своимъ приношеніемъ въ Кабинетъ Государя...

Всѣ вытянулись и смотрятъ на столъ, гдѣ лежитъ соболь, вогулы даже привстали на цыпочкахъ, писарь киваетъ мнѣ головой и шепчетъ: «Вотъ онъ всегда такъ, что лучшаго въ промыслѣ, всегда принесетъ къ Государю, однажды чернобурую лисицу принесъ, даже купцы ахнули, Василій Ивановичъ сказалъ: «я бы ему сотню рублей за такую далъ»...

— Ну и что же,—говорю ему,—отправили въ Кабинетъ?

— Какъ же, мы обязаны все отправлять, за исключеніемъ мелочи, не стоющихъ мѣховъ, онъ грамату получилъ, благодарность, у него уже сколько ихъ, можно бы всю юрту оклеить,— и онъ начинаетъ нахваливать старика Кирилу, который улыбаясь стоитъ, слѣдя, какъ его черный съ просѣдью соболь пошелъ по рукамъ, возбуждая во всѣхъ и удивленіе, и зависть...

Сборъ ясака шелъ гладко, одинъ за другимъ подходили вогулы къ столу, лѣзли въ пазухи малицъ, выкладывали оттуда, словно изъ сундуковъ, кучи бѣлокъ, мятыхъ куницъ, изрѣдка соболя, шкурки красногрудыхъ лисицъ, заворачивали полы, обнаруживали передъ зрителями голенища пимовъ, мѣховыя шаровары, вытаскивали изъ кармановъ кошельки, рылись въ нихъ, считали ассигнаціи, задумывались и, не зная счета, передавали ихъ старшинѣ, тотъ пересчитывалъ, отдавалъ сдачу, писарь записывалъ ихъ въ книгу, а старшина, разглаживая ассигнаціи, клалъ въ общую кучу въ ящикъ съ печатями.

Въ избѣ становилось жарко, распорядились отворить двери, но въ избу понесло холодный паръ, велѣли опять запереть и погасить огонь въ чувалѣ. Старшина потихоньку выпилъ за спиной писаря, выпили и его сотрудники, писарь морщился, купцы цѣнили мѣха, осматривали ихъ въ качествѣ почетныхъ оцѣнщиковъ, и все дѣло шло гладко, пока не дошла очередь до бѣдняковъ.

— Петръ Варсабовъ!—выкрикиваетъ писарь въ поту.

Въ толпѣ кричатъ, помогая писарю: «Петь, Ѳедь, Петь». Одинъ «Петь» упирается, говоря, что онъ заплатилъ, другой «Ѳедь» говоритъ, что онъ совсѣмъ не Варсабовъ, что Варсабовы изъ другого пауля, въ ихнемъ нѣтъ такихъ, и начинается споръ, и послѣ порядочныхъ толчковъ «Ѳедь» наконецъ выходитъ на середину.

— Ты Петръ Варсабовъ? — спрашиваетъ писарь молодого парня съ длинными косами въ красныхъ шнуркахъ и блестящими мѣдными пуговицами на затылкѣ, какъ украшаютъ молодые люди свою голову у вогуловъ.

Ѳедь говоритъ: «Я».

— Ну, клади ясакъ. И Ѳедь выкладываетъ кучу бѣлокъ, которыхъ пересчитываетъ старшина, поднимая пыль въ воздухѣ такъ, что началось чиханье...

Пересчитали, уложили ихъ въ казенный съ печатями мѣшокъ, писарь записалъ въ книгу получку; но тутъ вышелъ споръ: оказалось, что онъ заплатилъ за двѣ души, а онъ былъ одинокій.

— Какъ тебя зовутъ?—спрашиваетъ писарь.

Ѳедь говоритъ что-то вродѣ Петръ и Ѳедоръ, разобрать нельзя.

Его спрашиваютъ фамилію, фамиліи онъ не знаетъ, а по прозвищу его зовутъ Копыто, потому что отецъ его когда-то укралъ пьяный конную ногу, и у него нашли копыто.

Кто кричитъ, что зовутъ его «Ѳедоръ», кто кричитъ, что его зовутъ «Петромъ», даже стало жарко отъ спору, вынули подворный списокъ, справились и оказалось, что то былъ Ѳедоръ совсѣмъ изъ другихъ юртъ и заплатилъ онъ ясакъ за другого, кого совсѣмъ не оказалось на сходѣ.

Вогулы рѣдко зовутъ себя по имени, имена дѣтей родители забываютъ, перевираютъ, Петра и Ѳедора они произносятъ такъ, что не разберешь: который Петръ, который Ѳедоръ, а ихъ столько, что въ каждомъ паулѣ по десятку, наберется, потому что крестятъ они ребятъ больше проѣздомъ на Обь, около праздниковъ Петра и Павла, когда плывутъ за рыбой на ловли. Фамиліи для нихъ совсѣмъ трудная вещь, а прозвища такія, что и вносить въ книгу смѣшно.

Батюшки тоже не разбираютъ, кто у кого родился, скажетъ—отъ Петра, занесетъ къ Василью, и, благодаря такимъ случайностямъ,—жалуется писарь,—въ другой разъ чуть между ними на ясакѣ до драки не доходитъ. Одни кричатъ: «плати», другіе: «нѣтъ», одни кричатъ: «его спрашиваютъ», другіе кричатъ: «это не тотъ»; старшина не знаетъ, старики путаются, однопаульцы сами разобраться не могутъ, и Ѳедоръ платитъ за Петра, а Василій за Якова, а Яковъ готовъ платить за всякаго...

Дѣло съ «Ѳедь» затягивается надолго, старшина распиваетъ тѣмъ временемъ бутылку водки, которую ему тайкомъ передаютъ поклонники, какъ дань, подъ шумъ толпы начинаются лобызанья его съ помощниками, горячія рѣчи съ купцами, устраивается генеральная выпивка въ углу, и когда дѣло разрѣшилось, то уже старшина былъ такъ красенъ, такъ блестѣло его лицо, что, казалось, кто-то только что сидѣлъ на его шеѣ...

— Кузьма Пакинъ!—выкрикиваетъ писарь.

Опять исторія, и на сценѣ появляется растрепанный вогулъ въ оборванной малицѣ, даже безъ мѣдныхъ солдатскихъ пуговицъ на головѣ.

— Плати ясакъ, — говоритъ ему писарь, но онъ стоитъ, разсматривая ихъ всѣхъ по очереди.

— Плати ясакъ!—кричитъ ему красный старшина.

Онъ кланяется ему.

— Плати ясакъ! — говоритъ ему писарь по-вогульски.— Онъ молчитъ и кланяется писарю.—«Молехъ давай атъ цѣлковой»!—кричитъ ему, перебивая писаря, старшина, войдя въ роль засѣдателя.—Бѣдный малый только шевелитъ блѣдными губами и разводитъ рукой.—«Молехъ мини атъ цѣлковой»!—кричитъ еще пуще ему старшина, наливаясь кровью,—но бѣдный вогулъ только шевелитъ губами и разводитъ руками, что-то отвѣчая по-вогульски старшинѣ.

— Молехъ давай атъ цѣлковой! кричитъ старшина и стучитъ кулакомъ. Въ избѣ пробѣгаетъ ропотъ, вогулы отступили отъ стола и жмутся, испуганные, къ двери...

— Молехъ!.. кричитъ, наливаясь кровью, пьяный старшина, выбивая ясакъ,—и бѣдный малый пятится къ двери... Въ юртѣ поднимается шумъ, кто кричитъ—надо его драть, кто кричитъ — надо отдать въ работу, кто кричитъ, что онъ лѣнтяй, ничего не работаетъ, кто говоритъ, что онъ еще недавно былъ пьянъ и дрался, и мнѣ становится, дѣйствительно, страшно за малаго, и я готовъ отдать самъ за него восемь несчастныхъ цѣлковыхъ...

Какъ на преступника, накинулись на него все начальство и купцы, старшина уже распорядился съ пылу принести розогъ, въ избѣ показались березовыя вицы, но парня утащили въ сторону, прошло минуты три, и за него внесъ ясакъ одинъ торговецъ, облюбовавши его себѣ въ работники—за эти восемь цѣлковыхъ—на все лѣто.

Онъ не понималъ ничего, что съ нимъ случилось, и когда его отпустили отъ стола, то ушелъ съ самымъ разсѣяннымъ лицомъ, дѣйствительно, не разобравши, что случилось.

Послѣ него явился старикъ Никита, ему долго кричали въ уши, что надо платить восемь рублей, онъ долго копался въ пимахъ, вытаскивая оттуда и отсчитывая потертыя деньги, одну бумажку нашли негодной, старой; но тутъ я попросилъ узнать, сколько ему лѣтъ. Долго, нехотя рылись въ бумагахъ, и оказалось, что ему давно за семьдесятъ.

Шайтанъ.

Нехотя возвратили ему деньги, говоря, что ему уже десять лѣтъ, какъ платить не нужно, что онъ старъ, освобожденъ закономъ; старикъ долго не понималъ, дивился, дивились, никогда не слыша такой вещи, и вогулы и стали считать, что вотъ этотъ, вотъ и этотъ платятъ невѣрно, и писарю пришлось плохо, заворчали...

Старикъ не уходилъ и, подстрекаемый родичами, просилъ за десять лѣтъ деньги обратно...

Но было интереснѣе всего, когда вызвали Семена Салбанталова.

Вогулъ, лѣтъ за сорокъ, съ лохматой головой, съ испуганнымъ лицомъ, въ драной малицѣ, вытолкнутый на средину избы, казалось, недоумѣвалъ, для чего его позвали.

Писарь порылся въ книгахъ и приказалъ ему платить ясакъ за двѣ души; старшина по-вогульски строго перевелъ ему это приказаніе, прибавивъ что-то насчетъ его рванаго костюма.

Вогулъ торопливо полѣзъ въ штаны, досталъ кисетъ съ кисточками, гдѣ выставлялась трубка, и сталъ рыться, отыскивая деньги. Вынувъ пачку, завернутую въ бересто, онъ подалъ послѣднюю писарю и сталъ ждать, пока тѣ, при общемъ любопытствѣ, развертывали бересто. Изъ береста посыпалось старое серебро.

— Ты это гдѣ взялъ столько серебра? — закричалъ на него старшина, весь красный.

У дверей зашевелился народъ.

— У шайтана,—поникши головой, прошепталъ вогулъ.

— У какого шайтана? — весь багровѣя, проговорилъ старшина... Всѣ насторожились.

— У Чехрынь-ойки,—прошепталъ чуть слышно бѣдняга.

Въ толпѣ послышался ропотъ, всѣ вдругъ заговорили, и въ избѣ вышло крупное недоразумѣніе...

Оказалось, что вогулъ дѣйствительно, не имѣя денегъ, не имѣя возможности и занять, уже будучи должнымъ своему купцу, у котораго онъ былъ въ отработкѣ каждое лѣто на рыбномъ промыслѣ, сходилъ просто къ шайтану Чехрынь-ойкѣ, который недалеко находится отъ его юртъ, подъ наблюденіемъ особаго шамана, развязалъ у того нѣсколько платковъ, въ узлахъ которыхъ оставляютъ серебро его поклонники, и взялъ его на уплату ясака. Серебро, лежалое въ лѣсу, почернѣло и тотчасъ же было вогулами узнано, и такъ какъ вогулъ былъ бѣднякъ, то

они подумали, что онъ просто укралъ его, а не взялъ взаймы, какъ это дѣлаютъ другіе, прибѣгая къ этому средству, какъ къ послѣднему, въ случаѣ крайней нужды, и потому подняли крикъ, что этимъ оскорбленъ шайтанъ, ихъ божество, которое имъ помогаетъ промышлять звѣря, помогаетъ въ болѣзняхъ, котораго они боятся и обожаютъ.

Тутъ попало и шаману, что онъ плохо смотритъ за божествомъ. Тотъ клялся, что онъ еще недавно былъ у того, что стрѣлы, наставленныя на тропѣ, стоятъ какъ слѣдуетъ, и пообѣщалъ бѣдному вогулу, что онъ доберется когда-нибудь до него въ лѣсу и тогда дастъ ему знать, какъ ходить безъ спроса къ его шайтану.

Вогулъ молчалъ. Толпа бушевала, и я взялъ вогула подъ свое покровительство.

Не знаю, какъ-то въ этомъ шумѣ оказалось, что онъ живетъ одинъ съ бабой, всего вдвоемъ, бѣдно, юрточка старая, отъ покойнаго отца, промышленникъ онъ худой, даже лодки сносной нѣтъ, и мнѣ пришло въ голову спросить, за кого же онъ платитъ за двѣ души.

Этотъ вопросъ отвлекъ отъ него вниманіе толпы, его оставили, и всѣ стали вслушиваться, что будетъ, потому что видѣли, что я держу его сторону.

Писарь сказалъ, что на него давно уже записано двѣ души, а какія, онъ не знаетъ. Спросили у вогула. Тотъ тоже не знаетъ, за кого онъ платитъ вторую душу.

Спрашиваютъ его: «У тебя парень есть?»

Говоритъ: «Есть».

— Сколько лѣтъ?

Онъ отвѣчаетъ: «Недавно родился, еще не крещенъ...»

Всѣ прыснули, въ избѣ послышались шутки, вогулы подняли на смѣхъ и его, и маленькаго его парня, за котораго онъ уже нѣсколько лѣтъ уплачиваетъ ясакъ: «Ну», говорятъ, «промышленникъ будетъ, сколько Царю ясака уже переплатилъ долгъ шайтану непремѣнно отдастъ...» И всѣ помирились.

Ему возвратили половину денегъ, онъ отдалъ ихъ тутъ же шаману, и исторія кончилась благополучно, и только восемь рублей съ полтиной шаманскихъ денегъ ушли въ казенный съ печатями ящикъ.

За нимъ вызвали другого, молодого парня изъ мѣстныхъ юртъ.

Онъ выложилъ, вмѣсто восьми, три цѣлковыхъ и заявилъ, что у него больше нѣтъ.

Старшина закричалъ на него, чтобы онъ доставалъ денегъ. Парень былъ изъ смѣлыхъ и сказалъ, что достать ему не у кого, въ работники онъ больше наниматься не будетъ, въ долгъ брать, въ батраки идти къ купцамъ не желаетъ, а заплатитъ послѣ, когда Богъ пошлетъ въ лѣсу звѣря.

Это было новостью, вогулы съ вниманіемъ слѣдили, что будетъ; парень посматривалъ на меня, ожидая, что въ случаѣ чего я буду защищать его. На него долго кричалъ старшина, ворчали купцы, одинъ уже былъ готовъ за него платить, если онъ согласится на лѣто идти въ работники, но вогулъ заявилъ, что у него семья, бросать онъ ее не будетъ и хочетъ быть свободнымъ.

Старшина наконецъ приказалъ принести розогъ. Черезъ минуту съ холода принесли и положили на полъ охапку березовыхъ вицъ, вогулъ поблѣднѣлъ, но оправился и заявилъ рѣшительнымъ голосомъ: «Ну что, порите, а платить мнѣ нечѣмъ, въ работу я все равно не пойду». Такое заявленіе и готовность ложиться подъ розги огорошили начальство.

Старшина поругался, посовѣтовался съ товарищами, пошептался съ писаремъ, и парня оставили въ покоѣ...

Такъ продолжался ясакъ до поздняго вечера. Послѣ ясака наступилъ сборъ долговъ въ провіантскій магазинъ. Тутъ еще больше вышло путаницы, вогулы не знали, за что съ нихъ требуютъ деньги, не помнятъ, сколько взяли, по какой цѣнѣ хлѣба, свинца, соли, пороху; тотъ говоритъ, что я уже заплатилъ, другой заявляетъ, что онъ не бралъ вовсе; поднялся шумъ, кто поскромнѣе—платилъ, кто посмѣлѣе—отказывался, и на него записывали «взыскать описью имущества».

Къ счастію, у вогуловъ ничего нѣтъ въ юртѣ, что описать, и это было только средствомъ попугать ихъ; въ сущности, долгъ отсрочивался и росъ, пока его не сложитъ сама волость или манифестъ.

Послѣ недоимокъ по магазину пошли взысканія съ должниковъ купцовъ. Дѣло сводилось къ тому, что непослушныхъ заставляли подписывать контрактъ на годъ въ работу на рыбалку къ купцу, съ срокомъ явки къ нему, съ условіемъ неустойки, съ выговоромъ, сколько ему уплатится за лѣто, что ему выдастся за счетъ платы: азямъ, бродни, рукавицы, кожанки и пр. Тѣхъ же, которые не соглашались идти за низкую плату, а просили дороже, заставляли подписывать силой.

Писарь стоялъ горой за купца, старшина грозилъ розгами, купецъ взысканіемъ и разореніемъ въ пухъ и прахъ...

Все это заключалось тѣмъ, что бѣдный вогулъ, оглохшій отъ шума, растерявшійся, подходилъ къ столу, бралъ дрожащей

Вогулы на рыбномъ промыслѣ.

рукой перо у писаря, нагибался надъ условіемъ и, дѣлая кляксу, выводилъ на бумагѣ свою тамгу, въ видѣ роговъ оленя, какой-то закорючки и вздыхая отходилъ прочь, уступая мѣсто другому, котораго представлялъ передъ глаза старшины и писаря купецъ, какъ раба и вѣчнаго работника...

Въ концѣ концовъ, старшина напился до положенія, какъ говорится, ризъ, писарь упарился, какъ въ хорошей банѣ, у меня разболѣлась отъ духоты голова, и мы поздно вечеромъ наконецъ вырвались изъ этой злополучной избы, гдѣ остались только березовыя розги...

V.

Зайдя послѣ ясака, вечеромъ, въ одну юрту, я встрѣтилъ тамъ неожиданно толпу вогуловъ, которые молча, наклонившись другъ черезъ друга, что-то разглядывали около чувала.

Я протискался незамѣтно впередъ и увидалъ тамъ въ центрѣ батюшку.

Онъ молча, задумчиво поникнувъ головой, сидѣлъ передъ каминомъ, тогда какъ у ногъ его лежали, освѣщенные пламенемъ костра, мерзлые налимы... Я не зналъ, что такъ привлекло вниманіе вогуловъ, батюшка или послѣдніе, и даже было подумалъ, что нашъ проповѣдникъ производитъ опыты оживленія мерзлыхъ налимовъ, что возможно, когда ихъ приносятъ съ мороза въ теплое помѣщеніе вскорѣ послѣ того, какъ вынутъ изъ ловушки; но дѣло было не въ томъ. Вниманіе было привлечено къ тѣмъ страннымъ, почти неестественнымъ позамъ мерзлыхъ налимовъ, въ которыхъ они, скрючившись, загнувшись хвостами вверхъ, съ раскрытыми бѣлыми ртами, съ застывшей мукой въ движеніяхъ, смерзлись на морозѣ. И немного погодя, словно давши своей аудиторіи постичь весь ужасъ этихъ жертвъ мороза, батюшка, поднявши вверхъ палецъ, трогательнымъ, дрожащимъ голосомъ снова обратился къ своей братіи, говоря, что они такъ же будутъ корчиться на томъ свѣтѣ въ аду отъ страшнаго огня, если не будутъ почитать своего духовнаго отца, не будутъ кормить его, заставя сидѣть его голодомъ... И тѣ, тронутые такимъ живымъ примѣромъ, несли ему новыхъ и новыхъ жертвъ, увеличивая страшную кучу мучениковъ мороза...

Въ другой юртѣ я встрѣтилъ стараго дьячка, который тщетно уговаривалъ молодую пару, чтобы она пріѣхала въ село и повѣнчалась. Чета кротко соглашалась, но отговаривалась тѣмъ, что у нихъ ровно ничего нѣтъ (все взяли купцы), чтобы заплатить за вѣнецъ. Она соглашалась, что такъ жить грѣшно, стыдно передъ людьми и Богомъ, что они непремѣнно будутъ вѣнчаться, но не теперь, а весной, когда кстати будетъ у нихъ ребенокъ,

когда они поплывутъ мимо села къ рыбалкѣ купца, которому они нанялись въ лѣто.

Старый дьячокъ дѣлалъ со своей стороны уступки, обѣщалъ повѣнчать въ долгъ за три десятка бѣлокъ, чета уже склонялась къ его успѣшной миссіи, но чѣмъ кончилась она, мнѣ не удалось дослушать.

Я пошелъ посмотрѣть, что дѣлалось въ третьей, рядомъ, юртѣ, откуда доносился шумъ.

Въ ней, неистово крича, бушевалъ купецъ Василій Ивановичъ. Въ рукахъ его была связка бѣлокъ. Онъ трясъ ею передъ самымъ носомъ вогула, который пятился къ дверямъ, готовый обратиться въ бѣгство.

— Вотъ, — обрадовался мнѣ Василій Ивановичъ, по-вогульски Васька, — посмотрите, полюбуйтесь, всѣ говорятъ: «эксплоатація», «разбой это, не торговля», а вотъ посмотрите, какъ нашему брату платятъ за долги. Онъ долженъ мнѣ больше ста рублей, посмотрите сами въ книгу,—при чемъ онъ показалъ мнѣ и книгу, гдѣ что-то каракулями написано за вогуломъ карандашомъ на цѣлыхъ пяти страницахъ, — а принесъ вотъ всего два десятка бѣлокъ, да и то безъ хвостовъ.

Бѣличьи шкурки, дѣйствительно, были всѣ съ обрѣзанными хвостами, мнѣ показалось, что въ нихъ-то и заключается вся суть, и я спросилъ: куда же онъ дѣвалъ хвосты?

— Пропилъ, пропилъ, — закричалъ визгливо Василій Ивановичъ,—хоть бы мнѣ, подлецъ, пропилъ, а то другому... И онъ затрясъ бѣличьими шкурками передъ носомъ вогула.

— А вотъ проситъ еще мыла кусокъ, — продолжалъ онъ, — бусы молодой бабѣ, платокъ, на рубаху ситцу, не дай осердится, пойдетъ къ другому, заплатитъ больше, перестанетъ и долгъ платить, и вотъ давай, поневолѣ, все въ долгъ, безъ отдачи на цѣлые года...

И онъ чуть не плакалъ отъ того, что ему приходится получать бѣлки задаромъ, за старый, неизвѣстно какъ, какими средствами составленный долгъ, выросшій въ сто рублей, перешедшій еще, быть можетъ, отъ отца вогула, и который отъ него перейдетъ къ его сыну и все будетъ кормить Василія Ивановича, и не его одного, но и его сына, и его, быть можетъ, внука и правнука...

Ящикъ Василія Ивановича былъ раскрытъ, товары разложены на лавкѣ, на нихъ жадными глазами смотрѣлъ вогулъ, его молодая, съ бусами на груди, жена, еще нѣсколько женщинъ,

которыя готовы, казалось, все сдѣлать, чтобы получить мѣдныя кольца, зеленыя, желтыя, красныя, большія, маленькія бусы, красные платки, ситецъ для рубахъ съ разводами во всю спину, какой у насъ идетъ обыкновенно на мебель и занавѣски въ деревняхъ, на массу всякаго хлама, который совсѣмъ не нуженъ вогулу, который совсѣмъ ему ни къ чему...

Въ другихъ юртахъ было пьянство, разгулъ. Вогулы галдѣли такъ, что отдавалось въ бору; въ сѣняхъ терлись съ парнями дѣвки; по угламъ прятались пары; все пьяное, возбужденное, съ разгорѣвшимися, грубо обнаружившимися страстями прямо бросалось въ глаза, и я, прогулявшись по лѣсной дорожкѣ, провѣтривъ голову, измученную столькими впечатлѣніями, съ которыми никакъ не могъ справиться мозгъ, вошелъ въ свою юрту, гдѣ остановился и Василій Ивановичъ, и завалился было спать на нары.

Въ юртѣ оставалась только одна молоденькая подростокъ-дѣвушка, подкладывая дрова въ чувалъ, и ея любимая, вскормленная лисица на мѣдной цѣпочкѣ, которыхъ вогулы любятъ держать въ домахъ, находя ихъ маленькими въ норахъ. Я заснулъ, но и эту ночь мнѣ спать не привелось какъ слѣдуетъ.

Нервно настроенный днемъ, я не могъ не пробуждаться и ночью при малѣйшемъ шумѣ, и каждый разъ просыпался и прислушивался, кто входилъ въ юрту.

Около полночи явился, совсѣмъ выпивши, съ кучей бѣлокъ, Василій Ивановичъ съ провожавшей его хозяйкой дома, безобразной, старой теткой дѣвушки, и между ними завязался какой-то таинственный разговоръ, прерываемый рюмками водки и закуской изъ мерзлой рыбы, которую имъ настрагивала ножомъ дѣвушка.

Скоро угощенія дошли и до нея, она отказывалась пить; Василій Ивановичъ ухаживалъ за молодой интересной брюнеткой, досталъ мѣдное кольцо, досталъ и подарилъ платокъ, что-то ласково говорилъ по-вогульски, потомъ полѣзъ цѣловать, но она убѣжала отъ него на нары.

Послѣ изрядной выпивки, они наконецъ повалились спать, чувалъ потухъ, въ юртѣ стало совсѣмъ темно, и только слабый свѣтъ мѣсяца прорывался въ низенькое съ брюшиной окно, въ которое дуло холодомъ снаружи.

Немного погодя я былъ разбуженъ страшнымъ, раздирающимъ крикомъ и слышалъ, какъ кто-то, всхлипывая, побѣжалъ

къ дверямъ и скрылся въ сѣняхъ, на улицѣ, оставивъ раскрытыми двери... Въ юрту ворвался холодный паръ, старуха, ворча, поднялась съ наръ и пошла затворять дверь, и снова стало темно и тихо.

Я не могъ оставаться больше въ юртѣ и, захвативъ доху и подушку, пошелъ спать въ свою повозочку, хотя на дворѣ трещалъ морозъ.

Луна уже склонялась къ лѣсу; гдѣ-то въ юртахъ, далеко, галдѣли вогулы; въ маленькой юрточкѣ, куда женщины въ

Обрусѣвшія вогулки р. Конды.

извѣстное время скрываются у вогуловъ, кто-то тихо плакалъ, и на рѣкѣ, звонко, рѣдко взлаивая, тявкала собака, спугнувъ тетерю или бѣлку на дерево...

Только что я заснулъ, какъ чувствую—кто-то ко мнѣ тихо подошелъ, ощупываетъ меня, чувствую дыханіе, наклоняется надо мной, и, думая, что это опять пришелъ на исповѣдь вогулъ, я раскрываюсь и въ испугѣ отшатываюсь въ сторону... Надъ самымъ лицомъ—мохнатое рыло оленя и, какъ кусты ивы, рога... Я тихонько трогаю его по рылу, но онъ хочетъ драться и ударяетъ рогами по верху повозки, я закрываюсь дохой, но онъ

начинетъ меня рыть рыломъ, и я не знаю, что бы было съ упрямымъ оленемъ и мной, если бы не спасла меня отъ такого свиданія подбѣжавшая собака, отъ которой онъ, испугавшись, бросился въ сторону и побѣжалъ, скрипя по снѣгу, въ лѣсъ.

Утромъ Василій Ивановичъ былъ какой-то разстроенный, не глядѣлъ въ глаза, а дѣвушка куда-то совсѣмъ исчезла. За ночь въ одной юртѣ вышла какая-то грязная исторія, кого-то, за что-то изъ русскихъ били вогулы, и мнѣ было стыдно за нихъ, и я поторопился уѣхать...

Я радъ былъ, что покинулъ Дыдымъ, гдѣ теперь еще долго будутъ стоять драка, пьянство, развратъ, гдѣ долго еще будетъ безчинствовать необузданное начальство, разоряя окончательно вогула, гдѣ долго еще будутъ продолжаться отвратительныя сцены, которыхъ, быть можетъ, я еще не видалъ и не подозрѣваю... Потомъ все это перенесется въ другой пунктъ сбора ясака, на другую рѣку, потомъ въ третій, и такъ будетъ продолжаться цѣлыхъ двѣ-три недѣли, распространяя всюду въ средѣ этихъ въ сущности добрыхъ дикарей то, чего бы имъ совсѣмъ не нужно знать, что ихъ губитъ, что окончательно разоряетъ край.

Я въ дорогѣ, опять тишина сѣвернаго лѣса, опять узкая, гладкая дорожка, опять быстрый бѣгъ запыхавшейся тройки оленей, опять мой ямщикъ съ длиннымъ тонкимъ шестомъ въ мохнатой шубѣ, и все это словно хочетъ смыть тяжелыя думы, словно хочетъ примирить съ жалкой дѣйствительностью бѣднаго дикаря.

Вонъ показались юрты въ лѣсу. Къ нимъ чуть замѣтна съ дороги тропа.

Громадныя ели словно застыли подъ тяжестью только что выпавшаго ночью снѣга, этотъ же снѣгъ закуталъ плоскую крышу вогула, забилъ его низенькія стѣны, запушилъ маленькій дворикъ, и только синій дымокъ изъ трубы говоритъ, что тамъ мирно живетъ человѣкъ, словно боясь нарушить тишину этого дремучаго лѣса, словно наслаждаясь сознаніемъ, что онъ такъ далеко отъ того грязнаго, безпокойнаго міра, который несетъ только одни ему разочарованія и ужасъ...

И хочется, чтобы совсѣмъ юрта спряталась въ эту трущобу, совсѣмъ бы ничего не видѣла, не знала... Но нѣтъ, и

въ нее завтра пріѣдетъ пьяный жадный купецъ, и въ ней онъ разсядется съ ящикомъ товаровъ, и въ ней онъ подниметъ шумъ за отрѣзанные хвосты пропитыхъ бѣлокъ, и въ ней онъ отравитъ всѣхъ водкой, и запоетъ она, зашумитъ дикими голосами, словно обезумѣвъ отъ спирта, словно лишившись ума, послѣ цѣлаго года мирной, тихой жизни рядомъ съ природой...

Богатый старикъ Кирила меня настоятельно просилъ заѣхать въ его юрты, онѣ мнѣ по дорогѣ, и я велю ямщику къ нему ѣхать. Ямщикъ сіяетъ отъ радости, для него многаго стоитъ побывать со мною въ гостяхъ у такого хлѣбосольнаго вогула: тутъ насъ угостятъ уже не одной мороженой свѣжей нельмой, и онъ даже начинаетъ напѣвать про старика пѣсню, то затягивая высокую ноту, то пуская въ ходъ такое мычаніе коровъ, что я готовъ покатиться отъ хохоту, если бы не боялся его обидѣть...

Вотъ и пауль богатаго Кирилы. Но не ищите въ этомъ глухомъ бору значительныхъ построекъ, признаковъ зажиточности: вогулъ по-своему относится къ богатству. И если онъ имѣетъ въ лѣсу тысячное стадо оленей, если у него къ его услугамъ цѣлыя семьи работниковъ, то это еще его не заставляетъ забывать, что, быть можетъ, завтра случится падежъ скота, и онъ останется такимъ же бѣднякомъ, обычнымъ жителемъ этихъ лѣсовъ, какъ большинство окружающихъ.

Поэтому онъ не мѣняетъ жизни, не вводитъ роскоши, какъ бы это ни старались сдѣлать лакомые до наживы купцы, какъ бы его ни стыдило мѣстное начальство.

Онъ самъ первый работникъ въ стадѣ, онъ самъ ѣстъ то, что его рабочіе.

Но онъ любитъ принять гостя, угостить его доброй ухой изъ свѣжихъ налимовъ, поставить передъ нимъ чашку кренделей, выставить поземы, икру, о чемъ заботится его старуха, и повести любимый разговоръ о томъ, какъ жили въ старое доброе время вогулы, какимъ довольствомъ полна была ихъ самая жизнь...

Нечего и говорить о томъ, что насъ приняли съ радостью, меня даже поцѣловали старики, какъ принято это у нихъ между друзьями, и черезъ минуту уже я чувствовалъ, что и у дикарей можно пріятно провести зимній вечерокъ.

Просторная юрта пылала въ лучахъ огромнаго чувала; на срединѣ ея поставили низенькій столикъ къ широкимъ нарамъ,

на него въ минуту были собраны всякія яства вогула: и куски домашняго позема, и копченая сельдь, что заходитъ въ рѣку, и икра язя, и рыбное масло, и стружки мороженой рыбы, и мѣдный котелокъ чаю. И если все это не совсѣмъ подходило къ нашимъ сельскимъ угощеніямъ по вкусу, то все это съ избыткомъ выкупали разговорчивость старика, ласковость женщинъ. тѣ мелочи, въ которыхъ видна добрая, раскрытая душа хозяевъ... И если я только притрогивался къ кушаньямъ, то зато мой ямщикъ истреблялъ все съ такой охотой, что у него только пищало за ушами... Была и уха изъ свѣжихъ сеньковъ налима, варили и языкъ оленя, жарили и мясо лося.

Мы долго сидѣли, вели съ старикомъ разговоръ, онъ многое мнѣ повѣдалъ изъ старой и новой жизни, и, слушая его, мнѣ часто казалось, что я сижу съ русскимъ мужикомъ, здравый смыслъ котораго, наблюдательность, спокойный взглядъ на вещи такъ и говорятъ, что онъ не даромъ прожилъ на свѣтѣ.

Была уже полночь, когда я простился съ радушной семьей дикаря, меня опять поцѣловалъ старикъ, опять поцѣловала старуха и, какъ бы жалѣя меня, чтобы я не озябъ въ дорогѣ, надѣла на меня оленью шапку. Это уже былъ подарокъ, за который немного стыдно, за который хочется отдать что-нибудь отъ себя...

На другой день, поздно вечеромъ, въ одномъ паулѣ, куда мы съ ямщикомъ заѣхали напиться чаю, мы неожиданно застали шамана, который оглушительно билъ въ барабанъ. Оказалось, въ юртѣ былъ больной вогулъ, и посредника боговъ привезли спросить, за что они послали на него болѣзнь и что имъ нужно въ жертву.

Мое появленіе нѣсколько перепугало вогуловъ, которые вообще скрываютъ идолопоклонство отъ начальства, чтобы не поплатиться за него, но я успокоилъ ихъ, и такъ какъ они уже знали, что я повредить имъ не могу, а только полюбопытствую, то скоро успокоились, и дѣло пошло на ладъ снова.

Косматый страшный старикъ-шаманъ снова усѣлся передъ горящимъ чуваломъ, нагрѣлъ шкуру барабана, и въ темной юртѣ, въ присутствіи мучавшагося въ горячкѣ вогула и нѣсколькихъ человѣкъ, снова раздались страшные звуки темнаго барабана. Всѣ смотрѣли на угли костра, словно тамъ вотъ сей-

часъ появятся духи, всѣ прислушивались въ какомъ-то экстазѣ къ мелкой замирающей дроби игры, которая то прерывалась страшными звуками, то стихала до звуковъ дождя. Смотрѣлъ туда же и самъ шаманъ, и при каждомъ трескѣ углей, при каждомъ вспыхиваніи обугленнаго дерева по юртѣ пробѣгалъ вдругъ шопотъ, становилось еще тише, всѣ замирали, словно дѣйстви-

Шайтаны вогуловъ домашніе.

тельно явилось существо. И невольно какъ-то поднимались волосы, пробѣгала дрожь по тѣлу... Я не вынесъ этой пытки и ушелъ въ другую юрту, гдѣ уже готовили для меня чай.

И долго еще потомъ гудѣлъ барабанъ, и страшно было въ эту ночь на дворѣ, гдѣ при слабомъ свѣтѣ луны, при чуть-чуть рощущемъ лѣсѣ глухо отдавались удары и замирали потомъ на рѣкѣ...

Въ другихъ юртахъ я встрѣтилъ фельдшера. Но вся его практика, оказалось, заключалась въ томъ, что онъ зимой вздумалъ прививать оспу.

Въ одной юртѣ раздавались раздирающіе голоса ребятъ, покрываемые воемъ женщинъ. Я иду туда и останавливаюсь въ

недоумѣніи. Передо мной столъ, на немъ вся въ крови бѣлая скатерть, лежатъ какіе-то страшные ножи, какими орудуютъ повара на кухнѣ, и самъ виновникъ всего старательно натачиваетъ ножъ на точилѣ, словно собираясь рѣзать ребятъ на ужинъ...

Я очень помѣшалъ операціи. Оказалось, что догадливый эскулапъ нарочно устроилъ эту декорацію, чтобы сбить съ толку сердобольныхъ матерей, оставшихся однѣ въ юртахъ, чтобы онѣ несли ему шкурки оленей, о дохѣ изъ которыхъ онъ мечталъ уже давно... И онѣ въ ужасѣ отъ ножей, отъ мысли, что будутъ рѣзать ихъ ребятъ, несли ему все, что имѣли...

Произошло маленькое недоразумѣніе, шкуры унесли прочь, женщины съ радостью убрались по юртамъ, и ножи и скатерть быстро попрятались въ чемоданъ, чтобы послѣдовать въ слѣдующія юрты... Это путешествовалъ медицинскій объѣздъ.

Отъѣхавъ триста, болѣе, верстъ отъ пауля, гдѣ осталось начальство, я неожиданно въ одной юртѣ встрѣтилъ одного изъ тѣхъ вершителей судебъ, которыми еще богата наша Сибирь.

Замерзши съ дороги, я радъ былъ поскорѣе зайти въ юрту и подсѣсть къ разгорѣвшемуся чувалу. Зайдя, я увидѣлъ, что за столомъ, что-то закусывая, сидитъ какой-то толстый человѣкъ въ малицѣ, въ шапкѣ, какъ здѣсь ѣздятъ обычно купцы, и, кивнувъ головой, молча усѣлся поскорѣе къ огоньку.

За мной что-то заворочалось, заворчало, проѣзжающій внушительно крякнулъ и вдругъ закричалъ на меня: «Кто ты такой? паспортъ!..»

Я въ удивленіи оглянулся, назвалъ себя и сказалъ:

— Позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю честь говорить?..

— Паспортъ!—закричала громко уже особа...

— Позвольте — всталъ я: — я совсѣмъ не знаю, кто вы, по одеждѣ не видно, — догадываясь, что, вѣроятно, это кто-нибудь изъ тѣхъ лицъ, которыхъ такъ трепетно ждали къ сбору ясака,— да у меня и нѣтъ съ собой паспорта, я ѣду къ себѣ, на станцію, я здѣсь извѣстный человѣкъ, меня, кажется, всѣ знаютъ...

— А, — обрадовался онъ, — нѣтъ паспорта, — я васъ арестую!—вскрикнулъ онъ и даже привсталъ на мѣстѣ, — я земскій засѣдатель такого-то участка.

— Очень радъ васъ видѣть, — говорю я ему: — какъ вамъ угодно, у меня бумаги на станціи, арестуйте,—но, вспомнивъ, что со мной былъ, на случай упорства писаря, положенъ открытый листъ для оказанія содѣйствія мнѣ въ путешествіи, вдругъ сказалъ: — а хорошо, я сейчасъ вамъ покажу, что нужно, — и распорядился принести мнѣ саквояжъ.

Въ то время, когда я въ немъ рылся, засѣдатель ворочался, ворчалъ, отдувался, вѣроятно, обдумывая, что еще со мной сдѣлать безъ паспорта, но тутъ я нашелъ, что искалъ, и, развернувши передъ нимъ бумагу, смѣясь протянулъ ее къ нему въ руки.

— Нѣтъ, нѣтъ, ну, что вы думаете, я нарочно спрашиваю,— сталъ онъ вдругъ отпираться, прижатый, въ свою очередь,— вы знаете, здѣсь такое мѣсто, много политическихъ ссыльныхъ...

— Позвольте, говорю я, вы слышали хорошо мою фамилію, я сказалъ вамъ, кто я, хотя могъ не отвѣтить, не видя на васъ формы,—но онъ ласково протянулъ руку, сталъ просить не сердиться, сказалъ, что онъ раздраженъ, давно ѣдетъ, оленей вогулы ищутъ по цѣлому часу, задержка на каждой станціи, а теперь святки, въ городѣ просили въ карты остаться играть, да исправникъ выгналъ, и вотъ изволь, какъ собака, скакать сломя голову по лѣсу, мерзнуть, голодать, не спать, и я повѣрилъ ему, что онъ дѣйствительно достоинъ только сожалѣній.

Черезъ часъ, подливая ему въ чай коньяку, я уже дружески разговаривалъ съ нимъ объ ясакѣ, вогулахъ, краѣ, положеніи дѣлъ и пр.

Онъ былъ далеко неглупый человѣкъ, понималъ, что многое въ краѣ нехорошо, что масса злоупотребленій, торговцы совсѣмъ стѣснили дикарей, край бѣднѣетъ и вымираетъ, но всему были какія-то уважительныя причины, которыя совсѣмъ отъ него не зависѣли, передъ которыми надо молчать, противъ которыхъ нельзя бороться...

Купцы, оказывается, живутъ и владѣютъ вогулами искони вѣковъ, послѣдніе имъ должны тысячи, законовъ нѣтъ, законъ Сперанскаго устарѣлъ, новаго не выдумали, оградить собственность, свободу дикаря нечѣмъ, ему предоставлено самостоятельное управленіе, свой судъ, гдѣ самосудство безконтрольно, гдѣ даже нѣтъ того признака чести дикаря, которымъ такъ онъ славится на бумагѣ, въ понятіяхъ образованныхъ людей; все сведено къ водкѣ, взяткамъ, которымъ ихъ научили еще казаки триста лѣтъ тому назадъ; духовенство посылается такое, котораго нельзя держать и въ пятистахъ верстахъ отъ архіерея,

всюду бѣдность, недостатокъ средствъ, нельзя проѣхать, да и проѣздъ-то стоитъ денегъ тѣмъ же вогуламъ, и онъ обрисовалъ дѣло такъ, что хоть бѣги отсюда даже самъ засѣдатель...

Когда мы покончили съ общими вопросами, онъ освѣдомился, былъ ли я на ясакѣ, все ли тамъ благополучно, высказалъ опасеніе за писаря, что онъ иногда попиваетъ и дерется съ вогулами, что еще въ прошломъ году его тамъ на ясакѣ таскали за какую-то бабешку за волосы и выдрали бороду, и справился, какъ хорошъ былъ сборъ въ Кабинетъ шкурокъ.

Когда я сказалъ: «да, кажется, хорошъ, я видѣлъ нѣсколько славныхъ черныхъ, рѣдкихъ соболей, нѣсколько куницъ, до десятка огневокъ лисицъ», онъ очень сожалѣлъ, что я не могъ ему сказать точно цыфру того и другого, потому что, прибавилъ онъ: «этотъ писарь плутъ, постоянно что-нибудь стянетъ получше для исправника въ подарокъ и представитъ такую рвань, что стыдно и выбрать что получше...»

— Какъ,—говорю я,—развѣ не все представляется въ Кабинетъ? Я слышалъ...

— Ну, голубчикъ, — добавилъ онъ смѣясь, — туда все представляется, правда, да уже не то, что было дано, — тутъ писарь пороется, тутъ исправникъ запуститъ руку, кое-что уйдетъ подъ видомъ рухляди на мнимые торги, а остатокъ вышлютъ дальше...

Онъ скромно промолчалъ про собя, но изъ разговора и изъ того, какъ онъ заинтересовался сборомъ, было видно, что и его рука тамъ побываетъ скоро, потому что онъ не разъ заботливо говорилъ, что надо бы купить у этихъ каналій вогулъ нѣсколько шкурокъ хорошихъ соболей одному нужному человѣку въ губернію.

Во время нашего, дружескаго теперь, разговора я замѣтилъ, что нѣсколько разъ выходилъ на дворъ, озабоченный чѣмъ-то, его денщикъ, слышалъ, что тотъ громко ругался на вогуловъ, что они до сихъ поръ не могутъ словить для его барина оленей, и разъ даже слышно было, какъ пошла какая-то потасовка въ сѣняхъ, при чемъ кто-то сопѣлъ, кряхтѣлъ, надсаживался... Бросившаяся въ дверь на шумъ женщина на секунду отворила двери, и я могъ видѣть взмахъ руки и жалкую фигуру, которой наносили удары... Но засѣдатель даже не обратилъ на это вниманія. Черезъ нѣсколько минутъ я видѣлъ, какъ въ юрту вошли, какъ ни въ чемъ не бывало, сердитый казакъ и вогулъ-

хозяинъ, который былъ десятникомъ въ этихъ юртахъ и несъ, стало быть, отвѣтственность за исправность; одинъ тяжело отдувался, другой вытиралъ полой малицы губы, и снова оба они не говоря ни слова, усѣлись на нары, дожидаясь оленей и слушая наши откровенные разговоры.

Наконецъ оленей привели. Мы попрощались, засѣдатель просилъ меня забыть минутное недоразумѣніе встрѣчи, пообѣщался ко мнѣ заѣхать на станцію, похвалилъ коньякъ, сѣлъ и укатилъ въ сторону Дыдыма.

— Ну,—обратился я къ десятнику, который провожалъ глазами поѣздъ горячаго начальства за поворотъ рѣки,—ищи теперь мнѣ оленей, пора и мнѣ ѣхать.

— Ну, а ты куда торопишься,—говоритъ онъ мнѣ,—ты самъ хозяинъ, погоди, успѣешь, довеземъ.

Я отвѣчаю, что уже надоѣло ѣхать, поскорѣй домой хочется...

— Ну, вотъ надоѣло, намъ не надоѣло возить; вози, вози да еще въ зубы колотятъ.

— А что, попало тебѣ отъ казака?—спрашиваю его.

— Дуракъ онъ,—протягиваетъ онъ обиженнымъ голосомъ,—не знаетъ, за что бьетъ: я развѣ виноватъ, что олени по лѣсу разбѣжались, вѣдь это не лошади, дома держать не станешь, другой разъ цѣлый день бѣгаешь по лѣсу, ищешь.

— Ну, говорю, поищи для меня еще.

— Вотъ, да куда ты торопишься, погоди, довеземъ, вѣдь ты драться не будешь?—спрашиваетъ онъ меня смѣясь, увѣренный, что я его не трону.

— Нѣтъ, драться не буду,—говорю ему.

— Ну, вотъ, чего тогда торопиться, вотъ казакъ ѣдетъ, того надо везти скоро, потому его писарь съ бумагами гонитъ, не везешь—въ морду бьетъ... Опять если писарь ѣдетъ, тоже надо везти скоро, потому его засѣдатель гонитъ, не везешь скоро—въ морду лѣзетъ... Опять засѣдатель, самъ видѣлъ, ѣдетъ, тоже надо везти скоро, тоже морду бьетъ. Его исправникъ гонитъ. Ну, исправникъ ѣдетъ, того скорѣе надо везти, больно морду чешетъ... потому нельзя, его губернаторъ гонитъ, а тебя какой шайтанъ гонитъ, ты самъ хозяинъ, погоди, успѣемъ, довеземъ,— и онъ, потрепавши меня ласково по плечу, всталъ на лыжи, шаркнулъ одной ногой, шаркнулъ другой и, легко покачиваясь, покатился по направленію къ лѣсу, неслышно скользнулъ въ него и скрылся, оставивъ меня въ раздумьѣ.

ПО СЛѢДАМЪ КНЯЗЯ КУРБСКАГО.

(Изъ путешествія по Сѣверному Уралу).

Это было въ 1884 году.

Я жилъ тогда въ вогульскомъ глухомъ краю, и моя станція была маленькій деревянный домикъ на берегу рѣки Сыгвы, вблизи небольшого зырянскаго поселка, который до сихъ поръ носитъ не русское, не зырянское названіе, а вогульское—«Саранъ-пауль».

Такихъ маленькихъ поселковъ немало и въ настоящее время по Сѣверному Уралу: бродитъ по лѣсу съ ружьемъ и собакой охотникъ-зырянинъ съ Печоры, гонитъ лося, стадо дикихъ оленей по насту, перебѣжитъ на лыжахъ Уральскій хребетъ, высмотритъ, какъ привольно устроились дикари у своихъ звѣровыхъ и рыбныхъ угодій, обзарится на чужой край, облюбуетъ себѣ мѣстечко для поселка и, смотришь, черезъ годъ является туда уже и со своей женой, и со своими ребятишками, и со своимъ скарбомъ. Посмотрятъ на него дикари, покачаютъ головой; жаль станетъ гнать бѣднаго человѣка и скажутъ ему: «живи». А черезъ годъ къ нему уже пріѣдетъ другая семейка, потомъ—третья, и у всѣхъ полна изба бѣлокурыхъ бойкихъ ребятъ, и, смотришь, среди дикарей—цѣлый зырянскій поселокъ и такая кипучая дѣятельность, такая торговля, что даже дикари и тѣ любуются, какъ умѣетъ на ихъ мѣстѣ устраиваться русскій человѣкъ. Обложатъ ихъ податью въ свою пользу и живутъ люди, и ребятъ наживаютъ и деньги, даже мало поду-

мывая о начальствѣ.. Послѣднее догадается о поселкѣ только черезъ десять лѣтъ, когда тамъ оснуется уже цѣлая деревушка. Пріѣдетъ начальство и, разумѣется, закричитъ: «какъ вы смѣли такіе-сякіе», «кто вамъ далъ позволеніе», «долой, чтобы не было вашего духа», и полетятъ подушки, перины на улицу, всѣхъ ребятъ выгонятъ на улицу, ревъ, плачъ, настоящее столпотвореніе, пока зыряне не догадаются умилостивить «большого шайтана» и не повытащатъ изъ своихъ сундучковъ: шкурокъ соболей, дорогихъ лисицъ, старыхъ серебряныхъ рублей и всякой дорогой всячины.. И, смотришь, зыряне снова живутъ припѣваючи, поджидая слѣдующаго набѣга начальства.

Вотъ около такого-то поселочка я и жилъ тогда, путешествуя по Сѣверному Уралу, въ своей маленькой зимовкѣ. И хорошо было: передъ окномъ громадная рѣка; дикія утки по цѣлымъ утрамъ плещутся около самаго берега; за рѣкой на пескѣ—чумъ вогула-рыболова, за нимъ большое озеро съ голосами музыкальныхъ лебедей, а сзади такой густой, дикій, еловый лѣсъ, такая чаща непроходимая, словно я гдѣ въ тропической какой странѣ, а не на сѣверѣ Сибири. И Лыско мой каждую ночь будитъ меня ворчаніемъ, слыша блуждающаго медвѣдя. И ничего, живешь себѣ тутъ, занимаешься, пишешь, чертишь, распѣвая пѣсенки, и, бывало, какъ роднымъ обрадуешься, когда пріѣдутъ на лодкѣ добрыя зыряночки и навезутъ калиновыхъ пироговъ и скоромныхъ шанегъ, или заглянетъ добрый старикъ вогулъ Савва и позоветъ меня ловить съ собой ночью на озерѣ жирныхъ карасей...

Но всего больше я любилъ тамъ прогулки за рѣкою. Тамъ была страшная поросль, и кусты ивы и черемухи такъ поросли, что бывало едва проберешься сквозь нихъ за распѣвающимъ рябчикомъ, который такъ тебя и манитъ все дальше и дальше отъ берега, откликаясь тебѣ поминутно своимъ тоненькимъ, пѣвучимъ, милымъ голосомъ. Это была моя любимая охота: высмотришь его гдѣ на вѣткѣ черемухи или калины, приложишься—трахъ, и слышишь, уже онъ бьется крылышками на землѣ у желтаго листа и такъ часто, часто, быстро, быстро, словно онъ все еще летитъ по воздуху... Бросишься къ нему; поцарапаешь руки, лицо вѣтками, но это ничего: главное—эта милая птичка съ пушистыми лапками и красненькой бровью, и въ минуту она уже въ рукахъ, и жаль ея, и дорога она тебѣ, какъ единственное лакомое кушанье.

ПО СЛѢДАМЪ КНЯЗЯ КУРБСКАГО.

(Изъ путешествія по Сѣверному Уралу).

Это было въ 1884 году.

Я жилъ тогда въ вогульскомъ глухомъ краю, и моя станція была маленькій деревянный домикъ на берегу рѣки Сыгвы, вблизи небольшого зырянскаго поселка, который до сихъ поръ носитъ не русское, не зырянское названіе, а вогульское—«Саранъ-пауль».

Такихъ маленькихъ поселковъ немало и въ настоящее время по Сѣверному Уралу: бродитъ по лѣсу съ ружьемъ и собакой охотникъ-зырянинъ съ Печоры, гонитъ лося, стадо дикихъ оленей по насту, перебѣжитъ на лыжахъ Уральскій хребетъ, высмотритъ, какъ привольно устроились дикари у своихъ звѣровыхъ и рыбныхъ угодій, обзарится на чужой край, облюбуетъ себѣ мѣстечко для поселка и, смотришь, черезъ годъ является туда уже и со своей женой, и со своими ребятишками, и со своимъ скарбомъ. Посмотрятъ на него дикари, покачаютъ головой; жаль станетъ гнать бѣднаго человѣка и скажутъ ему: «живи». А черезъ годъ къ нему уже пріѣдетъ другая семейка, потомъ—третья, и у всѣхъ полна изба бѣлокурыхъ бойкихъ ребятъ, и, смотришь, среди дикарей—цѣлый зырянскій поселокъ и такая кипучая дѣятельность, такая торговля, что даже дикари и тѣ любуются, какъ умѣетъ на ихъ мѣстѣ устраиваться русскій человѣкъ. Обложатъ ихъ податью въ свою пользу и живутъ люди, и ребятъ наживаютъ и деньги, даже мало поду-

мывая о начальствѣ.. Послѣднее догадается о поселкѣ только черезъ десять лѣтъ, когда тамъ оснуется уже цѣлая деревушка. Пріѣдетъ начальство и, разумѣется, закричитъ: «какъ вы смѣли такіе-сякіе», «кто вамъ далъ позволеніе», «долой, чтобы не было вашего духа», и полетятъ подушки, перины на улицу, всѣхъ ребятъ выгонятъ на улицу, ревъ, плачъ, настоящее столпотвореніе, пока зыряне не догадаются умилостивить «большого шайтана» и не повытащатъ изъ своихъ сундучковъ: шкурокъ соболей, дорогихъ лисицъ, старыхъ серебряныхъ рублей и всякой дорогой всячины.. И, смотришь, зыряне снова живутъ припѣваючи, поджидая слѣдующаго набѣга начальства.

Вотъ около такого-то поселочка я и жилъ тогда, путешествуя по Сѣверному Уралу, въ своей маленькой зимовкѣ. И хорошо было: передъ окномъ громадная рѣка; дикія утки по цѣлымъ утрамъ плещутся около самаго берега; за рѣкой на пескѣ—чумъ вогула-рыболова, за нимъ большое озеро съ голосами музыкальныхъ лебедей, а сзади такой густой, дикій, еловый лѣсъ, такая чаща непроходимая, словно я гдѣ въ тропической какой странѣ, а не на сѣверѣ Сибири. И Лыско мой каждую ночь будитъ меня ворчаніемъ, слыша блуждающаго медвѣдя. И ничего, живешь себѣ тутъ, занимаешься, пишешь, чертишь, распѣвая пѣсенки, и, бывало, какъ роднымъ обрадуешься, когда пріѣдутъ на лодкѣ добрыя зыряночки и навезутъ калиновыхъ пироговъ и скоромныхъ шанегъ, или заглянетъ добрый старикъ вогулъ Савва и позоветъ меня ловить съ собой ночью на озерѣ жирныхъ карасей...

Но всего больше я любилъ тамъ прогулки за рѣкою. Тамъ была страшная поросль, и кусты ивы и черемухи такъ поросли, что бывало едва проберешься сквозь нихъ за распѣвающимъ рябчикомъ, который такъ тебя и манитъ все дальше и дальше отъ берега, откликаясь тебѣ поминутно своимъ тоненькимъ, пѣвучимъ, милымъ голосомъ. Это была моя любимая охота: высмотришь его гдѣ на вѣткѣ черемухи или калины, приложишься—трахъ, и слышишь, уже онъ бьется крылышками на землѣ у желтаго листа и такъ часто, часто, быстро, быстро, словно онъ все еще летитъ по воздуху... Бросишься къ нему; поцарапаешь руки, лицо вѣтками, но это ничего: главное—эта милая птичка съ пушистыми лапками и красненькой бровью, и въ минуту она уже въ рукахъ, и жаль ея, и дорога она тебѣ, какъ единственное лакомое кушанье.

Разъ, охотясь такъ какъ разъ противъ поселка Саранъ-пауль, за рѣкою Сыгвою, я, какъ сейчасъ помню, развелъ руками какой-то кустъ густой черемухи и такъ и застылъ на мѣстѣ.

Передо мной въ кустахъ—обугленная временемъ, бревенчатая, вся темная постройка, и все такъ поросло травой, такъ затянуло кустарникомъ, что видны только стѣна, маленькое оконце и часть повалившагося частокола...

Въ первое время я подумалъ, что я напалъ на капище вогуловъ; но потомъ скоро пришлось мнѣ разубѣдиться: постройка представляла изъ себя старую бойницу-крѣпость, и когда я осторожно туда проникъ, то въ ней оказались двѣ низенькія, полукруглыя двери и выше потолка такія кругомъ по стѣнамъ полати, которыя явно служили жителямъ этой странной крѣпости мѣстомъ сраженія, потому что повсюду въ стѣнахъ ихъ, выдавшихся на улицу, были продѣланы маленькія отверстія, въ которыя вставлялись старинныя «пищали».

Несомнѣнно, передо мною была старинная русская крѣпость, за что говорила и стѣна около нея изъ высокаго, плотнаго еще до сихъ поръ частокола, хотя этой стѣнѣ, этой крѣпости было ровно триста лѣтъ.

Это была для меня цѣнная находка, и я, помню, совсѣмъ позабылъ рябчика, за которымъ гнался по лѣсу и который продолжалъ еще пищать, вѣроятно, сожалѣя, что ему вдругъ перестали отвѣчать голосомъ его самочки. И помню, такъ занялся разыскиваніемъ надписей, слѣдовъ здѣсь человѣка, что пробылъ тутъ часа три, не менѣе. Но всѣ мои попытки отыскать дату этого страннаго сооруженія не привели ни къ какому результату, потому что стѣны такъ были обуглены временемъ, что всѣ знаки ножа и топора уже сгладились временемъ, и мнѣ предстояло разгадать загадку только при помощи развѣ старика Саввы, который долженъ мнѣ былъ сказать, къ какому времени относится эта странная, запрятанная теперь въ лѣсу постройка.

Хотя я зналъ по опыту, что дикари страшно слѣдятъ за моими экскурсіями и боятся выдать моему странному любопытству то, что хранятъ ихъ густые, непроходимые лѣса, но на этотъ разъ я не обманулся: Савва, дѣйствительно, рѣшился просвѣтить меня насчетъ этой странной въ лѣсу крѣпости, и хотя таинственно, хотя съ просьбой, чтобы я никому не говорилъ въ ихъ краѣ, но сообщилъ, что эта крѣпость—наша, русская, которую устроилъ одинъ «высокій бояринъ» въ старыя времена, который чудомъ

какимъ-то перешелъ съ войскомъ черезъ ихнія горы на лыжахъ и взялъ ихъ городокъ, извѣстный подъ именемъ «Ляпина».

Ляпинъ тогда стоялъ какъ разъ на мѣстѣ зырянскаго нынѣшняго поселка и былъ такъ укрѣпленъ, такъ обнесенъ валомъ и столько въ немъ жило его братіи, что, казалось, ихъ никогда не можетъ никто побезпокоить. И если, бывало, и безпокоила когда дикая чудь или самоядь, неожиданно наѣзжая на нихъ зимой съ Урала, то они никогда не пропускали ее далѣе внизъ по рѣкѣ, къ другимъ такимъ же вогульскимъ городкамъ ихъ края, въ которомъ ихъ считалось не менѣе тридцати, а всегда отстрѣливались своими стрѣлами, начиняя ихъ зубомъ и костью.

Но тутъ случилось такъ, что вмѣсто дикой самояди на нихъ напалъ русскій бояринъ; они не выдержали его смѣлаго натиска, стрѣлы ихъ отказались пробивать ихъ «желѣзное (кольчуга) тѣло», и вогулы сдались и принесли имъ и шкурки соболя, и дорогія темныя шкурки лисицы... И вотъ, какъ разъ противъ Ляпина, русскіе устроили крѣпость и посадили туда воеводъ и казаковъ съ пищалями, чтобы снимать ясакъ съ ихняго брата Бѣлому Государю. И этотъ дикій народъ еще не разъ подымался противъ нихъ, пріѣзжалъ сюда цѣлымъ становищемъ зимою, укрѣплялся въ Ляпинѣ и пускалъ въ эту крѣпость свои стрѣлы, но стрѣлы никакъ не могли пробить деревянныя стѣны бойницъ, и русскіе никакъ не подпускали близко ихъ къ себѣ, отбиваясь выстрѣлами изъ пищалей.

Побьются, побьются такъ зиму и, смотришь, сдадутся казакамъ и несутъ снова имъ подати въ пользу государя. И кому нужно проѣхать внизъ по рѣкѣ зимой ли, лѣтомъ, никакъ нельзя проѣхать иначе, какъ черезъ ворота крѣпости, и тутъ-то и брали русскіе свою долю. Мирный кто, заведутъ въ ворота, возьмутъ, что требуется, напоятъ водкой и отпустятъ; непокорливый кто, порютъ его и даже, случалось, вѣсятъ за ноги его на крюкъ и вырѣзаютъ на память изъ спины его ремень.. И добрый старикъ даже показалъ мнѣ тотъ самый желѣзный крюкъ, на какихъ вѣшали тогда русскіе вогуловъ и самоѣдовъ за бунтовство и непокорность, который онъ теперь съ успѣхомъ употребляетъ для болѣе мирной цѣли—ловли большихъ сомовъ подъ камнями, навѣшивая на него тухлую тетерю.

Особенно, по словамъ старика-вогула Саввы, доставалось тогда непокорной самояди: бойкій народъ былъ и страшно не любилъ

ни русскихъ, ни вогуловъ, и только что настанетъ зима, какъ, смотришь, ѣдетъ уже воевать съ русскими; вся рѣка уставлена санками и шестами; отъ костровъ дымъ по лѣсу, какъ отъ пожара, и начнутъ пробивать себѣ дорогу ниже по рѣкѣ, чтобы грабить по-старому вогула и брать съ него себѣ подати и дани. Но русскіе не даромъ, хотя и мало ихъ, сидятъ взаперти и, смотришь, пострѣляютъ ихъ стрѣлами, побѣгаютъ около тынка съ гикомъ и крикомъ, а взять не могутъ, и переловятъ ихъ русскіе и станутъ учить, какъ воевать противъ русскаго государя. Который побойчѣе — виситъ на крюкѣ и полосуется плетями; кто поотчаяннѣе—тому рѣжутъ ремни на спинѣ, и не только усмирятъ такъ, но еще проведутъ по спинѣ санками его оленей, чтобы видно было и другому бойкому разбойнику, что русскіе шутить не любятъ. .

И такъ покорили край, такъ прекратили набѣги дикой самояди съ Урала, и дикари узнали русскую силу и сдались, и побросали и вѣру свою, и независимость. И вотъ съ тѣхъ поръ стоитъ эта крѣпость, и такъ какъ дикари до сихъ поръ боятся ея и имъ чудится тамъ и крикъ самояди, и стонъ заключенныхъ, то они не ходятъ туда, не трогаютъ ее, и предоставили ее одному все разрушающему времени, которое, однако, давно уже стерло съ лица земли другія крѣпости, а эту не трогаетъ, обуглило и сохраняетъ, какъ единственное наглядное доказательство, какъ усмирялъ этотъ край русскій бояринъ и его казаки.

И эта крѣпость-бойница находится, говорятъ, и до настоящаго времени въ такомъ же положеніи, какъ въ мое время, заросшая въ лѣсу и посѣщаемая одними пѣвучими рябчиками, противъ поселка Саранъ-пауль, и было бъ крайне интересно ее сохранить такъ въ неприкосновенности и на будущее время, хотя отдавъ ее на попеченіе мѣстнаго духовенства или начальства и оградивъ ее канавою на случай лѣсного пожара.

И былина старика-вогула Саввы, дѣйствительно, отвѣчала правдѣ: я тогда же справился въ историческихъ источникахъ этого любопытнаго дикаго края и, дѣйствительно, нашелъ, что ровно триста лѣтъ тому назадъ сюда дѣйствительно проникалъ воевода князь Курбскій, который на лыжахъ перевалилъ весною эти громадныя, казалось непроходимыя, горы и завоевалъ этотъ край, устроивъ въ немъ свои крѣпости и разбивъ до тридцати вогульскихъ городковъ, напр., Ляпину и Сосьвы.

Но, напавши на такіе историческіе слѣды нашихъ завоеваній у вогуловъ, меня заинтересовало въ данномъ случаѣ не столько то, какъ и гдѣ воевали здѣсь русскіе люди триста лѣтъ томъ назадъ, сколько то, какъ они проникли черезъ эти неприступныя горы и сумѣли черезъ нихъ не только переправить своихъ казаковъ-лыжниковъ, но и тяжести своихъ пушекъ, военные припасы и обозы. И такъ какъ почти главной моей цѣлью путешествія въ этомъ краѣ тогда было разыскать путь, который бы могъ соединить Обь съ Печорой и этимъ дать выходъ избыткамъ Сибири къ портамъ Европы, то, разумѣется, эта мысль была мною особенно подхвачена, и я самъ лично рѣшилъ прослѣдить тотъ путь князя Курбскаго, по которому онъ зимой и лѣтомъ проводилъ сюда свое войско.

Разспрашивая вогуловъ, стариковъ этого края, я узналъ, что путь его былъ сначала по рѣкѣ Щугору, притоку рѣки Печоры, и только потомъ уже черезъ Уральскій хребетъ, по одной замѣчательно низкой долинкѣ, которая прямо и вывела его на притоки рѣки Сыгвы, къ Ляпинскому городку, откуда уже недалеко была самая рѣка Обь съ своимъ обширнымъ бассейномъ.

И вотъ только что наступило лѣто, и просохли немного тропинки въ лѣсу, которыя вели всѣ на Уралъ и къ горамъ отъ Ляпина, я сговорилъ одного услужливаго вогула и, воспользовавшись зырянской лошадью, отправился къ этому историческому проходу нашихъ войскъ, который меня страшно интересовалъ.

Но, помню, не успѣли мы съ нимъ проѣхать и десятокъ-другой верстъ по такой тропинкѣ лѣсомъ, какъ моя лошадь попала въ какое-то болотное зеркальце, и оба мы съ ней погрузились въ грязную тину и мохъ, чуть не утонувши со всѣми нашими припасами.

Насъ обмануло обманчивое маленькое болотце, и какъ-то, къ счастію нашему, еще мы не провалились сквозь мохъ, который покачивался и изгибался подъ нашими ногами, какъ скатерть, и вылѣзли оттуда живые, хотя и мокрые, но уже безъ сахара, чая и сухарей, которые были никуда уже негодными.

Я какъ сейчасъ помню эту картину, какъ мы вытаскивали лошадь за хвостъ изъ болота, и какъ я сидѣлъ потомъ на берегу этого злосчастнаго болота, оттирая отъ ушиба свою ногу и бровь, которыя я страшно ушибъ сѣдломъ, въ то время, когда мой проводникъ-вогулъ чуть не со слезами ѣлъ пригорш-

нями мой растаявшій сахаръ съ грязною водою, горько жалѣя, что пропадаетъ столько добра...

Помню, онъ съѣлъ его не менѣе пяти фунтовъ, и я боялся за его здоровье, но ему ничего не сдѣлалось, и мы въ тотъ же день благополучно съ нимъ возвратились на станцію, къ удовольствію жалѣющихъ насъ зырянъ.

Но откладывать принятое намѣреніе было не въ моемъ обычаѣ: и не прошло, помню, и недѣли времени, какъ я рѣшилъ отправиться другимъ путемъ, про который мнѣ говорили мои вогулы.

— Этотъ путь,—говорили они,—начинается ниже верстъ на 80 Саранъ-пауля-Ляпина, отъ такъ называемыхъ юртъ Хурумъ-пауль. Оттуда идетъ старинная тропа въ горы Урала; этой тропой каждую осень спускаются вогулы съ горъ съ своими стадами оленей и каждой весной снова поднимаются туда, изъ лѣсной области въ область голыхъ каменистыхъ, студеныхъ горъ.

По ихъ словамъ, это даже ближайшій путь къ горамъ Урала съ рѣки Сыгвы, и въ то же время самый удобный въ томъ отношеніи, что онъ минуетъ болота рѣки Щекурьи.

Въ Хурумъ-паулѣ—добавили они,—я всегда найду охотниковъ-проводниковъ, потому что это самыя бойкія вогульскія юрты, и въ то время, когда изъ другихъ юртъ всѣ отправляются лѣтомъ, весною на рыбные промыслы внизъ по рѣкѣ, хурумъ-паульскіе вогулы всегда остаются въ своихъ юртахъ, благодаря счастливымъ рыбнымъ мѣстнымъ угодьямъ.

Все это вполнѣ отвѣчало моимъ задачамъ, и я рѣшилъ какъ можно скорѣе отправиться, сплавиться по рѣкѣ, чтобы проникнуть къ Уралу.

На этотъ разъ счастіе сразу повернуло въ мою сторону: меня пригласили ѣхать на баркѣ, сплавляющейся внизъ къ рѣкѣ Оби, и разъ въ тихое, ясное, чудное утро, какія бываютъ и на дальнемъ Сѣверѣ, мы отчалили отъ пристани Саранъ-пауля и поплыли внизъ по рѣкѣ сплавомъ.

Мнѣ не забыть, кажется, никогда этого плаванія по рѣкѣ Ляпинъ.

Вода только что врѣзалась въ берега; рѣка походила на полное мутное зеркало, тишина была невозмутимая, теченіе быстрое, и мы плавно, быстро, безшумно скользили рѣкой, любуясь новымъ и новымъ все плесомъ. Вонъ берегъ, покрытый громадными исполинскими елями, которыя такъ и глядятся въ воду сво-

ими острыми вершинами, вонъ стѣна цѣлая темнаго кедроваго лѣса, вонъ тихій заливъ съ цвѣтущими кустами черемухи, вонъ тихій боръ, который вышелъ вдругъ къ рѣкѣ съ своими громадными желтыми соснами и бѣлой отъ ягеля почвой. И тихо кругомъ, какъ словно все спитъ или задумалось, и только порой въ кустахъ черемухи, заслышавъ человѣка, дастъ голосъ рябчикъ. Присмотришься къ нему, мимо проплываючи, и безъ труда разсмотришь его милую фигурку на вѣткѣ, распѣвающую любовную пѣсню. А дальше смотришь—вогульскія юрточки, маленькая площадка, вырубленная въ лѣсу, и лодочка у берега, и въ лѣсу, темномъ лѣсу только кой-гдѣ дымочекъ.

Такъ плыли мы весь день и всю ночь, я не сходилъ почти что съ палубы, любуясь сѣверной природой, и рано утромъ, когда только что поднялось солнышко, мы у цѣли нашего воднаго пути—у хурумъ-паульскихъ юртъ, гдѣ на берегу видны бѣлые подъ солнцемъ берестяные шалаши вогуловъ и громко лаетъ цѣлая свора оригинальныхъ, бѣлыхъ сѣверныхъ собакъ, спутниковъ въ лѣсу дикаря—лаекъ. И эти юрты, эти шалашики подъ вѣтками густой пихты, этотъ синій дымокъ на темной зелени елей, этотъ низменный берегъ лѣтней стоянки рыболововъ съ опрокинутыми лодочками и стройными фигурами дикарей въ оленьихъ шкурахъ—что-то такое интересное при первыхъ лучахъ солнца, что такъ бы и показалъ все это на желатинѣ гдѣ-нибудь у Чернышева моста во всей этой дикой, но чарующей глазъ, обстановкѣ природы.

Любопытная, дикая еще до настоящаго времени страна; я какъ теперь вижу передъ собой твои бѣдныя, но радушныя юрты и твоихъ улыбающихся и кивающихъ головой дикарей, которые встрѣчали меня ласковымъ «пайся» и провожали цѣлой толпой, говоря: «и осъ емасъ улумъ», дружнымъ, радушнымъ, подкупающимъ голосомъ. Сколько разъ я останавливался въ очарованіи передъ твоими деревянными, бревенчатыми, старенькими юртами, спрятанными въ вѣтвяхъ ели, сколько разъ я любовался, какъ умѣлъ этотъ дикарь маскировать свое селеніе для звѣря и птицы, которая налетала и выбѣгала порой къ самому окну дикаря; сколько разъ я приходилъ въ очарованіе отъ твоихъ торныхъ тропинокъ, убѣгающихъ въ чащу лѣса, и сколько разъ я останавливался тамъ при видѣ удивленныхъ, но милыхъ, черныхъ женскихъ глазъ, пугливо спрятавшихся за какой-нибудь вѣткой пихты... Очаровательный, дикій край, гдѣ

на каждомъ шагу было все новое, гдѣ на каждомъ шагу все говорило мнѣ, что это новая, невѣдомая еще для насъ, интересная жизнь и въ далекомъ прошломъ, и въ настоящемъ, гдѣ становилось, глядя на нее, страшно за ея будущее съ этой открытой, доброй душой дикаря и съ его неопытностью передъ русскимъ нашествіемъ и страстями. Откуда ты пришелъ сюда, дикарь, откуда ты принесъ такое доброе сердце въ эту суровую природу и какія мѣста юга оглашали прежде, въ доисторическія времена, мелодіи твоихъ былинъ и пѣсенъ, которыя ты поешь теперь при каждомъ случаѣ: садишься ли ты въ свой легкій челнокъ, или отдаешься своей торной тропинкѣ, иль тонешь въ этомъ вѣчно молчаливомъ, мрачномъ, пустынномъ лѣсу? Пой ихъ, пока тебя не обезпокоила наша цивилизація; пой ихъ, пока тебя не знаетъ еще наше горе...

Въ Хурумъ-паулѣ какъ разъ ловили въ эту пору рыбу, когда узнали, что мнѣ страшно нужно проводниковъ, чтобы пройти слѣдами стараго русскаго боярина, который завоевалъ край. Но какъ ни дорого было время вогулу, когда онъ цѣлыми лодками добываетъ изъ рѣки сѣтками тысячи вкусныхъ сельдей, какъ ни нужно было это время остаться въ артели, но въ юртахъ Хурумъ-пауля тотчасъ же нашлись меня проводить на Уралъ три рослыхъ сильныхъ вогула, которые всего на всего потребовали за свой трудъ по 3 рубля въ сутки на человѣка.

Плата, которая и пятой долей не покрываетъ того ежедневнаго дохода въ эту пору дикаря, который онъ получаетъ послѣ долгой, полуголодной зимы короткимъ лѣтомъ и дружнымъ заходомъ рыбы съ моря.

Простодушные, добрые мои проводники, казалось, столько же были заинтересованы этой экскурсіей, сколько и я, и я хорошо помню, какое оживленіе охватило эти берестяные жалкіе шалаши, какой интересъ разлился по этимъ темнымъ смуглымъ лицамъ, когда по становищу разнеслась вѣсть, что «русскій бояръ» идетъ на Уралъ разыскивать на Печору дорогу, словно эта дорога ужъ Богъ знаетъ какое счастіе принесетъ ихъ краю съ не менѣе глухой, и такой же дикой и забытой нами, Печоры. Въ нашемъ шалашѣ, куда провелъ меня мой проводникъ, было настоящее военное собраніе; крикъ и шумъ безпрерывно нарушали обычную рѣчь, одинъ требовалъ, чтобы меня вели по той дорогѣ, другой кричалъ, что мнѣ нужно по другой, и споръ о направленіи, разговоры о выгодѣ пути и тысячѣ разныхъ преиму-

ществъ той и другой—были таковы, что словно я уже проводилъ тутъ желѣзную дорогу. Пока спорили мужчины, трактуя то направленіе и другое, указывая на историческіе слѣды князя Курбскаго, готовые спорить до слезъ, казалось, всѣ женщины были заняты нашимъ снаряженіемъ: однѣ изъ нихъ мяли въ рукахъ замшевые чулки, какіе носитъ вогулъ лѣтомъ, другія

Вогулы.

поджаривали наскоро, прямо на пламени костра, жирныхъ язей, съ которыхъ такъ и капалъ жиръ прямо въ пламя, а третьи бѣгали отъ шалаша къ шалашу, собирая что-то въ замшевые для путниковъ и рыбьи мѣшечки, а четвертыя наскоро выкатывали хлѣбъ на грязныхъ доскахъ, мѣшая его съ кровью оленя, и пекли передъ пламенемъ огня черныя лепешки въ дорогу, тогда какъ нѣсколько стройныхъ дѣвушекъ, въ однѣхъ ситцевыхъ, съ крупными разводами до колѣнъ, рубашкахъ, то и дѣло летали за разными порученіями по извилистымъ тропамъ въ лѣсъ, показывая намъ на бѣгу черныя, полныя икры. И, смотря на это оживленіе юртъ, мнѣ даже стыдно

было, что я надѣлалъ тутъ столько хлопотъ и заботы, придя сюда съ какой-то отвлеченной идеей непремѣнно посмотрѣть тотъ путь, которымъ триста лѣтъ тому назадъ шелъ на лыжахъ князь Курбскій съ казаками и отъ котораго, вѣроятно, тамъ ровно уже ничего не осталось послѣ все сокрушающаго времени.

Но вотъ, наконецъ, хлопотливые сборы окончены, мои проводники одѣты въ суконные дождевики, на ногахъ—замша оленя, на боку—ножъ съ широкимъ ремнемъ и мѣдною пряжкою, черезъ плечо—кремневыя ружья, и только на головѣ ничего нѣтъ, потому что вогулъ привыкъ вѣчно обходиться безъ шапки, довольствуясь одними развѣвающимися по вѣтру кудрявыми длинными волосами, которые онъ то заплетаетъ въ косы, украшая краснымъ пояскомъ, или просто носитъ свободно, придавая себѣ видъ уже настоящаго лохматаго индѣйца. Еще нѣсколько ласковыхъ поцѣлуевъ родныхъ, еще нѣсколько возгласовъ относительно сборовъ, изъ лѣса кличутся бѣлые псы, другихъ привязываютъ къ шалашамъ и держатъ, чтобы не убѣжали за охотниками, и мы выступаемъ на берегъ къ лодкамъ, куда насъ провожаетъ шумная, говорливая толпа всѣхъ обитателей Хурумъ-пауля.

Съѣстной припасъ положенъ въ носъ лодки; ружья бережно кладутся со своими припасами вдоль бортовъ, проводники ловко садятся, сопровождаемые пожеланіями и неизмѣнными совѣтами въ дорогу, и мы отчаливаемъ при такомъ дружномъ шумномъ «осъ емасъ улумъ», которое походитъ на наше «ура», что лаютъ даже собаки.

Какой-то любитель сильныхъ ощущеній палитъ на берегу даже изъ винтовки; мои проводники хватаются за ружья и палятъ ему въ отвѣтъ, и эхо выстрѣловъ съ такимъ трескомъ разносится по лѣсу и такъ откликается далеко на рѣкѣ, что даже собаки пауля и тѣ приходятъ въ смущеніе, поднимаютъ такой лай, словно имъ грозитъ нашествіе медвѣдей.

Намъ предстоитъ пока проѣхать нѣсколько верстъ до зимнихъ юртъ Хурумъ-пауля и потомъ уже тамъ оставить лодки и направиться сухимъ путемъ пѣшкомъ на горы и отроги Урала, до которыхъ, по крайней мѣрѣ, восемьдесятъ верстъ.

Легкій челнокъ замѣчательно быстро подвигается подъ усиліями трехъ гребцовъ; остроконечныя весла ихъ, въ видѣ длинныхъ листьевъ, безшумно погружаются въ воду, и вся наша экспедиція теперь, въ составѣ четырехъ персонъ и пары псовъ, безшумно поднимается вверхъ по рѣкѣ, огибая ея пологіе, красивые повороты.

Въ зимнихъ юртахъ Хурумъ-пауля мы надѣлали неожиданный переполохъ; тамъ никого не было во всѣхъ юртахъ, кромѣ

Зимняя хижина вогуловъ.

одного старика Тита, и онъ былъ страшно удивленъ пріѣзду такого шумнаго общества, которое неожиданно появилось у его уже вросшей въ землю и заросшей травами юрточки, въ которой онъ неслышно проводилъ все лѣто, охраняя мѣстныхъ боговъ.

Онъ уже думалъ, что пріѣхали къ нему зыряне-разбойники грабить его шайтановъ, и было уже заперся въ юртѣ, положивъ рядомъ съ собою топоръ; но вмѣсто зырянъ, которые дѣйствительно порой здѣсь пошаливаютъ, обирая серебро у боговъ вогула по капищамъ, вдругъ его окликиваютъ знакомые вогулы,

и онъ появляется передъ нами въ низенькихъ дверяхъ своей старой юрточки, какъ настоящій отшельникъ.

Чѣмъ онъ живетъ тутъ цѣлое лѣто, я не знаю, но отъ его юрточки только всего одна тропа къ рѣкѣ, по которой онъ ходитъ къ своей старой, почти негодной лодочкѣ, вѣроятно, ловя сѣтками гдѣ-нибудь на озерѣ карасей.

Помню, старикъ страшно намъ обрадовался и такъ заторопился намъ зажечь огонь въ душѣ своего стараго жилища—чувалѣ, что даже позабылъ, гдѣ у него приготовлены дрова и куда запропастилась береста.

Но старика вызвались вывести изъ этого затрудненія, и такъ какъ у него не было ни одного полѣшка дровъ и онъ просто отоплялъ свое жилище хворостомъ, то живо наломали ему цѣлую кучу сосновыхъ дровъ и развели такой костеръ въ его хижинѣ, что даже старику стало страшно, чтобы мы не попалили ему совсѣмъ его старой юрточки.

Огонь былъ намъ нуженъ для того, чтобы сварить себѣ чай передъ отправленіемъ пѣшкомъ въ путешествіе, и мы прекрасно и живо этимъ воспользовались: чай вскипѣлъ въ дорожномъ чайничкѣ едва ли не въ одну минуту, и мы съ такимъ восторгомъ еще напились этого подкрѣпляющаго напитка, что были готовы немедленно вотъ сейчасъ же пуститься въ путь, если бы старикъ не вздумалъ насъ угощать, въ свою очередь, ухой изъ громаднаго жирнаго налима. Отъ такого угощенія нельзя было отказываться, и мы только послѣ того, какъ съѣли у старика налима цѣлаго, отправились въ путь, накинувъ на спины приготовленные еще ранѣе берестяные чуманы.

Въ каждомъ чуманѣ у моихъ проводниковъ были мои сухари, хлѣбъ, сушеная рыба и мясо; у каждаго изъ нихъ было за поясомъ по топору и на плечѣ ружье, а въ рукахъ—по какому-нибудь моему инструменту; но за всѣмъ тѣмъ на мою долю тоже пришлось около пуда тяжести, которую я такъ же, какъ и они, помѣстилъ въ котомку свою и вскинулъ на спину, оставивъ только руки свободными, чтобы было удобнѣе мнѣ владѣть бусолью и записною книжкою въ дорогѣ.

И вотъ мы въ дорогѣ; впереди, по широкой просѣкѣ, гдѣ ѣздятъ на оленяхъ только зимою, бѣжитъ пара нашихъ бѣлыхъ псовъ и мой Лыско, страшно занятые прислушиваніемъ, не слышно ли гдѣ шелеста въ лѣсу, и обнюхиваніемъ каждаго звѣринаго шага, позади ихъ, въ почтительномъ разстояніи, идетъ

самый бойкій изъ моихъ проводниковъ, взявшій на себя отвѣтственную роль распорядителя, вогулъ Кирило; за нимъ, увязая въ тяжелыхъ сапогахъ во мху, покачиваюсь я съ своимъ грузомъ за плечами, позади меня замыкаютъ шествіе еще два нагруженные вогула. И мы идемъ, молча идемъ по просѣкѣ мимо молчаливаго, хвойнаго, безжизненнаго лѣса, то увязая въ болотѣ ногами, то спотыкаясь о кочки и стволы наваленныхъ бурею деревьевъ, то обходя ихъ стороной, когда прямо пройти невозможно.

Часъ такой молчаливой ходьбы—и привалъ гдѣ-нибудь на сухомъ мѣстѣ, у ствола сосны. Пять верстъ такого путешествія, и чувствуешь, что въ глазахъ начинаетъ кружиться. Но привалъ всего на три-четыре минуты: вогулъ не любитъ въ дорогѣ терять времени, да и разсиживаться ему вредно въ такой дорогѣ, потому что каждыя пять лишнихъ минутъ отдыха, и у него уже отекаютъ ноги, и ему тяжело идти, и нужно уже валиться на землю и варить чай, дѣлать продолжительный отдыхъ.

Это племя не привыкло къ пѣшехожденію, привыкши сидѣть въ лодкѣ и на оленьихъ санкахъ; нѣсколько верстъ пути по болоту—и его легкая обувь уже промочена и тяжела, и онъ двигается еще только, пока онъ движется, а разсидись онъ—ему уже трудно подниматься. Къ тому же этотъ молчаливый, вѣчно однообразный, печальный, сѣверный лѣсъ: сосны низки и корявы, въ воздухѣ масса испареній, сырость болотъ и тяжелый запахъ растительности, въ воздухѣ миріады комаровъ, и только что остановись на минуту—и они шумятъ, жужжатъ, лѣзутъ въ глаза и уши, набиваются сотнями въ волосы и всюду безпокоятъ и кусаютъ. И для путника единственное спасеніе—движеніе, ходьба, когда они остаются позади его тѣла и сопровождаютъ его на цѣлыя версты, пока въ лицо не пахнетъ освѣжающій, спасительный вѣтеръ.

Но сегодня нѣтъ его вовсе: въ лѣсу духота и жара, подъ ногами изъ мха вылетаютъ тысячи насѣкомыхъ и догоняютъ, у каждаго дерева сидятъ въ ожиданіи вашей крови комары сотнями, и за нашимъ караваномъ, за нашими псами цѣлые подвижные хвосты этихъ насѣкомыхъ въ воздухѣ, къ которымъ прибавляется еще и еще на каждомъ болотѣ, пока мы не поднимемся на какую-нибудь горку, и ихъ не отнесетъ отъ насъ теченіемъ воздуха, или мы не бросимся на ходу въ воду.

Эта вода ручья или рѣчки — наше спасеніе: мы бѣжимъ къ нимъ, какъ путники въ пустынѣ Сахары, мочимъ разгоряченныя

головы и лицо, быстро раздѣваемся и погружаемся въ холодную воду и лежимъ въ ней, порою въ грязи, чтобы только освѣжить свое тѣло и смыть на лицѣ и рукахъ, головѣ и шеѣ безчисленные укусы комаровъ, послѣ которыхъ страшно зудится, ноетъ, страдаетъ невыносимо тѣло.

И при такихъ условіяхъ нужно не только двигаться, но еще работать: нужно навести бусоль и взять уголъ направленія, нужно разспросить, какъ называется эта рѣчка, какъ зовется эта гора, и все это записать еще въ свою дорожную книжку голыми руками, рядомъ съ планомъ въ минутную остановку, когда на нихъ сидятъ уже комары, и видно, какъ нащупываютъ поры своимъ хоботомъ, потомъ впиваются въ нихъ и сосутъ, сосутъ вашу кровь, превращаясь въ насѣкомыхъ съ громаднымъ краснымъ брюхомъ. И руки пухнутъ и покрываются красными пятнами; лицо и открытая шея тоже, и въ волосахъ уже сотни погибшихъ животныхъ, которыя какъ запутались, такъ тамъ и копошатся подъ легкой шляпой, возбуждая страшный зудъ кожи.

Но не все одни страданія, есть и минуты радости и удовольствій: въ сторонѣ пути взлетѣла и усѣлась на дерево тетеря, псы одинъ за другимъ уже окружаютъ дерево и поднимаютъ оглушительный лай, тетерька имъ отвѣчаетъ своимъ неизмѣннымъ коканьемъ, котомка летитъ на мохъ, и въ рукахъ вмѣсто бусоли—ружье, и путешествіе смѣняется страстной охотой, когда забываешь все окружающее, и только сжимаешь въ рукахъ свое ружье, выглядывая, гдѣ сидитъ любопытная до собакъ крупная птица.

Вонъ она сидитъ на вѣткѣ сосны подъ самой вершиной; голова спущена и обращена къ лающимъ и скачущимъ псамъ; она давно бы уже улетѣла, но ее разбираетъ любопытство, и она перебѣгаетъ по вѣткѣ взадъ и впередъ, нагибая голову ниже и ниже, тогда какъ псы скачутъ около дерева, не имѣя возможности ее словить. Моментъ. Выстрѣлъ, и она валится съ перьями на мохъ, и псы готовы разорвать ее въ соперничествѣ, если бы вы немного запоздали. Но она въ вашихъ рукахъ, и вы съ удовольствіемъ ощущаете, какъ бьется, продолжаетъ биться еще ея сердце, и какъ она, теплая, лежитъ на вашихъ рукахъ, украшенная такими чудными перышками и пухомъ по лапкамъ.

Не менѣе васъ рады этому и ваши проводники: они треплютъ и щупаютъ, насколько жирна птица и отъѣлась, и уже готовы чистить ее, теребить и варить, если бы не дорога.

Въ другой разъ мы останавливаемся при видѣ самаго свѣжаго слѣда лося, дикаго оленя или медвѣдя; животное только что вотъ передъ нами прошло черезъ дорогу, и мохъ еще поднимается, сжатый его тяжестью, и трава свѣжо примята. Въ такомъ случаѣ наши псы надолго скрываются изъ нашихъ глазъ, и порою слышно—поднимаютъ страшный лай вдали гдѣ-нибудь, за болотомъ, куда, однако, мы не рѣшаемся ужебросить ся, зная, что даже и удачная охота намъ ничего не принесетъ, кромѣ потери времени.

Но всѣхъ больше было на нашемъ пути рябковъ и куропатокъ: эти мирные обитатели лѣса встрѣчались рѣшительно на каждомъ ручьѣ и на каждой рѣчкѣ, гдѣ они, заслышавъ человѣка и собаку, словно нарочно начинаютъ пѣть тоненькимъ, мелодичнымъ голоскомъ, невольно привлекая этимъ вниманіе человѣка.

Но заниматься такой маленькой птичкой не стоитъ терять дорогого времени; и мы проходимъ одни за другими эти ручьи, лога и рѣчки, заросшія густымъ кустарникомъ, и все идемъ и идемъ тихонько впередъ, дѣлая свое несложное дѣло.

Въ полдневный жаръ мы дѣлаемъ остановку, чтобы подкрѣпиться пищею и сномъ. Часа въ три мы снова уже въ дорогѣ и покачиваемся на ходу, увязая въ мягкомъ мхѣ, и уже поздно вечеромъ останавливаемся измученные и разводимъ костеръ на дорогѣ, довольные, что мы сегодня сдѣлали сорокъ верстъ тяжелаго пути такой дороги. Завтра видны будутъ первые отроги горъ Урала; завтра дорога поведетъ насъ уже по возвышеннымъ мѣстамъ, гдѣ нѣтъ овода; но сегодня мы еще въ сибирской низменности, въ необъятной тайгѣ, гдѣ виденъ только лѣсъ и лѣсъ и массы всякаго овода, который, кажется, слетѣлся за нами сюда со всѣхъ сторонъ, чтобы не дать намъ спокойно забыться. И дѣйствительно, надъ нами, кругомъ насъ что-то ужасное: милліоны комаровъ, какъ столбъ, кружатся въ воздухѣ надъ нашимъ становищемъ, пламя костра сотнями губитъ ихъ, охватывая клубами дыма и огненными языками, и они валятся въ нашъ котелъ, въ которомъ варится наша тетерка, падаютъ съ обожженными крылышками на наши головы и одежды, ползаютъ и жалобно жужжатъ, и тысячи ихъ ходятъ по нашимъ спинамъ, плечамъ и кружатся въ воздухѣ, и лѣзутъ въ ротъ, уши, носъ, всюду, устраивая на насъ настоящую атаку.

Мы наскоро съѣдаемъ, вмѣстѣ съ комарами, свои порціи, наскоро выпиваемъ по стакану чая съ тѣмъ же содержимымъ изъ комаровъ и скорѣе закутываемся въ свои плащи и ложимся

подъ дерево, въ густой заросли котораго какъ будто меньше этихъ насѣкомыхъ.

Ночью, чуть не задохнувшись во снѣ, я пробуждаюсь и смотрю на нашъ спящій караванъ: темные плащи вогуловъ стали сѣрыми отъ массы ползающихъ насѣкомыхъ, по потухшему костру, котлу, чайнику, нашей пищѣ ползаетъ то же сѣрое войско, и буквально все покрыто этими ужасными насѣкомыми, которыя даже забираются подъ наши одежды, чтобы и тамъ найти себѣ кровь, которую они слышатъ по испареніямъ, по дыханію человѣка.

Но еще ужаснѣе нашего—положеніе нашихъ собакъ: ихъ воркотня не даетъ мнѣ забыться; нѣсколько разъ уже онѣ выбѣгали и выли глухо въ лѣсу, и какъ онѣ ни забиваются далеко въ траву и кустарники, ихъ донимаютъ такъ тамъ комары и мошки, что онѣ снова лаютъ, кусаются, выбѣгаютъ и воютъ, не зная, какъ скоротать эту короткую свѣтлую, лѣтнюю ночь.

Вотъ страшное войско, котораго не знали казаки князя Курбскаго, проходя по этому пути зимой; но я увѣренъ, что они едва ли бы вынесли это мученіе насѣкомыхъ, если бы попали вотъ въ такую ночь въ эти лѣса вогуловъ!

На разсвѣтѣ, промучившись ночь, мы буквально бѣжали впередъ съ этой ужасной ночевки отъ насѣкомыхъ, даже не думая напиться чаю; мой песъ вышелъ изъ кустовъ съ кровавыми пятнами около глазъ и весь въ комарахъ и мошкахъ, словно онъ гдѣ въ нихъ, какъ въ муравицѣ, вывалялся; но пара бѣлыхъ псовъ вогуловъ такъ и не вышла изъ мѣста своей ночевки: они ослѣпли въ одну ночь отъ укусовъ мошки кругомъ глазъ, и когда мы воротились было къ нимъ, чтобы вызвать и посмотрѣть, что съ ними сдѣлалось, то страшно было на нихъ смотрѣть, потому что они буквально были покрыты кровью. И въ рѣдкой шерсти ихъ столько было насѣкомыхъ, словно уже они начали разлагаться. Это было ужасное, новое еще для меня зрѣлище; я на самомъ дѣлѣ видѣлъ ослѣпшихъ передъ собой собакъ, и сердце разрывалось при видѣ того, какъ онѣ лизали наши руки, прося помощи, но мы были сами искусаны до безумія и такъ и оставили ихъ на произволъ судьбы, почти бѣгомъ убѣгая отъ этой ужасной картины.

Помню, я былъ страшно возмущенъ, видя эту сцену, но вогулы были къ ней, повидимому, равнодушны, и не потому, что они черствые люди, напротивъ,—они страстно любятъ собакъ и считаютъ ихъ воплощеніемъ даже одного божества, почему

никогда не убиваютъ это животное, предоставляя ему умереть собственною смертью, а просто потому, что это самое обыкновенное явленіе въ это время въ ихней мѣстности, и они уже видали много на своемъ вѣку получше сценъ, когда вотъ также слѣпли и оставались на мѣстѣ олени, когда вотъ также ложился и умиралъ и другой звѣрь.

Сибирскій оводъ недаромъ считается бичомъ человѣка, и здѣсь не только страдаетъ отъ него человѣкъ, но и сплошь и рядомъ ревetъ медвѣдь, прячется рогатый лось въ воду, заходитъ туда же стадомъ олень, а остальныя животныя уже неизвѣстно куда скрываются, вѣроятно, скорѣе прячась куда въ глубокія норы.

Случается, здѣсь гибнетъ отъ насѣкомыхъ и самый человѣкъ, и среди вогуловъ, зырянъ, даже у меня въ партіи бывали случаи, когда заблудившаяся женщина дѣлается жертвой комара, а дѣти, тѣ просто съѣдаются чуть не живьемъ насѣкомыми, которыя первымъ долгомъ ослѣпляютъ человѣка, а потомъ уже укусами и щекотаньемъ доводятъ его до обморока, изъ котораго уже нѣтъ возврата.

Я помню, мы долго бѣжали еще отъ облака комаровъ и мошекъ, которое гналось за нами цѣлымъ стадомъ, словно не желая и насъ выпустить живыми изъ своихъ хоботковъ; но насъ спасла одна горка, на которой сразу подулъ намъ навстрѣчу такой прохладный, уральскій холодокъ, что насѣкомыя сразу попадали на землю и скрылись.

Этотъ вѣтерокъ дулъ изъ одной ближайшей долинки и былъ такимъ благодѣтелемъ, что мы отъ радости тутъ же рѣшили напиться чаю, пользуясь отсутствіемъ насѣкомыхъ.

И что это былъ за чай! Въ стаканѣ ни одного насѣкомаго, уши словно открыты, и только одинъ зудъ на лицѣ, ушахъ, рукахъ, страшный зудъ, еще напоминаетъ, въ какой мы были банѣ, отъ которой только что избавились. И даже нашъ песъ Лыско и тотъ былъ радъ, что благополучно отдѣлался, катаясь теперь отъ радости по мху и бросаясь прямо ко мнѣ на шею.

Съ этого пункта, гдѣ мы чудно напились чаю и поправились, началась для насъ другая дорога: путь пошелъ между отроговъ Урала, горъ; растительность рѣзко перемѣнилась вмѣстѣ съ почвою; вмѣсто низкорослыхъ сосенъ и болотъ потянулась ель, лиственница, пихта и береза; вмѣсто мха — травы и камень, и

мы часто то слѣдуемъ по живописной долинкѣ, то поднимаемся и переваливаемся за маленькую сопочку, уже различая хорошо впереди синеватыя горы. И глядя на нихъ изъ этого моря лѣса, тамъ совсѣмъ кажется другой край, съ другимъ воздухомъ и другой жизнью. Съ каждымъ шагомъ теперь мы, замѣтно на глазъ, поднимаемся выше и выше, ручьи уже не прячутся въ зеленомъ мхѣ, а бѣгутъ, журча и разговаривая, между камнями; воздухъ уже не застаивается, а движется отъ долины къ горамъ, и видъ окружающаго—уже не одинъ лѣсъ, который еще недавно давилъ намъ душу и, казалось, рѣшился насъ вѣчно держать въ своихъ владѣніяхъ и тишинѣ, а сопки, горы, долины, кущи самаго разнообразнаго, порой даже веселаго лѣса, который улыбался намъ, манилъ насъ къ себѣ въ наступающій знойный день, съ безоблачнымъ голубымъ небомъ. Мы совсѣмъ въ другой странѣ, и помню, съ ужасомъ вспоминая еще недавнее прошлое, оглядывались съ горъ на щетинистое море лѣса, которое издали казалось не такимъ ужаснымъ. Даже вогулы-проводники и тѣ рады этой перемѣнѣ и уже не идутъ молча съ своими котомками за плечами, а разговариваютъ и смѣются; уже не угрюмы и неразговорчивы, какъ тамъ, въ лѣсу, а весело киваютъ головой, указывая на горы, и съ радушіемъ объясняютъ, какъ и почемун азываются онѣ и что значитъ и куда течетъ маленькая рѣчка, которую я заношу на планъ.

Недаромъ вогулы боятся лѣса и считаютъ его наполненнымъ разными злыми божествами, тогда какъ горы, открытое мѣсто ихъ родины наполнено добрыми существами, по ихъ понятію, которыхъ они не боятся и весело говорятъ о нихъ, какъ о покровителяхъ охоты и промысла. Вонъ гора, подъ которой живетъ покровитель охоты, какой-то большой Ойка; вонъ другая, гдѣ живетъ его братъ, вонъ цѣлая гряда высокихъ возвышенностей, про которую разсказываютъ цѣлыя легенды, когда тамъ жило нѣсколько божествъ, которыя воевали между собой и ссорились изъ-за обладанія здѣсь человѣкомъ и такъ и полегли тамъ въ видѣ горъ, оставивъ только одни каменные столбы вмѣсто своихъ жилищъ. Цѣлая страна вогульскаго Олимпа, съ богами и богинями, семьями и родствомъ, съ соперничествомъ и любовью и такими странными похожденіями героевъ, которыя не прослушаешь и цѣлую ночь.

И мы почти весь день идемъ, только и разговаривая про жизнь старинныхъ покровителей человѣчества, что каждый разъ

у насъ начинается тогда, когда вогулы начинаютъ кланяться какой-нибудь горѣ или мысу, или просто, встрѣтивъ на дорогѣ странной формы дерево, начинаютъ выдергивать для него изъ своихъ малицъ шерсть и нитки суконныя, чтобы все это, какъ жертву, засунуть за щепочку, какъ даръ тому или иному богу. И разъ, помню, даже они вырѣзали на одной громадной, старинной, вѣковой лиственницѣ цѣлое изображеніе головы божества и изобразили четыре черточки съ головами и пятую горизонтальную въ видѣ звѣря, говоря, что все это посвящается ими божеству и означаетъ именно наше событіе и насъ четверыхъ съ Лыскомъ, какъ памятникъ нашего путешествія на цѣлыя десятки лѣтъ въ этомъ лѣсѣ.

Я помню, меня очень удивилъ этотъ задатокъ письменности этого дикаря и этотъ обычай туристовъ, и я тутъ же скопировалъ его себѣ въ дневникъ на память, изобразивъ и рожу божества, и четыре палочки съ головами въ видѣ точекъ, и нашего Лыска въ видѣ пяти палочекъ, изъ которыхъ четыре изображали ноги его, а пятая—хвостъ.

Подобныхъ надписей на корѣ деревьевъ мы послѣ много видѣли по пути на Уралъ и въ горахъ, и по рѣкамъ, и замѣчательно, что дикари, присматриваясь, безошибочно опредѣляли, не только кто когда бѣжалъ тутъ за звѣремъ, убилъ его, или нѣтъ, но даже время начертанія и событія и настроеніе души человѣка, котораго преслѣдовало счастіе или неудача.

Въ этотъ памятный день мы сдѣлали тоже около 35 верстъ по пути къ хребту Урала и сдѣлали почти незамѣтно, имѣя много отдыховъ, потому что путь нашъ шелъ въ гору и по сопкамъ и утомлялъ порою сильно насъ съ тяжелыми ношами.

Относительно послѣднихъ мы распорядились такъ, что стали уже оставлять часть груза подъ камнями: въ одномъ привалѣ оставимъ нѣсколько фунтовъ рыбы и сухарей, въ другомъ—топоръ или мясо, потому что все это было совершенно не зачѣмъ таскать въ горы далеко, когда спустя нѣсколько дней намъ приведется идти обратно этимъ же путемъ, какъ прямымъ.

Но все же, какъ мы ни ѣли наши припасы, какъ мы ни оставляли ихъ по пути, подвигаться становилось труднѣе и труднѣе благодаря гористости, и порой мы съ такимъ трудомъ заносили свои котомки въ гору, что такъ и опускались на камни, думая, что уже не встать.

Въ этотъ вечеръ мы ночевали чудно, послѣ утомительной ходьбы и скверно проведенной ночи, подъ какой-то сопочкой, и, помню, я даже не пробудился ни разу вплоть до самаго утра, когда уже утренній холодокъ самъ разбудилъ меня, заставивъ поджать свои ноги подъ пледомъ.

Эта ночь была послѣднею на отрогахъ: впереди передъ нами стояли зеленыя горы, и сегодня мы обязательно должны были, по расчетамъ, перевалить ихъ, чтобы спуститься къ рѣкѣ Щугору, который поведетъ уже насъ къ Печорѣ.

Я ожидалъ этого дня съ нетерпѣніемъ: вогулы обѣщались мнѣ показать самый перевалъ черезъ хребетъ, который триста лѣтъ назадъ перевалилъ князь Курбскій съ казаками и пушками, и разные его слѣды. Долины, горы, жизнь, растительность—все это было для меня такъ ново и интересно, — страна пріобрѣтала уже альпійскій видъ,—что я входилъ словно въ новое царство стужи и снѣга. Кругомъ были повсюду слѣды борьбы растительности съ суровымъ климатомъ, и было крайне интересно наблюдать этотъ переходъ и борьбу, гдѣ вы ясно видите, какъ завоевываютъ себѣ разныя породы деревьевъ и кустарниковъ новыя и новыя области и какъ страдаютъ они въ этомъ стремленіи отвоевать себѣ лишній клочокъ у суровой природы. Тамъ, на полугорѣ, цѣлый сколокъ березовыхъ уродливыхъ, низкорослыхъ стволиковъ, тутъ пара лиственницъ съ протянутыми къ югу вершинами и голыми вѣтвями, прося тепла и солнышка, тамъ, по долинѣ, потянулся уже полярный тальникъ, и скалы горъ, вершины ихъ уже голы и ясно говорятъ о страшныхъ вѣтрахъ и морозахъ, которые вывѣтриваютъ ихъ и разрушаютъ вѣками, высушивая послѣдніе жалкіе соки.

Вмѣсто вида мирной природы—борьба, вмѣсто пышной растительности—уродство, и только травы однѣ, только тѣ еще, пользуясь пригрѣвомъ солнца лѣтомъ, пышно раскинулись по отрогамъ и увили все своей зеленью, пробираясь еще лѣтомъ, на короткое время, далеко въ вышину горъ.

Вотъ послѣднія рѣчки Обской системы; вотъ послѣдніе ручьи, сбѣгающіе въ нихъ, и впереди, передъ нами, довольно высокая гора, самый хребетъ Сѣвернаго Урала, на который намъ предстоитъ подняться.

Со стороны горы тянется туманъ, проносясь далѣе, къ востоку, уже легкими тающими облачками; отъ этого тумана сдѣлалось какъ бы ненастье, чувствуется сырость и холодъ осени

въ воздухѣ, вся зелень горы словно повяла, и только мхи одни, яркіе, зеленые мхи, какъ-то особенно теперь зеленѣютъ при этомъ бѣломъ освѣщеніи, которое, какъ молоко, облило все: и самую гору, и скаты ея, и скалы, и бѣдную полярную растительность.

Мы поднимаемся въ гору и скоро сами попадаемъ въ облака тумана.

Жары, зноя лѣтняго дня какъ не бывало; одежда мокра отъ дождя, мелкаго дождя, котораго сырость проникаетъ всюду и заставляетъ ежиться, руки красны отъ холода и дождя, и послѣдній, какъ словно бисеръ какой мелкій, покрылъ мой пледъ, ружье, инструменты, вогуловъ и какъ жемчугъ усыпалъ каждую травку бѣдной растительности горъ, застывъ на ней роскошнымъ покровомъ. Этимъ жемчугомъ тутъ покрыты и камни, и кустарники, и мохъ, и трава; этимъ жемчугомъ тутъ покрыты и папоротники, и лишайники, и полярная ива,—и ноги наши уже мокры отъ этой сырости, и одежда сдѣлалась тяжелой и непріятной.

Между тѣмъ мы только что еще входимъ на гору, сквозь которую идутъ цѣлыя облака бѣлаго непроницаемаго тумана, и видно только, что надъ нашими головами несутся его облака, несутся прямо къ востоку, все выплывая и выплывая безъ конца изъ-за горы, до вершины которой мы никакъ не можемъ добраться.

Какой рѣзкій переходъ отъ тепла и зноя равнины къ холоду; какая рѣзкая перемѣна растительности! Теперь кругомъ насъ уже незамѣтно даже полярной ивы, теперь около насъ уже не стало и сколочковъ уродливыхъ, низкорослыхъ березъ, которыя стелются вдоль сѣраго, холоднаго камня, кругомъ только одна тощая сѣверная трава, мохъ и лишайники, сѣрыми и красноватыми, ржавыми пятнами раскинувшіеся по камнямъ. Идти тяжело; сапоги скользятъ по мокрому каменистому скату, предательскій мохъ скрываетъ ямки и впадины, и нога то и дѣло застреваетъ между камнями и неловко вывертывается, и то и гляди, что повалишься и упадешь на острые камни. Какъ вдругъ—трескъ, шумъ крылышекъ, и изъ-подъ самыхъ нашихъ ногъ, изъ-подъ камней срывается цѣлый выводокъ горной куропатки.

Это было такъ неожиданно, что мы даже остановились, и только нашъ песъ Лыско нашелся въ секунду и бросился за пестрыми птичками, которыя теперь съ крикомъ и хлопаньемъ крылышекъ улетали отъ насъ прямо въ сѣрый сплошной ту-

манъ, и такъ же быстро, какъ появились, такъ и скрылись отъ насъ изъ вида и потонули въ бѣломъ туманѣ.

Это обстоятельство заставило насъ пріостановиться и рѣшить, куда направиться. Дороги теперь давно уже не было подъ ногами, она разбилась на нѣсколько слѣдовъ и дорогъ вдоль Урала къ чумовищамъ, и мы шли только по одному направленію—прямо на западъ, чтобы какъ можно короче пересѣчь хребетъ и попасть на другую его сторону, гдѣ нашъ путь долженъ выйти на рѣку Щугоръ. Но правильно ли мы идемъ, мы этого не знаемъ, и нужно было опредѣлить это бусолью, чтобы въ туманъ не сбиться съ пути.

И дѣйствительно, мы давно уже, не видя ничего, кромѣ тумана, незамѣтно поворотили въ сторону юга, и такъ какъ намъ неизвѣстно было, куда мы, далеко ли зашли и гдѣ мы должны спуститься съ Урала, то мы рѣшили выждать этотъ туманъ, тѣмъ болѣе, что намъ нужно было осмотрѣть въ зрительную трубу окрестности, чтобы увидать чумъ оленевода, который бы помогъ мнѣ отпустить этихъ проводниковъ и взять другихъ, чтобы выѣхать отсюда на Печору.

И вотъ мы садимся у камня скалы; кругомъ одна бѣлая, непроницаемая завѣса тумана, и намъ кажется, что мы на воздухѣ, что мы тонемъ въ какомъ-то воздушномъ пространствѣ и что кругомъ насъ ничего нѣтъ, кромѣ этого облака пара и вотъ маленькаго клочка скалы, у которой мы пріютились, такъ какъ и подъ ногами внизу тотъ же туманъ, какъ и позади и надъ нашими головами.

Какое тоскливое, тяжелое чувство нагоняетъ этотъ бѣлый туманъ, какъ онъ мочитъ наше платье. И среди этого тумана нельзя ни развести огня, ни сварить себѣ чая. Къ услугамъ одинъ черствый сухарь, да и тотъ мокрый уже отъ сырости и тумана, такъ какъ пайвы наши, чуманы давно уже мокры отъ сырости, дождя и тумана.

Я смотрю на своихъ проводниковъ — они пріуныли. Они не знаютъ рѣшительно, когда это все кончится; быть можетъ, это протянется цѣлый день, пока не подуетъ съ той стороны вѣтеръ, и даже разговоръ и тотъ не вяжется въ такомъ положеніи, тогда какъ недавно еще мы весело болтая, поднимаясь въ горы.

Скоро всѣ мы начали тихонько дремать, послѣ немного склонились на камни и, предоставивъ Лыску сторожить насъ, спокойно *заснули*, утомленные, рѣшивши, что самое лучшее—переждать

этотъ туманъ въ такомъ положеніи, чѣмъ безцѣльно блудить по камнямъ и горамъ, не зная направленія дороги.

Часа черезъ два, дѣйствительно, туманъ сталъ рѣдѣть, и надъ нашими головами стало появляться моментами, какъ голубой клочокъ, безоблачное сіяющее небо. Потомъ, немного погодя, сбоку проглянуло и самое солнышко въ видѣ бѣлаго шара, и потомъ туманъ какъ-то вдругъ прорвался окончательно и насъ облило яркимъ свѣтомъ солнышка, и мы увидали голубое, безоблачное небо, вершины горъ вдали, одѣтыя еще бѣлымъ туманомъ, и цѣлое море бѣлаго пара и облаковъ, которыя ползли отъ насъ въ долину, то поднимаясь надъ ней, то опускаясь какъ въ пропасть и по временамъ показывая, словно островки, вершины дальнихъ и ближнихъ сопокъ.

Это было очаровательное зрѣлище; мы были словно передъ сотвореніемъ свѣта; кругомъ былъ одинъ хаосъ, и только подъ нашими ногами была твердая почва въ видѣ скалы и небольшого пространства вершины горы, подошва которой пока все еще была покрыта густымъ, сплошнымъ бѣлымъ туманомъ.

Рядомъ съ нами, за скалой, къ югу, оказались цѣлые кустики ползучей ели, чего мы никакъ не могли ожидать; толстые стволы ея такъ и ползли надъ самой поверхностью по направленію къ югу, и пышныя темныя вѣтки ея развѣ немного выше поднимались надъ поверхностью, чѣмъ ростъ годовалаго ребенка. Тамъ, подъ ними, была настоящая нора, видно, что еще недавно тутъ сидѣлъ выводокъ куропатокъ, и мы такъ обрадовались такому сосѣдству, что тотчасъ же переселились туда, подъ эту кущу, и развели тамъ чудесный изъ старыхъ вѣтокъ огонекъ, на которомъ сварили себѣ не только чай, но даже сушеную вяленую говядину оленя. Пока мы пили чай, горы раздѣвались и срывали передъ нами свою вуаль, и вотъ передъ нами чудная панорама горъ Урала, облитыхъ солнцемъ и съ такой чудной свѣжей зеленью послѣ дождя, въ такомъ ореолѣ сіянія солнца, съ такимъ голубымъ небомъ Италіи, словно мы и въ самомъ дѣлѣ видѣли все это во снѣ, а не наяву.

Но передъ нами была настоящая дѣйствительность: вотъ тамъ протянулась ясно гряда горъ, которая въ этомъ мѣстѣ прерывается глубокой и узкой долиной, вонъ тутъ одинокая гора въ сторонѣ, позади цѣлое море холмовъ и отроговъ, и вдали, какъ шапки какія синія, всплываютъ, наполовину покрытыя еще облаками тумана, вершины главныхъ возвышенностей, видимыя

за десятки и болѣе верстъ. Но величественнѣе всѣхъ на западѣ гора Тельпосъ. Она находится отъ насъ верстахъ въ пятнадцати, но кажется, что мы на ея подошвѣ; она уже по ту сторону хребта и рѣки Щугора, но кажется, что она рядомъ съ нами,—такъ высока, такъ величественна ея вершина, такъ высоко она поднялась надъ всѣми горами Уральскаго хребта. Это высочайшая гора всего Урала, и не даромъ Уралъ здѣсь такъ широко разбитъ и такъ возвышенъ, и недаромъ онъ такъ здѣсь раскидалъ свои возвышенности, что линія направленія хребта сразу оборвалась, и рѣка Щугоръ пересѣкла его направленіе, далеко выдвинувши линію водораздѣла къ востоку.

Эта гора, эта высочайшая возвышенность Урала и образовала собой ту долину, которая здѣсь порвала Уральскій хребетъ и образовала естественный проходъ со стороны Сибири къ Печорѣ.

Съ вершины горы намъ прекрасно было видно эту длинную, почти покрытую лѣсомъ долину, на самомъ водораздѣлѣ ея въ ту и другую сторону текутъ рѣчки, одна изъ которыхъ направилась къ Оби, а другая—къ Печорѣ, и про эту долину мнѣ и говорятъ теперь проводники, что она послужила князю Курбскому мѣстомъ перевала.

Дѣйствительно, это удобнѣйшій естественный проходъ съ пологимъ подъемомъ, и горы словно нарочно здѣсь разступаются передъ нимъ, давая выходъ.

Тамъ, на самомъ водораздѣлѣ, проводники мнѣ говорятъ, есть нѣсколько ямъ, которыя остались отъ князя Курбскаго, говорятъ, что въ этихъ ямахъ прежде находили ядра, пули, уголь и деньги, но теперь уже тамъ все вырыто и заросло травой, только небольшими углубленіями еще напоминая мѣсто стоянки лагеря или его поста.

Такъ какъ у насъ не было возможности заниматься раскопками и провѣрять эти слова, то мы рѣшили, нанеся все это на карту, снова двинуться въ путь, тѣмъ болѣе, что не видно было кругомъ, какъ мы ни смотрѣли въ подзорныя трубы, ни чума оленевода, которые здѣсь, случается, въ это время пасутъ свой скотъ, ни стада оленей, которые широко расходятся, когда здѣсь бываетъ кочевка.

Это обстоятельство немного было заставило меня задуматься, что будетъ, но мои проводники теперь утѣшали меня, что намъ, быть можетъ, посчастливится далѣе найти какой-нибудь слѣдъ

оленевода, гдѣ бываютъ его кочевки, или, въ крайнемъ случаѣ, мы найдемъ на берегу рѣки Щугора зырянъ-рыболововъ и жителей Печоры, которымъ они и думали меня сдать на руки для дальнѣйшаго путешествія на Печору.

И вотъ мы снова въ пути, теперь начиная спускаться въ долину рѣки Щугоръ.

Съ голой вершины горы мы сбѣгаемъ сразу въ высокую траву съ зонтичными растеніями и тонемъ. Немного погодя уже начался безпорядочный еловый и лиственничный лѣсъ съ сухими вершинами и покрытыми чернымъ мохомъ, какъ трауромъ, вѣтвями; безпорядочный лѣсъ съ папоротниками, высокой травой, колодами наваленнаго бурей лѣса почти непроходимъ, мы скачемъ черезъ его стволы и кувыркаемся, мы обходимъ чащу и попадаемъ въ новую, не зная, куда шагнуть, между тѣмъ какъ надъ нами сплошныя высокія вѣтки и стволы деревъ, словно въ какомъ ужасѣ отъ бурь Урала, какъ кинулись другъ другу въ объятія, такъ и застыли, поломавъ свои вершины и вѣтви, нависнувъ другъ на друга, переплетясь, образуя своды. И дѣлая еще мрачнѣе эту картину лѣса, не допускаютъ туда пасть ни одному солнечному лучу. И въ этомъ мертвомъ царствѣ лѣса хотя бы звукъ пташечки, хотя бы слѣдъ звѣря: пустота, тишина и сырость, мракъ, черный мохъ и тощая травяная растительность, и только тамъ, гдѣ буря окончательно положила лѣсъ на землю, только тамъ опять страшная травяная поросль, въ которой скрываются наши шляпы и головы.

И такой путь убійственный на десять верстъ, и я не знаю уже, какъ мы были рады, не могу этого описать, когда вдругъ сквозь темныя вѣтви этого страшнаго, безпорядочнаго, глухого лѣса мы увидѣли—что-то блеснуло,—и узнали, что мы подошли наконецъ къ рѣкѣ Щугору.

Да, это рѣка Щугоръ, быстрая, каменистая горная рѣка, которая мы видимъ какъ быстро несетъ свои воды вдоль лѣсного дикаго каменистаго берега, то съ шумомъ омывая гранитные камни-валуны, то шурша мелкой галькою, которою сплошь устлано не только ея ложе, но и самые берега. Громадный, быстрый, саженъ въ тридцать, горный потокъ. Налѣво, откуда онъ вышелъ, видна одна узкая лѣсистая долина, направо, куда онъ течетъ,—пологій, шумный, съ перекатомъ поворотъ къ западу, въ то время

какъ напротивъ, на другомъ берегу, такой же дикій, безпорядочно наваленный лѣсъ, который уходитъ далеко отъ берега, поднимается высоко на гору Тельпосъ и только тамъ, въ видѣ щетинки, теряется, будучи рѣже и рѣже, въ его каменныхъ зеленыхъ складкахъ и розсыпяхъ камней.

Какая мрачная, непривѣтливая рѣка и какимъ холодомъ отъ нея несетъ, несмотря на полдень и сіяющее солнце!

Въ двухстахъ пятидесяти верстахъ отсюда сливается она съ громадною рѣкой—Печорой; тамъ, при устьѣ ея—единственное селеніе, которое отсюда всего ближе, с. Печорское; на ней же, этой горной рѣкѣ, мнѣ проводники говорятъ, нѣтъ ни одной избушки даже рыболова и если можно встрѣтить на ней кого въ лѣтнее время, то развѣ-развѣ именно вотъ въ это время только партію печорскихъ промышленниковъ рыбы, которые какъ разъ въ это время, въ половинѣ іюля мѣсяца, ловятъ семгу и бойкаго харіуса.

Они говорятъ, что можно еще встрѣтить недалеко отсюда чумы оленеводовъ, которые тоже въ это время, случается, здѣсь промышляютъ харіуса и семгу; но за это они не могутъ крѣпко ручаться, потому что для нихъ неизвѣстно, гдѣ нынѣ пасутъ свои стада ихніе оленщики, потому что они рѣдко придерживаются одного и того же мѣста, и часто думаешь, что они тутъ, какъ они, оказывается, давно уже пасутъ свое рогатое стадо у береговъ Ледовитаго океана, если что-нибудь ихъ потревожитъ въ весеннее время.

Все это они знаютъ потому, что не разъ въ это время отправлялись на Печору за покупкою старыхъ лошадей, которыхъ послѣ откармливали и осенью, когда соберется вогулъ съ мѣстъ своихъ пастбищъ, кололи и ѣли, принося заодно и извѣстныя свои жертвы многочисленнымъ покровителямъ охоты и рыбнаго промысла. Отправлялись же они туда не иначе, какъ только на плотахъ, говоря, что это, пожалуй, единственный удобный способъ сплавиться по этой горной рѣкѣ, такъ какъ лодка легко можетъ разбиться вдребезги, наскочивъ на камень, тогда какъ плотъ прекрасно выноситъ всѣ столкновенія съ подводными камнями, какими здѣсь богатъ всякій перекатъ и дно рѣки на всемъ ея протяженіи.

Но на предложеніе мое отправиться со мной внизъ по этой рѣкѣ хотя до перваго чума оленевода мои проводники не согласились, дорожа временемъ, а ѣхать на самую Печору отказались вовсе, потому что ихъ всего было три человѣка, почему они

порядочно-таки опасались встрѣчи съ русскими, откровенно сознаваясь, что они ихъ еще боятся.

Между тѣмъ сколько мы ни смотримъ въ зрительную трубу по окрестностямъ, сколько мы ни прислушиваемся, нигдѣ не замѣтно даже слѣда человѣка.

Мое положеніе становится критическимъ: идти обратно въ эту страну вогуловъ, не докончивъ дѣла, мнѣ не хочется, между тѣмъ нѣтъ никого, кто бы меня взялся проводить на Печору, и предстоитъ единственный способъ—это отправиться такъ же, какъ ѣздятъ здѣсь на Печору вогулы за лошадьми,—на маленькомъ плоту, отдавшись быстрому и незнакомому теченію горной и капризной рѣки.

И все это нужно рѣшить какъ можно скорѣе, потому что мои проводники говорятъ, что сухари мои на исходѣ и при самой добросовѣстной раздѣлкѣ ихъ на четыре части едва-едва придется на брата по три пригоршни, и то такихъ, которые уже порастряслись и поискрошились въ дорогѣ. И ночуй мы вмѣстѣ сегодня еще одну ночь, и намъ не останется и того количества на обратную дорогу, и придется поневолѣ прокармливаться только птицею, ягодою, безъ хлѣба.

Нужно замѣтить, что мои проводники при всѣхъ ихъ прекрасныхъ качествахъ въ путешествіи были страшные обжоры и ѣли мои сухари походя, какъ словно это было какое лакомство, а не насущный хлѣбъ, особенно въ дорогѣ, безъ котораго было почти немыслимо путешествіе.

Собственно говоря, это было и правда, потому что вогулы, особенно въ то время, мало еще знали хлѣбъ и ѣли его весьма рѣдко, только въ проѣзды русскаго торговца, почему смотрѣли на него какъ на лакомство и уничтожали его такъ же, какъ уничтожаютъ деревенскіе ребятишки какіе-нибудь пряники, приготовленные на сладкой патокѣ или медѣ.

Это обстоятельство меня еще болѣе заставило задуматься на берегу рѣки Щугоръ. Идти обратно, не достигнувъ цѣли и не осмотрѣвъ рѣку Щугоръ, было не въ моихъ правилахъ, перевалъ чрезъ Уральскій хребетъ былъ настолько удобенъ, что даже безъ особенно точныхъ измѣреній это направленіе отъ рѣки Сыгвы къ Печорѣ было самое выгодное и удобное для соединенія въ будущемъ этихъ рѣкъ какимъ бы то ни было путемъ, самая рѣка Щугоръ могла пригодиться, какъ сплавная, и все говорило въ пользу того, чтобы я продолжалъ путь во что бы то ни стало.

И я рѣшился продолжать его, хотя мнѣ предстояло это путешествіе сдѣлать въ сообществѣ одного моего до сихъ поръ вѣрнаго спутника-Лыска. И вотъ мои проводники начинаютъ рубить сухоподстойный лѣсъ, на берегу строятъ наскоро мнѣ маленькій плотикъ, и черезъ какой-нибудь часъ судно готово: на него пошло ровно пять саженныхъ бревешекъ, которыя мои проводники искусно скрѣпили двумя деревянными иглами и даже для удобства моего, чтобы не подмочило послѣдніе мои сухари, устроили для меня на срединѣ плота пару колышковъ, къ перекладинѣ которыхъ и укрѣпили весь мой несложный багажъ, говоря, что такъ мнѣ будетъ плыть пречудесно.

Но такъ какъ теченію нельзя было довѣряться спокойно, то они вырубили еще мнѣ пару тонкихъ шестиковъ, которыми бы я могъ направлять свой плотъ,—и снаряженіе было готово.

Плотикъ живо столкнули въ воду, на срединѣ плота я врѣзалъ свою бусоль и сдѣлалъ изъ камня даже нѣчто вродѣ плиты для приготовленія чая, и еще нѣсколько минутъ общаго чаепитія, еще нѣсколько минутъ прощаній, и я храбро отталкиваюсь отъ берега, и меня подхватываетъ рѣка своимъ теченіемъ и несетъ ниже.

Въ первыя минуты плаванія я былъ даже въ восторгѣ: что нужно было еще, когда мы плывемъ съ Лыскомъ по срединѣ этой довольно мирной на видъ рѣки, которая, не колыхнувъ, несетъ насъ на прозрачныхъ своихъ водахъ безъ шума, волненія, быстро увлекая насъ дальше и дальше отъ группы моихъ проводниковъ, которые кланяются еще мнѣ, стрѣляютъ и машутъ добродушно руками, стараясь выразить мнѣ лучшія свои пожеланія въ пути. Но не пришлось мнѣ пробыть въ такомъ восторгѣ отъ новаго путешествія и четверти часа, какъ вдругъ рѣка круто измѣнилась, берега ея сузились, теченіе стало быстрѣе, и впереди заревѣлъ такой перекатъ, что я ровно не зналъ, что съ нимъ дѣлать, видя, какъ вода мечется черезъ громадные на срединѣ ея камни. На срединѣ ея теченія какъ разъ мель въ видѣ небольшого острова; рѣка раздѣлилась на два рукава, и такъ какъ русло ея стало меньше, островокъ и безъ того сжалъ быстрое теченіе, то образовалась такая быстрина, что видно было только, какъ валы шли за валами, и слышно было, какъ ревѣла рѣка, стиснутая вдобавокъ еще громадными гранитными валунами, черезъ которые и падала вода на цѣлыхъ полъ-аршина.

Съ минуту я не зналъ еще, куда поворотить: направо или налѣво, сдерживая свой плотикъ шестомъ, потомъ меня подхватило теченіе, и съ быстротою желѣзнодорожнаго поѣзда я понесся по волнамъ, ныряя вмѣстѣ съ плотикомъ и то уходя съ нимъ въ воду, то снова появляясь на поверхности ея, когда прокатывались черезъ мои ноги волны. Я не смотрѣлъ уже на берега, которые мимо меня мелькали, а слѣдилъ только, какъ бы проскользнуть мимо камней, которые были еще опаснѣе волненія, но по неопытности какъ-то неладно отпихнулся отъ камня одного: въ одинъ мигъ мой плотикъ повернуло другой стороной, еще мгновеніе—его закружило, и я уже готовъ былъ съ него прыгнуть въ воду и плыть на берегъ за Лыскомъ, который еще въ началѣ волненія бросился съ моего судна вплавь, какъ вдругъ налетаю на камень, мой плотъ становится въ горизонтальное положеніе, я схватываюсь за колъ и лечу прямо въ воду. Мгновеніе, я думалъ, что уже тону, но плотъ мой ни съ мѣста, вижу—онъ засѣлъ крѣпко на камни и въ то время, когда его половина наверху, всѣ мои сухари, бусоль и прочее — въ водѣ, и я самъ только держусь за колышекъ, который меня спасаетъ.

Секунда находчивости, я взбираюсь на выставленный конецъ плота, онъ принимаетъ правильное положеніе, и не успѣлъ я сообразить, въ чемъ дѣло, какъ мы уже снова въ пути и несемся мимо другихъ выступовъ камней, между которыми мой плотъ, предоставленный полной свободѣ, прекрасно проплываетъ. И снова тихая рѣка, тихое теченіе и глубокое широкое плесо.

Все это случилось такъ быстро, что я не сразу пришелъ въ себя.

Однако, думаю, тутъ нужно бороться, и я рѣшилъ болѣе основательно приготовиться въ путь, чѣмъ былъ снаряженъ раньше.

Пришлось подумать объ усовершенствованіяхъ своего плота, нужно было сдѣлать такъ, чтобы бревна плота свободно ходили и приподнимались на камняхъ, шестики были бы гораздо крѣпче, чѣмъ они у меня есть, и вся провизія и багажъ накрѣпко привязаны, чтобы не лишиться ихъ, а такъ какъ въ числѣ ихъ были вещи, которыя боялись воды, какъ спички, сахаръ и бумаги, то пришлось кое-что попрятать въ непромокаемые лоскуты, а спички, какъ вещь необходимую, просто повязать въ шелковый платокъ и надѣть его на шею, какъ и топоръ, на случай крушенія, заткнуть за поясъ покрѣпче.

Черезъ нѣсколько минутъ такихъ приготовленій все было готово, и мы снова съ Лыскомъ поплыли внизъ по теченію, рѣши-

вшись въ крайнемъ случаѣ на такихъ перекатахъ бросить плотъ на произволъ судьбы, выплыть съ топоромъ на берегъ, сдѣлать новый и спасать на немъ имущество, которое не должно никакъ, привязанное, погибнуть.

Расчетъ былъ вѣрный, только съ перспективой выкупаться, и дѣйствительно какъ нельзя болѣе оправдался: плотъ мой былъ разбитъ на первомъ же перекатѣ о камни, и мы дѣйствительно выплыли съ Лыскомъ на берегъ благополучно, но только спасать намъ плота не пришлось, какъ и дѣлать новый: съ нашей высадкой плотъ снесло само теченіе и выбросило его недалеко на берегъ, такъ какъ онъ не имѣлъ направляющей его руки. Пришлось только убѣдиться, что все наше имущество хотя и вымокло, но цѣло, и мы снова поплыли въ путь, уже зная, что дѣлать въ крайнемъ случаѣ.

Но рѣка, жестокая въ первые часы нашего плаванія, смилостивилась надъ нами подъ вечеръ, и въ то время какъ выше была настолько быстра и опасна, теперь стала такою тихою, что едва тащила впередъ нашъ плотъ, задерживая его на глубокихъ плесахъ.

На такихъ плесахъ мы съ Лыскомъ отдавались полному покою: Лыско ложился и отдыхалъ позади моего сидѣнія, я зарисовывалъ и снималъ рѣку на планъ, дѣлая безчисленные промѣры и вычисленія скорости теченія, и такъ какъ мимо насъ почти безпрерывно тянулись естественныя обнаженія каменистыхъ береговъ, то можно было съ удобствами наблюдать даже и геологическое строеніе почвы и даже собирать интересныя окаменѣлости третичной эпохи, для чего стоило только приткнуться шестомъ на плоту къ скалѣ, чтобы набрать съ собою сколько угодно окаменѣлыхъ лѣтописей. На такихъ спокойныхъ плесахъ мы даже занимались чтеніемъ подмокшихъ книгъ и чаепитіемъ, для чего, пользуясь тишиной, просто разводили прямо на плотѣ маленькій огонекъ изъ сучковъ ели и грѣли на немъ свой дорожный чайничекъ, представляя, вѣроятно, милую картинку съ дымомъ. Такъ какъ плотъ былъ все время сырымъ вслѣдствіе частыхъ купаній, то это было даже безопасно, тѣмъ болѣе, что вода была всегда и сколько угодно подъ руками на случай, если бы съ нами случился пожаръ.

Въ такомъ положеніи, я помню, и наступилъ вечеръ перваго дня нашего плаванія. Уже было темновато, когда впереди послышался шумъ снова переката. Ѣхать черезъ него въ темнотѣ

я не рѣшился, и вотъ мы пристаемъ къ берегу и выбираемъ первое мѣсто для ночевки.

Какъ хорошо, что мы на берегу: рѣка теперь стала совсѣмъ непріютной, по поверхности ея потянулся сѣдой туманъ, отъ воды пахло сыростью и холодомъ, берега были страшно темны, и я, помню, съ удовольствіемъ развелъ веселый огонекъ подъ какой-то развѣсистой ивой и повѣсилъ надъ нимъ чайничекъ, желая еще передъ сномъ напиться чаю съ сухарями.

На случай того, чтобы плотъ ночью, вслѣдствіе прибыли воды, не отправился одинъ въ путешествіе, я съ него снялъ рѣшительно все, что было нужно, и даже его, насколько позволяли намъ силы, притянулъ поближе къ мѣсту своей ночевки, на случай какой непредвидѣнности.

Хотя сухого лѣса, изъ котораго онъ сдѣланъ, было сколько угодно по берегамъ, но приходилось дорожить и этимъ немудрымъ сооруженіемъ вогуловъ, тѣмъ болѣе, что плотъ уже вытерпѣлъ, и удачно, нѣсколько аварій и крушеній, и мы сдружились съ нимъ настолько въ этотъ злополучный день, что было уже тяжело разстаться. Тѣмъ болѣе, что мы твердо рѣшились съ нимъ одолѣть всѣ препятствія и обязательно выплыть на рѣку Печору.

Раздѣливши порцію сухарей, которые были порядочно подмочены, съ Лыскомъ, мы живо съ нимъ покончили съ вечернимъ чаемъ и полегли спать.

Помню, я такъ былъ утомленъ пережитыми впечатлѣніями, что даже у меня и мысли не было что-нибудь предпринять на случай ночного визита къ намъ медвѣдя. Впрочемъ, я полагался въ этомъ случаѣ на моего вѣрнаго товарища и дѣйствительно былъ правъ: ночью онъ не разъ выбѣгалъ изъ куста, въ которомъ схоронился отъ холода, и лаялъ, и не знаю, кто тутъ ходилъ около насъ: медвѣдь или другое какое животное, но голосъ моего товарища звучалъ такъ сердито, что видно было, чувствовалось, что около насъ ходилъ врагъ.

Но ночь лѣтомъ въ іюлѣ коротка для Сѣвера, и, помню, не успѣлъ я выспаться какъ слѣдуетъ послѣ утомленія дня, какъ меня пробудили страшный холодъ и сырость.

Дѣло въ томъ, что мы находились подъ самой горою Тельпосомъ и изъ ея ущелья тянулъ такой холодокъ, что я пожалѣлъ, что не взялъ съ собою малицы. Но такъ какъ спать было подъ утро уже невозможно, то я рѣшилъ поскорѣе отправиться въ путь, чтобы, по крайней мѣрѣ, согрѣться на первомъ

перекатѣ, который всю ночь шумѣлъ такъ близко, страшно безпокоя мое воображеніе, говоря, что, быть-можетъ, тамъ меня ждетъ новое крушеніе.

Но какъ ни страшенъ былъ этотъ порогъ издали, онъ оказался милостивымъ вблизи: ревѣли больше въ немъ скалы, между тѣмъ какъ русло его было глубокое, и мы пронеслись по нему съ Лыскомъ съ такой скоростью, что не замѣтили, какъ онъ остался позади. Управляя плотомъ, я дѣйствительно порядочно согрѣлся на перекатѣ; но еще спустя часъ я не рѣшался обуть свои дорожные сапоги, такъ они смерзлись на ночевкѣ, и только, помню, солнышко, выглянувъ изъ-за горы, согрѣло ихъ настолько, что я былъ въ состояніи снова натянуть ихъ себѣ на ноги, оставаясь ранѣе босымъ.

Проѣхавъ перекатъ и встрѣтивъ солнышко, мы чудно напились чаю. Если подмоченный чай съ сухарями, превратившимися въ комочки льда, и не былъ особенно вкусенъ, но зато выкупала все чудная обстановка: по ту и по другую сторону плота были сплошные каменные, скалистые берега, громадныя отвѣсныя скалы извести придавали рѣкѣ видъ канала, и съ вершинъ ихъ въ тихую воду рѣки глядѣлись такія веселенькія березки и елочки, облитыя лучами утренняго солнца, что просто хотя не своди глазъ. А порой попадались такія чудныя площадки изумрудной зелени, что даже жалко было, что тутъ не поселился и не живетъ до сихъ поръ человѣкъ, когда природа, кажется, нарочно создала это мѣсто для его существованія.

Въ такихъ мѣстахъ, среди отвѣсныхъ бѣлыхъ, сѣрыхъ и темныхъ скалъ, вода рѣки принимала темный свинцовый видъ, теченіе было такое тихое, что порою плотъ почти стоялъ на мѣстѣ или кружился, и глубина была такая, что я никакъ не могъ достать дна даже связанными своими шестами, и мое положеніе тутъ было поистинѣ самое безпомощное, потому что я ровно не могъ управлять своимъ судномъ и то вертѣлся на мѣстѣ, то терся около отвѣсныхъ скалъ, повинуясь прихоти теченія, которое дѣлало тутъ самые неожиданные изгибы. Въ такихъ мѣстахъ даже не было вѣтерка, и я только видѣлъ надъ собой полосу голубого неба, по которому сегодня неслись легкія облачка къ востоку.

Но такія скалы тянулись недолго: прорветъ рѣка скалу, отрогъ Урала своимъ теченіемъ, обмоетъ скалы и снова уже на просторѣ, и снова ровное или быстрое теченіе между низменными,

лѣсистыми пустынными берегами, съ однообразнымъ ландшафтомъ сѣверной природы. И опять прекрасно видно дно на двѣ на три сажени глубины, опять на днѣ замелькаютъ быстрѣе и быстрѣе камешки, опять валуны гранита и сіенита, и опять впереди реветъ перекатъ, и рѣка дѣлается уже и уже, пока совсѣмъ не будетъ стѣснена мелями и островками и не разобьется на два рукава съ такимъ быстрымъ теченіемъ, что — кажется

Уголокъ тайги.

ѣдешь не на плоту, а по желѣзной дорогѣ... И снова горячая работа послѣ бездѣятельности; снова смотришь, какъ бы не налетѣть на камень; снова борешься, отталкиваешься въ поту, снова считаешь камни перебора уже обшарканными бревнышками плота, пока теченіе не вынесетъ насъ на водный просторъ и не остановитъ тихимъ ровнымъ теченіемъ, которое несетъ его версты три-четыре въ часъ, не больше.

Въ такое время спокойно рисуешь рѣку на планѣ и занимаешься разными наблюденіями; въ такое время спокойно пьешь чай, приготовляя его прямо на плоту; въ такое время и спутникъ мой Лыско и тотъ приплываетъ ко мнѣ съ берега и лежитъ позади меня, довольный временнымъ затишьемъ, пока новый перекатъ, новое быстрое теченіе съ неизмѣнными погруженіями въ воду

плота по колѣно не заставятъ его съ ворчаніемъ оставить наше общее съ нимъ судно и выплыть на берегъ, чтобы бѣжать за мною по неудобному, часто скалистому, каменному берегу этой рѣки.

Но сколько мы ни плывемъ, сколько я ни приглядываюсь къ берегамъ, вотъ-вотъ ожидая встрѣтить на пути челнокъ печорскаго рыболова или хотя слѣды его, мы ровно никого не видимъ, словно эта рѣка совсѣмъ какая пустынная и мы такъ далеко отъ человѣка, что ему уже сюда трудно заѣхать. Единственное, что мы видимъ порой, это только кого-нибудь случайно изъ обитателей этихъ лѣсовъ: то вдругъ запоетъ гдѣ-нибудь въ кустахъ черемухи рябчикъ, то вдругъ гдѣ-нибудь на болотѣ закрякаетъ сѣрая утица или закокаетъ тетерка, или вдругъ залаетъ мой песъ на вспрыгнувшую на дерево бѣлку, неожиданно огласивъ рѣку своимъ громкимъ, веселымъ лаемъ. Раздастся онъ, напомнитъ собой человѣка и его жилище и снова затихнетъ, словно растаетъ въ этой тишинѣ мертваго лѣса и отроговъ.

Разъ, плывя такъ съ Лыскомъ на плоту, мы были свидѣтелями милой картины изъ жизни этой природы: на берегу по камнямъ ходила пара дикихъ оленей; мой песъ не видѣлъ, лежа позади меня, и я, принявши всѣ мѣры предосторожности, плывя по рѣкѣ, такъ и проѣхалъ бы мимо ихъ самихъ, наблюдая, какъ они мирно пасутся на берегу рѣки, если бы мнѣ не вздумалось взять ружье, которое какъ-то нечаянно звякнуло и страшно ихъ перепугало. И помню, я не успѣлъ выстрѣлить, какъ животныя, взглянувъ въ нашу сторону, прижали свои рога къ спинѣ и лихо, быстро, легко унеслись и скрылись въ сосновомъ болотномъ лѣсу, какъ настоящіе дикіе звѣри.

Мой песъ долго на этотъ разъ пропадалъ въ лѣсу, умчавшись за ними по слѣду, слышно было, что онъ гонялъ ихъ, слышно было, какъ онъ кружилъ за ними, но потомъ все смолкло, и я уже отчаивался болѣе его видѣть, какъ вдругъ онъ нагналъ меня уже верстъ за двадцать и съ такимъ восторгомъ возвратился ко мнѣ, что вылизалъ мнѣ отъ радости лицо и руки.

Видно было, что и псу и тому было нелегко переносить одиночество въ этой странѣ безъ человѣка. Это чувство одиночества было самое трудное въ это путешествіе: въ первый день я еще занятъ былъ опасеніями и перекатами, но теперь рѣка стала тише и опасаться было уже нечего, и одиночество это, пустыня эта, тишина лѣса такъ давили меня, что я радъ былъ видѣть какую-нибудь зарубинку на деревѣ, чтобы знать, что я еще имѣю надежду встрѣтить человѣка.

Но его не было, не было и не было, хотя бы слѣдъ гдѣ свѣжій на берегу его челнока, хотя бы знакъ гдѣ, срубленное дерево или слѣды его ночевки. Ровно ничего и нигдѣ, и только по берегамъ одни слѣды звѣря, медвѣдя, который то скатитъ къ водѣ большой камень, то выворотитъ старое гнилое дерево, то разроетъ муравьиную кучу или выбродитъ гдѣ густую, сочную, высокую траву. Разъ, на второй день нашего плаванія, мы даже спугнули его какъ-то вечеромъ и слышали, какъ онъ вдругъ рявкнулъ отъ злости, спугнутый, вѣроятно, нечаянно въ тишинѣ у берега, и понесся съ шумомъ по лѣсу, поднимая страшный трескъ и ломая деревья. Мой песъ было тоже хотѣлъ пуститься за нимъ въ догоню, но я рѣшилъ удержать его на этотъ разъ, потому что нервы мои были уже натянуты и мнѣ было бы тяжело ожидать его ночью на берегу, когда онъ убѣжалъ бы въ догоню за звѣремъ.

Эту ночь я такъ же, какъ и первую, провелъ въ одиночествѣ на берегу рѣки подъ скалою и, помню, постоянно пробуждался, такъ какъ мнѣ все казалось, что бродитъ около меня давешній медвѣдь, нарочно высмотрѣвшій, гдѣ мы пристанемъ, чтобы напасть на насъ сонныхъ. Но песъ мой былъ на эту ночь болѣе спокойнымъ, чѣмъ въ предыдущую, и, прислушавшись съ минуту къ подозрительному шороху, я снова засыпалъ, чтобы черезъ нѣсколько минутъ снова проснуться.

Эта ночь и слѣдующее за ней утро были немного потеплѣе, ясно говоря, что мы порядочно отъѣхали уже отъ горъ, но все же я проснулся на зарѣ съ такой дрожью во всемъ тѣлѣ, что немедленно постарался раздуть огонь, чтобы стать на его дымъ и имъ согрѣться хотя немного.

Въ этотъ день я особенно волновался, потому что ожидалъ, что наконецъ встрѣчу человѣка: сухари мои при всей экономіи выходили; въ мѣшечкѣ, гдѣ они были еще вчера, остались лишь мелкія сырыя крошечки, надежда была только на ружье и на встрѣчу человѣка, и было уже пора его встрѣтить на этой рѣкѣ, такъ какъ, по самымъ скромнымъ нашимъ расчетамъ, мы проплыли уже болѣе 150 верстъ, и что еще день, еще 90 верстъ, и мы должны быть на Печорѣ, у перваго отсюда селенія.

Девяносто верстъ пути намъ нельзя сдѣлать въ одинъ день переѣзда: теченіе становилось медленнѣе и медленнѣе, рѣка принимала большіе размѣры, и, случись противный вѣтеръ, плотъ не

пошелъ бы впередъ и того разстоянія, которое мы ожидали сегодня проѣхать.

Но и сегодняшій день, третій день на плоту, намъ не принесъ ничего утѣшительнаго: рѣка была пуста, какъ настоящая сѣверная пустыня, на берегу хотя бы признакъ какой человѣка, а между тѣмъ жаркій день породилъ столько овода, что онъ буквально осаждалъ насъ на плоту съ самаго ранняго утра и такъ кусалъ, такъ впивался въ измученное тѣло, такъ раздражалъ его, что мы, не зная куда скрыться, какъ есть въ одеждѣ, бросались въ воду, чтобы хотя, смочивъ тѣло, не чувствовать на нѣсколько времени страшнаго зуда овода, который заставлялъ опухать руки, который покрывалъ тѣло опухолью, кровью.

Это что-то было ужасное, чего я еще не испытывалъ, даже много лѣтъ путешествуя по Уралу; это было что-то невѣроятное, и даже мой песъ и тотъ нѣсколько разъ садился на берегу въ изступленіи и вылъ, такъ страшно вылъ, поднявъ морду къ небу, что казалось,—предчувствовалъ тотъ же конецъ, какой постигъ и его бѣдныхъ товарищей на Уралѣ.

Въ этотъ день я не узнавалъ свои опухшія руки; въ этотъ день мои волосы были полны убитыхъ насѣкомыхъ; въ этотъ день моя спина рубашки, казалось, была вся прокусана, и тѣло зудилось, ныло, болѣло такъ сильно, что я готовъ былъ не только лѣзть въ воду, но даже въ огонь...

Въ этотъ день мой дневникъ до сихъ поръ представляетъ изъ себя грязныя, кровавыя страницы, и почеркъ руки—такой странный, что словно я находился въ самомъ нетрезвомъ состояніи.

Но, къ счастію нашему, къ вечеру подулъ освѣжающій съ запада вѣтерокъ, и туча насѣкомыхъ была отнесена имъ къ берегу, и мы снова вздохнули.

Вечеромъ, когда мы остановились на ночевку, я въ послѣдній разъ раздѣлилъ наши крохи съ собакою, и умный песъ, уже голодный отъ трехдневнаго воздержанія и муки, казалось, понималъ безъ словъ, что у меня не было ничего больше. Поѣвъ съ нимъ послѣднее, я потрепалъ его по головѣ и утѣшилъ, что завтра мы непремѣнно должны видѣть человѣка и достать хлѣбъ, и песъ, казалось, съ увѣренностью махнулъ мнѣ два раза хвостомъ и лизнулъ руку.

Въ эту ночь мы съ нимъ спали уже рядомъ, словно нужда и въ самомъ дѣлѣ насъ страшно такъ сблизила. Спали тревожно, прислушиваясь, потому что мой песъ нѣтъ-нѣтъ и вскочитъ на лапы и начинаетъ взвизгивать, словно кого-то чуя и словно зовя меня куда-то впередъ по рѣкѣ, но не рѣшаясь одинъ отправиться, такъ какъ жаль было оставить меня.

Я всю ночь мучился, не зная, что это значитъ, и думалъ уже, что около насъ бродитъ какой медвѣдь; утромъ раза два какъ будто я что-то слышалъ, разъ до меня какъ будто явственно донесся крикъ, но нервы мои были такъ натянуты, что я уже не довѣрялъ своему слуху, тѣмъ болѣе, что уже не разъ мнѣ все казалось, что я слышу шаги человѣка и его голосъ, когда кругомъ никого не было, кромѣ темноты и плеска.

Утромъ на этотъ разъ я проспалъ болѣе обыкновеннаго и едва ли бы проснулся и при солнцѣ, если бы меня не разбудилъ мой песъ: съ нимъ сегодня что-то случилось необыкновенное: онъ лаялъ и лизалъ мнѣ руки, онъ тормошилъ меня и скакалъ мнѣ на грудь и то бросался куда-то впередъ вдоль берега, то къ плоту, словно умоляя скорѣй отправиться, чтобы искать человѣка.

Въ первое время мнѣ показалось, что онъ взбѣсился, но, посмотрѣвъ въ его умные каріе глаза, я увидѣлъ, что онъ здоровъ, и рѣшилъ, что онъ что-то такое слышитъ сегодня особенное, чего еще онъ не слыхалъ, плывя со мной по этой рѣкѣ. И это дѣйствительно было правдой, и помню, только что мы обогнули два плеса, какъ на берегу я замѣтилъ синій огонекъ и нѣсколько лодокъ рыболововъ. Первое время я не вѣрилъ своимъ глазамъ; первое время я готовъ былъ выпрыгнуть и бѣжать къ человѣку, но потомъ мной овладѣло самообладаніе, и я занялся своимъ костюмомъ и даже поднялъ свой флагъ надъ плотомъ, подвѣсивъ его къ шесту какъ можно повыше.

Этотъ флагъ, наше появленіе изъ-за крутого мыса съ вершины рѣки сдѣлало страшный переполохъ въ стоянкѣ рыболововъ, и всѣ они красной толпой высыпали на берегъ и въ недоумѣніи смотрѣли, ломая головы, что бы это значило. Даже Лыско, такъ много еще безпокоившійся за минуту времени, казалось, застылъ, созерцая картину давно невиданнаго зрѣлища—человѣка.

Но вотъ мы подплываемъ ближе къ стоянкѣ; вотъ еще, еще движеніе шестомъ, плотъ мой касается камней, и я выхожу на бе-

регъ и привѣтствую удивленную, казалось, даже пораженную толпу, которая еще молчитъ, которая еще не знаетъ, кого она видитъ. Но въ толпѣ находится одинъ старичекъ, онъ знаетъ по-русски, идетъ ко мнѣ и спрашиваетъ, откуда я взялся, и вмигъ вся толпа меня окружаетъ, начинаетъ что-то шумно-шумно толковать на зырянскомъ нарѣчіи, въ то время когда старику я объясняю, откуда я пріѣхалъ и какъ попалъ сюда вотъ на этомъ жалкомъ плоту съ своей собакой.

Черезъ минуту мой плотъ уже весь былъ на берегу и удостоился самаго подробнаго осмотра, и въ рукахъ зырянъ, бородатыхъ рыжихъ зырянъ,—уже мой мѣшокъ со слѣдами мокрыхъ крошекъ, который ясно говоритъ имъ, что мы голодны. И насъ ведутъ поскорѣе подъ берестяной навѣсъ, и предлагаютъ сразу десять разныхъ кушаній и столько разнаго хлѣба, что мы съ Лыскомъ не знаемъ, за что взяться. И странно, въ то время, когда, кажется, только нужно ѣсть, мы ничего не можемъ взять въ руки, словно голодъ совсѣмъ насъ отучилъ отъ пищи, и, попробовавъ одно, переходимъ къ другому, не переставая въ то же время говорить и разсказывать въ десятый разъ то, что съ нами было, и какъ мы одни очутились на этой пустынной рѣкѣ.

Бородатые рыжіе зыряне только покачивали головой; женщины не спускали глазъ, чувствуя тутъ драму; дѣвушки какъ присѣли на корточки за женщинъ кругомъ, такъ, казалось, и застыли въ созерцаніи; дѣти такъ разинули рты, что было жутко. Я никогда не видалъ еще такой аудиторіи и, помню, даже смутился нѣсколько, когда почувствовалъ кругомъ на себѣ столько глазъ.

Но я разсказалъ имъ все, что было за душою, не скрывая; зыряне долго обвиняли вогуловъ, что они покинули меня въ критическій моментъ; другіе удивлялись, какъ я проплылъ такіе перекаты, черезъ которые они не смѣютъ пуститься даже на лодочкѣ; у женщинъ, казалось, замиралъ духъ, какъ я разсказывалъ встрѣчу съ медвѣдемъ и свои ночевки, и онѣ бросались мнѣ подкладывать новыя и новыя кушанья, словно вознаграждая за всѣ эти разсказы.

Послѣ ѣды на меня нашелъ сонъ, и я проспалъ до полдня, оберегаемый самою изысканною заботливостью, прикрытый самой свѣжей шкурой оленя, которую набросила на меня какая-то молоденькая зыряночка.

Но нервность еще была во мнѣ сильна: я проснулся скоро со старою заботою и рѣшилъ нынѣ же отправиться далѣе, чтобы проплыть къ Печорѣ.

Насколько я могъ узнать отъ рыбаковъ, она была недалеко—верстъ 20—30; рѣка была спокойная и тихая, я думалъ даже проплыть это пространство лодкой, но гостепріимные зыряне, когда я навелъ на это разговоръ, вдругъ сдѣлались задумчивыми и сдѣлали видъ, что меня не понимаютъ.

Ясное дѣло—имъ было не до подводы; рыбные промыслы требовали силъ всей артели, дорогая семга ловилась только въ это время, и я, проплывъ столько разстоянія по бурной рѣкѣ, рѣшилъ отправиться такимъ же способомъ и далѣе, тѣмъ болѣе, что было недалеко.

Когда я пришелъ на плотъ, онъ оказался старательно починеннымъ, вмѣсто жердей оказалось два шеста, и даже мѣшокъ мой съ мокрыми крошками такъ былъ полонъ всякой снѣдью, что я, казалось, ѣхалъ не на Печору, а въ дальнее путешествіе.

Не оказалось только Лыска, и какъ я ни звалъ его, онъ остался непоколебимъ: зырянскій столъ, обиліе ему такъ приглянулись, что онъ рѣшилъ остаться лучше съ людьми на берегу, чѣмъ снова пускаться со мной въ такія рискованныя путешествія.

Это меня, помню, горько обидѣло, и я, махнувъ рукой ему, быстро отпихнулся шестомъ и поплылъ далѣе, сопровождаемый шумными пожеланіями счастливой дороги. Казалось, теперь я былъ у цѣли путешествія: мѣшокъ былъ полонъ разныхъ лакомствъ, рѣка была тиха, широка и многоводна, но сердце что-то ныло такъ, какъ бы о чемъ-то тоскуя.

Я пробовалъ пѣть, но не было голоса, я пробовалъ писать, но ровно ничего не выходило, и кончилось тѣмъ, что я заснулъ, предоставивъ плотъ довольно ровному и тихому теченію, которое несло мой плотъ по самой серединѣ.

Сколько я спалъ, я теперь не помню; но помню, что меня разбудилъ страшный громъ, и когда я вскочилъ на плоту и оглянулся въ стороны, то ясно разсмотрѣлъ сквозь наступившія уже сумерки, что съ юга надвигалась страшная гроза, темнѣя изъ-за лѣса. Я было кинулся къ шесту, чтобы подобраться къ берегу, вытащить тамъ плотъ и обождать погоду; но шестъ далеко не доставалъ дна. Я было бросился грести, но плотъ не поддавался уже моимъ усиліямъ, подбрасываемый волною. По-

ложеніе было критическое: рѣка стала неимовѣрно широкой при устьѣ, буря и наступающая темнота дѣлали ее еще больше размѣромъ, и я съ тоскою посматривалъ назадъ, гдѣ блестѣла поминутно молнія, и откуда надвигалась грозная, темная туча.

Начался штормъ. Набѣжалъ и запѣлъ въ ушахъ первый порывистый, но короткій вихрь; кусты ивняка пригнули бѣлыя свои вершиночки, и въ плотъ мой такъ настойчиво, страшно забилась мелкая волна, что я даже было покачнулся.

Былъ моментъ, когда я рѣшался покинуть плотъ и пуститься вплавь къ далекому берегу, былъ другой, когда я сталъ ужъ раздѣваться, но мысль остаться на берегу въ костюмѣ отшельника, въ одной рубашкѣ такъ поразила меня, что я отъ этого удержался.

Кромѣ того, это было бы равнозначащимъ той же смерти, которая меня тутъ ожидала, потому что выйти, имѣя рѣки, впадающія назадъ, даже къ рыбалкѣ, было невозможнымъ дѣломъ, попасть на Печору, которая была еще неизвѣстно гдѣ, тоже представлялось мудростью, и я рѣшилъ во что бы то ни стало остаться на посту и не покидать своего утлаго судна.

Раздумывать было некогда: туча быстро надвигалась сзади, вихри заставили меня принять всѣ старанія устроиться по штормовому, былъ внимательно осмотрѣнъ столбъ, за который можно бы держаться, припавъ къ плоту, руками, моя бусоль была привязана вмѣстѣ съ мѣшкомъ, полнымъ разныхъ шанегъ, шесты я привязалъ какою-то веревочкою, чтобы ихъ не лишиться въ послѣднюю минуту, и плоту было придано такое направленіе, въ которомъ онъ меньше всего бы разрушился. А разрушиться онъ легко могъ, такъ какъ былъ сплоченъ только различными клиньями, и къ счастію моему чья-то сердобольная рука его немного такъ скрѣпила. Но случись, выйди только одно маленькое бревно, плотъ разъѣхался бы въ разныя стороны, и я остался бы среди рѣки и пошелъ въ бурю прямо ко дну.

Налетѣлъ штормъ, и меня закачало. Какая-то громадная, холодная волна сразу шлепнулась о плотъ и промыла мнѣ спину; я палъ, прижался къ плоту уже въ лежачемъ положеніи и только старался направить плотъ задомъ къ вихрямъ, а не бокомъ.

Въ воздухѣ страшно потемнѣло; вѣтеръ завылъ съ какими-то стонущими, странными голосами, вода стала набѣгать ровными, правильными волнами, и я только поджидалъ съ трепетомъ, стиснувши зубы, другую волну, проводивъ первую, когда она съ

пѣною набѣгала на плотъ и заливалась на него, прополаскивая мнѣ мокрыя ноги, спину, доходя до самаго затылка.

Подойдетъ, нагонитъ плотъ такая волна, хлопнется всей своей тяжестью на спину: плотъ такъ и затонетъ со мною.

Но это было только еще начало испытанія: плотъ, потерявъ всякую управу, сталъ кружиться отъ вѣтра и волнъ на срединѣ рѣки, и волны начали хлестать меня уже не только сзади, но и съ боковъ и спереди, заворачивая мнѣ голову, на которой чудомъ какимъ-то только держалась шляпа.

Одинъ моментъ девятая волна, казалось, хотѣла покончить муки; былъ моментъ, когда я простился уже со всѣмъ, но вынырнулъ, и только, помню, отфыркивался, какъ меня погрузило надолго въ холодную воду вмѣстѣ съ моимъ плотомъ.

Но вода все же была лѣтняя, теплый дождь, который барабанилъ въ спину, казалось, согрѣвалъ меня, и я держался только за плотъ окоченѣвшими руками, чувствуя, что я способенъ вынести, если меня и десять разъ такъ же погрузитъ девятымъ валомъ.

Но вихрь пронесся такъ скоро, что я не ожидалъ; вмѣсто вѣтра засверкала молнія, и при свѣтѣ молніи я могъ разсмотрѣть, что дѣла еще не настолько мои плохи, чтобы нельзя было ожидать спасенія даже и въ эту бурю.

Рѣка поворачивала круто въ правую сторону, кусты должны были защитить меня отъ вѣтра, главный штормъ пронесся уже далеко впередъ и гдѣ-то бушевалъ далеко, и вмѣсто него полилъ теплый, тихій, спокойный дождь, котораго я уже не боялся.

Были страшны только молнія и раскаты грома. Рѣка сіяла тогда какъ бы въ ясный день, трескъ разряжающагося электричества, казалось, былъ надъ головою, и я только припадалъ въ эти моменты къ плоту и ждалъ удара на себя, считая секунды. По этимъ секундамъ времени я зналъ, что туча проходитъ; по этимъ секундамъ времени я видѣлъ, что минуютъ опасности, и дѣйствительно, буря пронеслась, все затихло снова, и только вдали блестѣла молнія и раскатывались ужасные громы.

Лилъ теплый мелкій дождь; вѣтеръ стихалъ болѣе и болѣе, но ночь была такая темная, что я окончательно потерялъ берега и не зналъ, гдѣ я: на рѣкѣ или на морѣ.

Какъ вдругъ блескъ далекой молніи освѣтилъ на секунду одну мнѣ страшную картину. Передо мной было море воды—рѣка Печора, вдали чуть-чуть только виднѣлся, темнѣя, въ версту разстоянія высокій берегъ рѣки, а позади—устье рѣки Щугора,

тоже громадное, казалось, съ потонувшими въ водѣ низкими берегами.

Шляпа, казалось, приподнялась на головѣ, несмотря на то, что была мокрая; неминуемая гибель отъ страшнаго волненія на этой рѣкѣ заставила схватиться за тонкій шестъ, и я, видя, что меня выноситъ съ плотомъ на середину этой громадной рѣки, сталъ быстро, быстро грести, что есть силы, къ противоположному берегу, чтобы скорѣе закончить свои муки.

Когда я былъ на серединѣ рѣки, всплылъ изъ-за берега блѣдный мѣсяцъ; при свѣтѣ его я разсмотрѣлъ печальное море воды, а когда меня подхватила волна только что разгулявшейся при бурѣ Печоры, я палъ на плотъ и сталъ смотрѣть, когда меня прикроетъ водою.

Но счастье было еще со мной: быстрое теченіе Щугора перенесло меня благополучно чрезъ Печору, разбивая страшныя волны, рѣка уступила натиску горной рѣки, ея воды неслись наискосокъ, прямо къ противоположному берегу, и я скоро увидалъ берегъ, ставшій горой, и такъ обрадовался ему, толкнувшись въ берегъ плотомъ, что готовъ былъ расцѣловать его мокрую, грязную глину.

Нѣсколько минутъ я стоялъ у берега, чувствуя, какъ дрожатъ мои руки и ноги, потомъ мѣсяцъ освѣтилъ мнѣ контуры дальняго храма, я перекрестился и тихо поплылъ, придерживаясь теперь самаго берега, внизъ по рѣкѣ, къ с. Печорскому, которое уже виднѣлось спящими домами.

Я перепугалъ до смерти попа и его матушку, когда явился неожиданно и сталъ стучаться, прося пріюта. Добрые люди не вѣрили глазамъ и не вѣрили моимъ разсказамъ, и добрый батюшка при свѣтѣ зари самъ самолично убѣдился въ присутствіи плотика, причаленнаго у храма, и только тогда повѣрилъ, что я явился съ вершинъ Урала.

Когда я проснулся утромъ и подошелъ къ зеркалу, то я не узналъ себя. Лицо было заплывшее, глаза едва виднѣлись, а спина и руки мои были такія полныя, какъ будто я былъ въ водянкѣ.

Батя принялъ во мнѣ самое теплое, горячее участіе: онъ самъ сходилъ въ болото и нарвалъ мху и такъ теръ меня въ

банѣ своей этимъ зырянскимъ лекарствомъ и «средствіемъ», что я два дня не чувствовалъ кожи.

Нечего и говорить, что я былъ долго героемъ с. Печорскаго, чьи-то добрыя руки даже взяли мой плотъ и перетащили въ церковную ограду на память, и, вѣроятно, онъ находится тамъ и до настоящаго времени, какъ память о плаваніи моемъ и изысканіи пути съ рѣки Печоры.

А труды эти не пропали, однако, даромъ: въ ту же осень я встрѣтился на Саблѣ горѣ съ извѣстнымъ дѣятелемъ сѣвера А. М. Сибиряковымъ, который разыскивалъ нѣчто подобное, разувѣрившись въ возможности плаванія чрезъ Карское море къ Сибири; я показалъ ему свой трудъ въ видѣ черновыхъ набросковъ плана, и онъ выпросилъ у меня карту этого пути, по которому скоро устроилъ грунтовую дорогу съ Печоры на Ляпинъ.

Но я оказалъ, кажется, плохую услугу этимъ своимъ дикарямъ: новый путь далъ, правда, имъ громадный заработокъ, такъ какъ они стали перевозить на оленяхъ стотысячные грузы, но лишняя копейка избаловала дикарей—они стали пьянствовать и попали въ концѣ концовъ только изъ однѣхъ рукъ березовскихъ кулаковъ въ другія.

Что стало съ ними, этими вогулами, вамъ скажетъ статья моя «Черезъ десять лѣтъ», которая въ этой книгѣ, читатель.

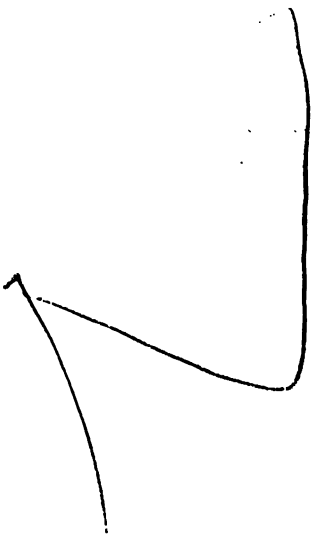
Библіотека Рябакиной

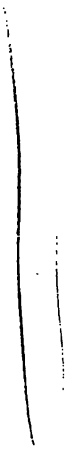
Центропросвет им. Тимирязева

Библиотека
Шифр
Инв.
31035.
...Курсов Пропагандистов

СОДЕРЖАНІЕ.

	стран.
Таинственное изъ жизни вогуловъ	1
Изъ жизни вогуловъ	18
Рождество въ снѣгу	98
Серебряная баба	109
Батя	120
Черезъ десять лѣтъ	142
Изъ жизни вогуловъ (Вогульскій театръ)	156
Исакъ	165
По слѣдамъ князя Курбскаго	212





DK 34 .V6 N68
U Vogulov
Stanford University Libraries
3 6105 041 448 957

4. 3

DK
34
V6N68

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JAN 2 1 1966